

Роман
Белосов

О чем
умолчали
книги



РОМАН БЕЛОУСОВ



У ЧЕМ
УМОЛЧАЛИ
КНИГИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» МОСКВА — 1971

Художник
А. И. ЯРАЛОВ

Белоусов Р. С.
Б43 О чем умолчали книги. М., «Сов. Россия», 1971.

Как рождается книга? Что побудило автора взяться за перо, кто послужил прототипом знаменитого литературного героя? Мы не всегда можем ответить на эти вопросы. Время часто скрывает от нас детали творческого процесса писателей минувших эпох, не позволяет заглянуть в их лабораторию, что так важно для наиболее полного понимания смысла произведения.

Книга расскажет о победе над Временем, о том, как открыватели «литературных земель» отвоевывают у Времени забытое, возвращают нам утраченные духовные ценности прошлых эпох. Читатели совершат своеобразное путешествие к истокам известных произведений мировой литературы, познакомятся с их созданием, с социально-исторической обстановкой, в которой они зародились.

ОТ АВТОРА

Нередко, когда вы читаете книгу, следите за поворотами сюжета, за полюбившимися героями, перед вами невольно встает вопрос о достоверности изображенной писателем жизни. Реальны ли события, описываемые в книге? Существовали ли в действительности люди, судьба которых взволновала вас? Естественно, эти вопросы занимают литературоведов, ибо реальный факт и связанные с ним обстоятельства, послужившие зерном, из которого выросла книга, — это тоже история литературы.

Часто жизненное явление, даже случайное на первый взгляд житейское наблюдение, а нередко и конкретное лицо служит писателю тем психологическим первотолчком, который приводит к зарождению замысла художественного произведения, возникновению литературного персонажа. Иначе говоря, конкретный жизненный материал дает пищу творческому воображению художника, подсказывает сюжет будущей книги. О том, что сюжетами романов и повестей, впрочем, как и произведений всех остальных жанров, служат художнику действительно случившиеся события и разного рода житейские истории, писал еще Н. Чернышевский. Все сюжеты дает жизнь, — говорил А. Островский. Впечатление, полученное непосредственно, служит первым импульсом, — отмечал М. Горький. Благодаря фактам, воображение получает толчок, — утверждал К. Паустовский. Этот первый толчок — возбудитель, как считал А. Пушкин, «к живейшему приятию впечатлений», смеяется напряженной работой, процессом обобщения явлений и оживотворения их.

Творческая лаборатория писателя начинает действовать — и тогда совершается, по словам В. Брюсова, постепенное «чудо превращения неясного контура в совершенную художественную картину».

Попытаемся же проникнуть в эту тайну и приоткрыть завесу над некоторыми интересными страницами истории отечественной и зарубежной литературы. И мы убедимся, что даже самая

изошренная фантазия не в состоянии изобрести того, что подчас создает жизнь. Но с другой стороны, мы увидим, как воображение творца переплавляет, словно в тигле, бесконечно разнообразный жизненный материал и к каким значительным художественным достижениям это приводит.

К истокам известных книг вам и предстоит совершить своеобразную экскурсию.

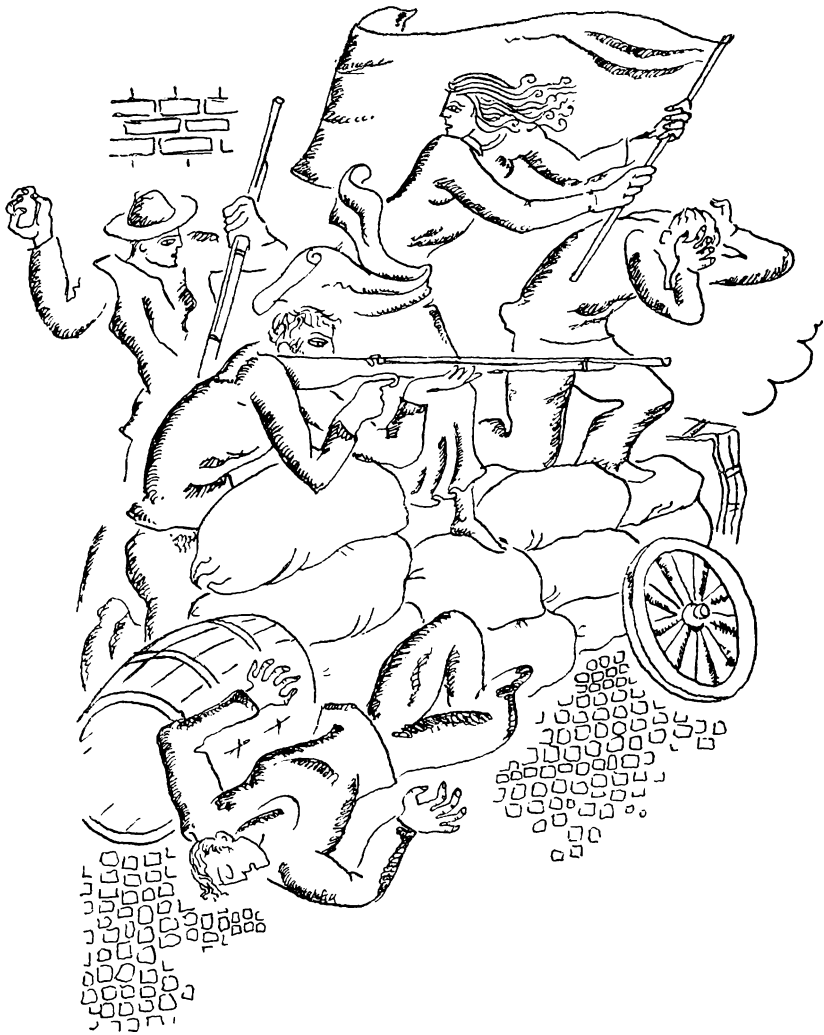
И еще один «поход» ждет вас.

Время хранит в своих тайниках немало литературных загадок, затерянных произведений — своеобразных «духовных завещаний» прошлых поколений, как говорил А. Герцен. Вернуть жизнь человеческой мысли, оживить утраченное слово, разгадать литературную головоломку — это ли не благородная и увлекательная задача!

Неутомимые капитаны книжных морей, открыватели «литературных» земель не пробиваются сквозь непроходимые джунгли, им не приходится брести под беспощадным солнцем пустыни, плыть по бушующему океану. Они совершают свои «плаванья» и «путешествия» в тишине хранилищ и библиотечных залов, пробираясь сквозь груды фолиантов. С не меньшим мужеством и упорством, чем отважные землепроходцы, ведут свой неустанный научный поиск следопыты архивов. Сколько было восстановлено утраченных страниц, раскрыто казавшихся неразрешимыми книжных тайн благодаря их кропотливому, незаметному, но очень нужному труду! Сколько было ликвидировано «белых пятен» на карте мировой литературы!

О некоторых недавних открытиях и разысканиях литературоведов разных стран вы также узнаете, прочитав эту книгу.





Рождение Гавроша

Из трех тысяч картин, выставленных в парижском Салоне летом 1831 года, особое внимание привлекало полотно художника Делакруа. Оно было посвящено «трем славным дням», как называли тогда недавние события июля тридцатого года. Этой картине не надо было, в отличие от многих изысканных безделушек на выставке, выпрашивать, словно милостыню, внимание посетителей, вымалывать хоть каплю участия — перед ней никто не мог остаться равнодушным.

Полотно Делакруа относили к числу картин, возбуждающих наибольший интерес публики, — оно было одухотворено великой мыслью, волшебное веяние которой передавалось каждому. «В ней чувствуется настоящее лицо Июльских дней», — говорили очевидцы этих событий. Знатоки отмечали присущую картине правдивость, подлинность, оригинальность.

Был поражен ею и молодой поэт Виктор Гюго. Его пленило мастерство, с каким была написана эта картина, ее огромная впечатляющая сила. Задумавшись, стоял писатель около полотна. В чем секрет столь поразительного воздействия этой картины? Не в том ли, что она впитала в себя жизненную правду и революционную романтику незабываемых дней. Создать такой шедевр мог только очевидец, только тот, чья живопись питалась личными впечатлениями, самой жизнью.

Три славных дня. Гюго хорошо помнил, как год назад Париж ответил баррикадами на несправедливые законы, введенные Карлом X.

Три дня, три ночи, как в горниле,
Народный гнев кипел кругом...

Три дня рабочие и ремесленники, студенты и торговцы сражались под трехцветным знаменем республики. Три дня беспрерывно пули ударялись о черепицу дома на улице Жан-Гужон, где он только что поселился с семьей. Накануне, утром 27 июля, едва устроившись в своем новом кабинете, он работал над романом «Собор Парижской богородицы». Днем, когда вышел пройтись, на улицах было беспокойно — собирались толпами, стоял гул от голосов. Елисейские поля походили на военный лагерь. С улицы доносились ружейная стрельба, пушечные выстрелы, грохот повозок по мостовой, призывные удары набата. Небольшая схватка произошла рядом с их домом. Канонада была столь оглушительна, что он выронил из рук перо, и ему так и не удалось закончить письмо, которое он писал в тот момент поэту Ламартину.

Никто из семьи не пострадал. Дом остался невредим. Жаль

было только тетрадь с заметками и выписками, необходимыми для окончания «Собора Парижской богородицы». 29 июля, когда оставаться в квартире было особенно опасно, он отправил часть вещей и рукописи в надежное место. В спешке, при перевозке, и была потеряна эта драгоценная тетрадь.

Многие друзья Гюго оказались на стороне восставших. Неугомонный, порывистый Александр Дюма, Фредерик Сулье, пятидесятилетний Беранже, о песнях которого, с легкой руки Ламартина, говорили, что они были патронами, которыми народ стрелял во время июльских боев. Даже такой скептик, как Стендаль, и тот был восхищен отвагой и мужеством горожан и заявил, что с этих пор стал уважать Париж.

Баррикады были повсюду. Их сооружали из всего, что попадалось под руку: экипажи и бочки, лестницы, матрацы и доски — все шло в дело. Но главным строительным материалом были булыжники. Камни мостовой! Парижские улицы, записывает Гюго в те дни в своем дневнике, играют всегда решающую роль в революциях; королю не стоит их мостить.

Одна из баррикад тех дней изображена на картине художника Делакруа. Автор назвал ее лаконично: «28 июля 1830 года». Некоторые называют картину «Июльская революция» или «Эпизод из июльских дней». Но, пожалуй, точнее и выразительнее всего сказать о ней «Свобода ведет народ». На картине — кучка бойцов. В середине группы — молодая женщина в красном фригийском колпаке — символе свободы. В одной руке у нее — ружье, в другой — трехцветное знамя республики. Фигура почти аллегорическая. Это — Свобода. И ведет она не кучку отважных, нет, она увлекает за собой на битву весь народ. Разве мало было подобных ей! Вспомните бесстрашную Теруань, «красную амазонку», которая за сорок лет до этого, в пору Великой революции, первой из восставших ворвалась в Бастилию. А гражданка Лакомб по прозвищу «Красная Роза», раненная при штурме Тюильри в девяносто втором! Они, как и многие другие, вполне могут считаться прообразами героини, которую Делакруа привел в грозные июльские дни на баррикаду.

«...Бьет час боя и жертв» — повсюду сраженные пулями, но Революция непобедима. Отважно идет она сквозь грохот ружейных залпов и пороховой дым, пеленой покрывающий фигуры бойцов; идет под бой барабана и боевые клики. И кажется, что ее победное шествие сопровождают всем знакомые слова песни, которую принесли в восставший Париж летом 1792 года марсельские волонтеры:

Вперед, плечом к плечу шагая!
Священна к родине любовь.
Вперед, свобода дорогая,
Одушевляй нас вновь и вновь!

Рядом с «уличной Венерой» — оборванный уличный мальчу-
гаи. Может быть, еще недавно его видели играющим в канаве.
Но вот он выпрямил спину, вовлеченный в восстание. Картечи
не сломить его дерзости, вместе со всеми сорвиголова отважно
идет навстречу врагу. В руках у него по пистолету, вид его
грозен, взгляд полон решимости.

Точно такого же сорванца Гюго видел тогда, 29 июля, на
Елисейских полях, когда вышел из дома, несмотря на опасность.
Только тот был привязан к дереву, чтобы не убежал, как объяс-
нил ему усатый капрал. Мальчик был бледен, его должны были
расстрелять. Казнить ребенка! В ответ Гюго услышал, что этот
оборвыш отправил на тот свет капитана, убив его наповал. При-
шлось вмешаться и уговорить солдат отпустить мальчишку.
Удивительно — даже лицом этот маленький герой чем-то похо-
дил на изображенного на картине малыша...



Детей, подобных юному герою Делакруа, в июльские дни ви-
дели повсюду. Взрослые поражались их отваге и мужеству.
О них говорил весь город.

Десять дней спустя, в августе, под впечатлением восстания,
Гюго написал стихотворение. В нем поэт спрашивал: не потому
ли город победил, что стойкость — свойство

...нередкое в твоих сынах,
Что юность, полная геройства,
Сражалась смело в их рядах?

Однажды Генрих Гейне, писавший корреспонденции о вы-
ставке в аугсбургскую «Всеобщую газету», среди похвальных
возгласов о картине Делакруа услышал поразившие его слова:
«Черт возьми! Эти мальчишки бились, как великаны!» Вместе с
остальными героями картины с уличной мостовой переселился
на полотно и мальчишка — гамен, как называют таких сорван-
цов в Париже. Поэзия шла рядом с политикой.

Легенды о подвигах маленьких парижан продолжали жить и
годы спустя. Одну из таких легенд услышал в Париже летом
1833 года Ганс Христиан Андерсен. Случай, о котором он узнал,
так взволновал молодого датского писателя, что одно время он

даже намеревался написать роман об июльском восстании. Позже, однако, услышанную историю изложил в виде небольшого малоизвестного сейчас рассказа «Маленький бедняк на троне Франции».

Интересно, что Андерсен связывает легенду о мальчике-герое с картиной Делакруа.

В столице Франции, где Андерсен пробыл всего месяц, ему хотелось увидеть как можно больше достопримечательностей — весь «тысячешаенный Париж». Целыми днями колесил он по городу, осматривая памятники, древние соборы, площади и улицы. Все, что удалось посмотреть, глубоко запечатлелось в его памяти, «невольно преклоняешься перед всем прекрасным и величественным, что создал этот народ», — писал он.

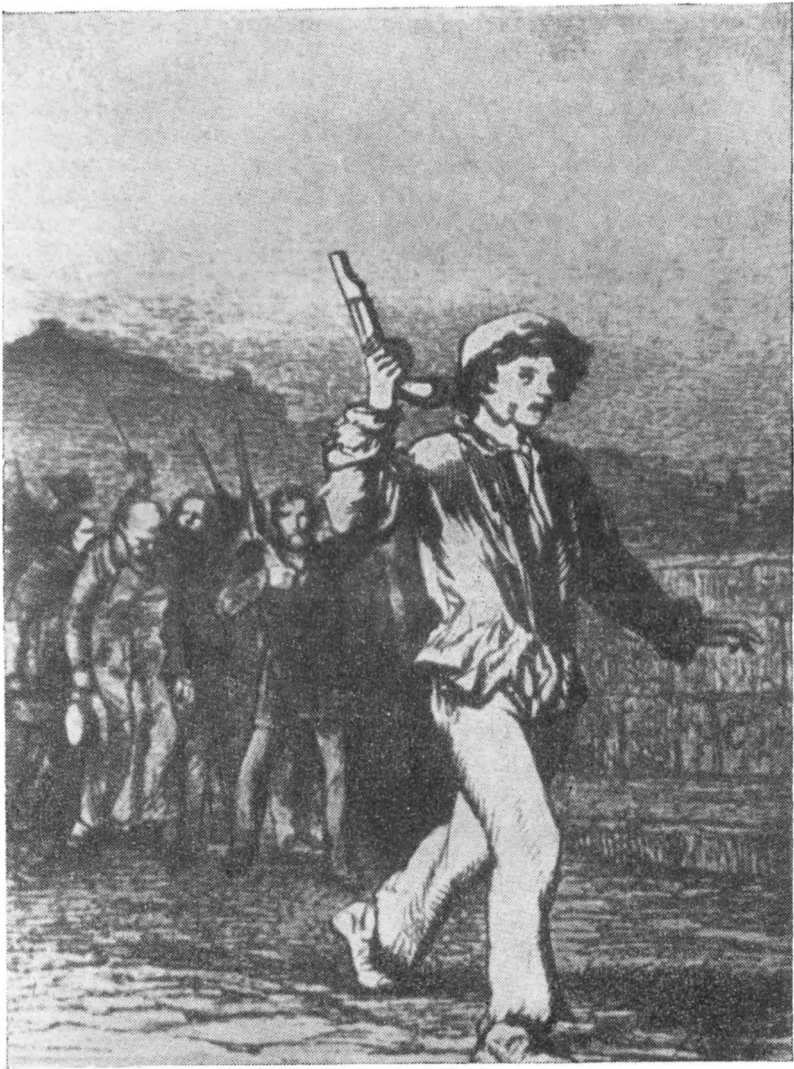
Как-то молодой парижанин, его друг, привел Андерсена на выставку картин. Полотно Делакруа произвело на него неизгладимое впечатление, он назвал картину мастерской. Но особенно взволновала Андерсена история подлинного героя-подростка, послужившего прототипом художнику.

По словам спутника Андерсена, поведавшего ему, видимо, популярную тогда легенду, мальчик, изображенный на картине, погиб не на баррикаде, а в другом месте. Жизнь мальчугана героически оборвалась при штурме королевского дворца. Он был убит в самый блистательный день победы, когда каждый дом был крепостью, а каждое окно бойницей. Даже женщины и дети сражались. Вместе со всеми они ворвались в покои и залы дворца. Оборванный мальчуган-подросток мужественно бился среди взрослых. Смертельно раненный, он упал. Это произошло в тронном зале, и его, истекающего кровью, положили на трон Франции, обернули бархатом раны; кровь струилась по королевскому пурпуру...

— Предсказал ли кто-нибудь этому мальчику еще в колыбели: «Ты умрешь на троне Франции!», — воскликнул писатель, выслушав необыкновенный рассказ.

Через несколько дней Андерсен описал эту поэтическую историю в письме на родину. Но на этом интерес его к судьбе юного героя не закончился. Захотелось узнать, где похоронен парижский мальчуган. Тот же спутник привел его на кладбище. Был день памяти погибших. На улицах раздавались звуки хоральной музыки, а на стенах домов развевались траурные полотнища и знамена. На маленьком кладбище каждому, кто проходил мимо, давали букетики желтых бессмертников, обвитых чрепом, с тем, чтобы бросать их на могилы.

Перед одной из них на коленях стояла старая женщина с



Гаврош. Рисунок Густава Бриона к одному из первых изданий романа Виктора Гюго «Отверженные».

бледным лицом. От нее нельзя было отвести взгляда. Первое предположение, возникшее при виде этой безутешной, убитой горем старухи, превратилось в уверенность: она склонилась перед могилой того самого мальчика.

Громадный человеческий поток двигался в удивительном молчании. На всех могилах горели голубые огни. Глубокая тишина завораживала. Андерсен положил свой букет на могилу, спрятав из него только один цветок. «Он напоминает мне,— писал Андерсен,— о юношеском сердце, которое разорвалось в борьбе за отечество и свободу».

Отважный и благородный малыш заживет второй жизнью не только на полотнах французских мастеров и в рассказе Андерсена, но и на страницах многих других произведений искусства, а также литературы. В том же 1836 году, когда в журнале «Ирис» был опубликован рассказ Г. Х. Андерсена, на парижской площади Звезды завершили сооружение Триумфальной арки. На одной из скульптурных групп, украшавших ее, были изображены «Волонтеры 1792 года». Современники назвали эту поэму в камне Франсуа Рюда, посвященную народному восстанию,— «Марсельеза». В центре группы — подросток, почти мальчик. Прильнув к плечу воина, он сжимает рукоятку меча. Вся его фигурка, взгляд полны решимости драться до победы.

Проявляя храбрость и находчивость, будет сражаться на баррикаде вместе со взрослыми и мальчик Жозеф — персонаж романа Реи Дюсейля «Монастырь Сен-Мера», написанного в 1832 году. Парижский мальчуган перекоцует в книги Эжена Сю, Понсона де Террайля, А. Дюма-сына, он промелькнет в стихах Огюста Барбье и других поэтов. Много лет спустя, в конце века, его маленькая фигурка вновь возникнет в прекрасном романе Феликса Гра «Марсельцы».



Встретим мы его под разными именами и в произведениях Виктора Гюго — в романе «Собор Парижской богоматери», в «Истории одного преступления», во многих стихах, в том числе и в стихотворении «На баррикаде». И, наконец, как наиболее яркий образ он предстанет перед нами под именем Гавроша на страницах огромной социальной фрески — романа «Отверженные».

Нам не известно имя мальчика, о котором рассказал Андерсен; не известно, кого нарисовал Делакруа. Но несомненно, что

материал для их произведений дала жизнь. Чтобы еще раз убедиться в этом, достаточно раскрыть историю борьбы французского народа. Многие ее страницы посвящены детям, самоотверженно сражавшимся под знаменем Революции. Всякий раз, когда народ поднимается в бой против тирании, когда раздается клич «Отечество в опасности!», — в эти исторические моменты, говорил Гюго, обыкновенный человек вырастает в гиганта, «Руже де Лиль слагает песнь, ее претворяет в жизнь Бара». Виктор Гюго нередко вспоминает это имя в своих произведениях. «Пусть каждый подросток будет таким, как Бара!» — призывал писатель в «Воззвании к французам», написанном на склоне лет в тяжелый для его родины час — осенью 1870 года.

Имя Жозефа Бара, этого мальчика-патриота, стоит первым в списке реальных предшественников Гавроша. Он жил и сражался за полвека до того, как герой Гюго поднялся на баррикаду, в те великие дни, когда французы шли в бой за свободу, равенство и братство, штурмовали Бастилию, вели войну со всей аристократической Европой, воевали с собственной контрреволюцией.

В судьбе тринадцатилетнего барабанщика Жозефа Бара не так уж много общего с Гаврошем. Но писателю часто и не нужно, чтобы точно совпадали факты жизни реального прототипа и его героя. Для Гюго было важно нарисовать героический характер, создать живой литературный персонаж. Жозеф Бара был в этом смысле великодушным «натурщиком», с которого было очень удобно писать образ юного героя. Его подвиг не мог не взволновать, не мог не вдохновить художника. И не случайно об этом маленьком храбреце было сложено столько песен и написано столько стихов, недаром его изображали в своих работах художники и скульпторы. Поэты Т. Руссо, М.-Ж. Шенье, О. Барбье посвящали ему стихи, художник Жан-Жозе Вертс, скульпторы Давид Д'Анжер, Альберт Лефевр создавали ему памятники, и даже такой гений, как Луи Давид, первый в мире великий живописец, ставший революционером, из трех картин, посвященных деятелям французской революции, «мученикам свободы» — Лепелетье и Марату, одну посвятил Жозефу Бара. Правда, из-за особых обстоятельств, о которых речь пойдет ниже, полотно это, ныне хранящееся в музее города Авиньона, художнику закончить не удалось.

...Год 1793-й, как сказал о нем поэт, «венчанный лаврами и кровью, страшный год!», начался тревожным известием. За день до казни Людовика XVI, офицер его бывшей охраны убивает революционера, члена Конвента — Мишеля Лепелетье.

Враги республики ликуют. Торжествуют они и в марте, когда на северо-западе страны, в Вандее, вспыхивает контрреволюционный мятеж. К внешнему фронту, тугим кольцом охватившему страну, добавился внутренний фронт.

С новой силой над площадями Парижа звучит призыв: «Отечество в опасности!» Вновь гремят слова: «К оружию, граждане! Ровней военный строй!» Барабаны бьют сбор, трубы трубят тревогу, батальоны выступают в поход. Солдаты революции идут усмирять мятежную Вандею.

Вперед, сыны отчизны милой!
Мгновенье славы настает!

Юный барабанщик Жозеф Бара шагает в первых рядах. Его палочки, ударяясь о туго натянутую кожу барабана, дробно отбивают такт: «Вперед! Вперед!» Слова героической «Марсельезы», созданной саперным капитаном Руже де Лилем, звучат призывом к сражению, предупреждают о встрече с ненавистным врагом. «Любой из нас героем будет», — поют бойцы, и Бара подхватывает эти слова, произнося их как клятву. Его матери, бедной многодетной вдове, которой он регулярно пересылает свое жалованье солдата, не придется за него краснеть. Жозеф Бара — маленький гражданин французской республики, будет отважно сражаться в рядах патриотов и сдержит свою клятву.

В середине октября так называемая католическая и королевская армия вандейцев была окружена под Шоле. Шли ожесточенные бои, мятежные войска упорно сопротивлялись. Чем безнадежнее было их положение, тем яростнее они бились, применяя хитрость и коварство.

Во время стычки в лесу Жозеф Бара был окружен отрядом мятежников. Двадцать ружейных дул направили на юного барабанщика. Двадцать вандейцев ждали приказа своего главаря. Мальчик мог спастись ценой позора. Стоило лишь прокричать, как требовали враги, три слова: «Да здравствует король!» Юный герой ответил возгласом: «Да здравствует республика!» Двадцать пуль пронзили его тело. А через несколько часов революционные войска ворвались в Шоле, последний оплот мятежников. И словно подхватив предсмертный возглас Жозефа Бара, они вошли в город с криками: «Да здравствует республика!» После победы у стен Шоле, комиссары доносили Конвенту, что в боях отличились многие храбрецы. Барабанщик Жозеф Бара был первым в списках отважных.

Пройдет всего несколько месяцев, и с трибуны Конвента прозвучат страстные слова Максимилиана Робеспьера: пусть

трепещут тираны — враги свободы в тот день, когда французы придут на могилы героев поклясться следовать их примеру! «Юные французы, — обращался Неподкупный к молодым республиканцам, — слышите ли вы бессмертного Бара!» И молодежь, находившаяся в зале, вскочив со своих мест, с энтузиазмом прокричала: «Да здравствует республика!» В мощном, едином возгласе, прозвучавшем под сводами Конвента, вождь революции услышал ответ на свой призыв: не оплакивать юного героя, а подражать ему, и отомстить за него гибелью всех врагов республики! Каждый из юношей готов был повторить подвиг Жозефа Бара, каждый хотел быть соперником его доблести.

В своей речи, как всегда немного патетической, Робеспьер говорил о революции, как о переходе от царства преступления к царству справедливости, о том, что надо бороться с предрассудками и пороками, доставшимися в наследство; он хотел с помощью мудрости и морали утвердить среди соотечественников мир и счастье. Он прославлял разум, добродетель, осуждал эгоизм, пороки, которые надо потопить в небытие; беспощадно разил врагов свободы, клеймил предателей, восхвалял патриотов, славил героев.

В конце своего выступления Робеспьер предложил Конвенту принять декрет о праздниках, ибо считал их важной частью общественного воспитания. Среди празднеств в честь Республики, Всемирной свободы, Истины, Справедливости, Счастья, Героизма были торжества, посвященные Мученикам свободы, Детству и Юности.

Конвент призывал всех талантливых людей, достойных служить делу человечества, считать честью оказать помощь в устройстве праздников.



Смерть Бара. Бронзовый памятник работы Альберта Лефевра, установленный в местечке Палезо — на родине отважного барабанщика.

Тогда-то и было внесено предложение, чтобы гражданин Давид увековечил юного героя на картине, копии которой должны были быть выставлены во всех школах республики. Ему же поручалось представить соображения о плане праздника в честь Бара и Виала.

Это второе имя не случайно оказалось рядом с именем отважного барабанщика. К тому времени в Париже стал известен еще один юный герой — Агриколь Виала. Ему было почти столько же лет, сколько и Жозефу Бара. И он тоже был маленьким солдатом — добровольцем вступил в небольшой отряд национальной гвардии в своем родном городе Авиньоне. Летом девяносто третьего года отряд принял участие в боях с контрреволюционерами. Роялисты, поднявшие на юге мятеж, шли на Авиньон. Им преградили путь воды реки Дюранс и отряд храбрецов. Силы были слишком неравными, чтобы сомневаться в исходе боя. Помешать продвижению мятежников вперед можно только одним способом: перерубить канат от понтона, на котором враги намеревались переправиться через реку. Но отважиться на это не могли даже взрослые — батальоны роялистов находились на расстоянии ружейного выстрела.

Вдруг все увидели, как мальчик в форме национального гвардейца, схватив топор, бросился к берегу. Солдаты замерли. Агриколь Виала подбежал к воде и изо всех сил ударил по канату топором. На него обрушился град пуль. Не обращая внимания на залпы с противоположной стороны, он продолжал яростно рубить канат. Смертельный удар поверг его на землю. «Я умираю за свободу!» — были последние слова Агриколя Виала.

Враги все-таки переправились через Дюранс. Мальчик был еще жив. Со злобой набросились они на смельчака, распростертого на песке у самой воды. Несколько штыков вонзились в тело ребенка, потом его бросили в волны реки.



Вскоре Давид приступил к картине, которую ему доверил создать Конвент, ибо, как он считал, истинный патриот должен пользоваться каждым средством для просвещения своих сограждан и неустанно представлять их взорам проявление высокого героизма.

Он задумал изобразить Жозефа Бара смертельно раненным. Враги сорвали с него одежду, он лежит на земле, прижимая к груди трехцветную кокарду.

После гибели Лепелетье Давид в конце марта преподнес Конвенту посмертный портрет революционера, каким видел его в день похорон.

Летом того же года, когда был убит Марат и Париж, потрясенный этим злодейством, оплакивал великого трибуна, Давид, склонившись над трупом, делает с него рисунок. Но еще за два дня до смерти художник навещил Друга народа. Он застал его работающим в своей ванне, где тот и был заколот фанатичкой Шарлоттой Корде. Картину «Смерть Марата», созданную им вскоре, он, по его признанию, писал сердцем, хотел, чтобы она призывала к возмездию, пробуждала гнев.

Последнее полотно из этого триптиха в честь революционных героев Давид создавал, полагаясь исключительно на свое воображение. Работал он, как всегда, упорно, по отсутствию живой модели (а он не мог даже воспользоваться своими воспоминаниями, поскольку никогда не видел Жозефа Бара) ставило его в трудное положение. Он создавал идеализированный образ ребенка. Картина не была еще завершена и к моменту его выступления в Конвенте третьего термидора, где он рассказывал о плане манифестации, посвященной юным героям.

С присущим ему размахом он набрасывает проект грандиозного зрелища. Перед слушателями, членами Конвента, по частям словно оживают сцены огромного, невиданного доселе творчества. Давид говорит о праве детей, погибших за родину, на признательность нации. Разве можно победить народ, который защищает правду, народ, рождающий таких героев, презревших смерть. «Все французы теперь, как Бара и Виала!» — восклицает Давид. Представители народа прерывают речь гражданина Давида бурными аплодисментами. «Почтим окровавленные тела юных героев Бара и Виала! — продолжает Давид. — Пусть торжество, которое мы им посвящаем, носит, по их примеру, характер республиканской простоты и величавый отпечаток добродетели!» Зал вновь гремит овацией.

Народная церемония должна начаться в три часа пополудни залом артиллерии, излагает Давид свой план. Колонны с изображениями Бара и Виала, с картинами, на которых будут отображены их подвиги, под дробь барабанов движутся к Пантеону, где уже покоятся национальные герои Лепелетье и Марат. Среди манифестантов — дети, они несут урну с прахом Виала; останки Бара, заключенные в другую урну, доверены в руки матерей, дети которых погибли, защищая родину.

В празднике примут участие танцоры, певцы, поэты — они должны декламировать свои стихи, сочиненные ими в честь

юных героев. Народ трижды произносит: они умерли за отечество.

Наступает самый торжественный момент праздника — помещение праха героев в Пантеон. Хор трижды скандирует: они — бессмертны!..

Под шум рукоплесканий Давид покидает трибуну. Конвент постановляет: опубликовать его доклад и разослать во все начальные школы, соответственным властям, народным обществам, раздать по шесть экземпляров каждому находящемуся в зале. Празднество провести десятого термидора.

Это было за семь дней до намеченного срока — третьего термидора по республиканскому календарю, то есть 21 июля 1794 года. Шесть дней спустя — девятого термидора — Париж ожидает иная «манifestация» — контрреволюционный переворот.

Торжество в честь Жозефа Бара и Агриколя Виала так никогда и не состоялось. Не была закончена и картина Давида, изображавшая юного Бара. Через несколько дней бывший член Конвента якобинец Луи Давид был арестован и заключен под стражу.



...Нет, гибель героев не напрасна, думал Гюго, покидая Салон, взволнованный только что увиденной здесь картиной Делакруа. Подвиги самопожертвования заливают историю ослепительным светом и ведут человечество вперед. На картине — один из таких героических моментов истории: схватка за свободу, за будущее народа. Ради этого отдавали свои жизни многие его соотечественники. Когда-нибудь в одной из своих книг он обязательно расскажет о маленьком герое парижских улиц, о таком же храбрце, которого только что видел на картине Делакруа. В подлинных моделях у него не будет недостатка.

Замысел будущего романа, на который уйдет более тридцати лет работы, начал складываться в конце двадцатых годов. Но и в тридцатых не было написано еще ни строчки. Материал для книги об отверженных и голодных, о непокорных духом и благородных сердцем накапливался постепенно. Даже весной 1832 года, когда Гюго заключил договор на роман в двух томах, он не смог бы подробно рассказать о своем замысле. В договоре тогда коротко значилось: роман из современной жизни. Скоро, однако, произойдет событие, которое послужит как бы толчком к воплощению задуманной книги в жизнь. Событие это —

рожденный бурей народного гнева революционный взрыв 1832 года.

...Выстрелы застали Гюго в Тюильрийском саду, на берегу реки, где он любил проводить утренние часы, обдумывая новые произведения. Врачи предписали ему тогда носить зеленые очки и как можно больше бывать на свежем воздухе, чтобы излечить хроническое воспаление век, которое он нажил постоянной работой при свечах. В то утро дойти до дому он не успел. По улицам Парижа разливалось грозное зарево восстания. Скакали драгуны, куда-то спешили национальные гвардейцы. Над толпой демонстрантов вспыхнуло ярко-красное знамя. Потом снова затрещали выстрелы, по мостовой пополз пороховой дым. Особенно жарко было у ворот Сен-Дени, где восставшие соорудили баррикаду. Кучка храбрецов, человек шестьдесят, отбивала атаки нескольких тысяч королевских войск, наступавших при поддержке пушек. Стрельба и пушечная пальба продолжались почти непрерывно. В конце концов защитники баррикады были сломлены — солдатам удалось зайти с тыла. Смельчаки почти все погибли — здесь «лилась самая пламенная кровь Франции».

Все, что произошло в Париже летом в 1832 году, особенно баррикадные бои на улице Сен-Дени, глубоко врезалось в память Гюго. Впечатления эти, как и те три славных дня, что оставили след в его душе, потом переплавятся в один из самых драматических эпизодов на страницах его эпопеи о жизни «отверженных».

Но прежде, чем появились ее первые главы, написанные мелким почерком на тонкой светло-синей бумаге, пройдет еще почти десять лет. И потом, став очевидцем революционной бури 1848 года, грозным эхом прокатившейся по Европе, Гюго будет неустанно трудиться, вводя в повествование все новые и новые эпизоды, развивая и углубляя действие, создавая следующие части своей главной книги.



Вот уже несколько лет, как Виктор Гюго живет в изгнании на английском острове Гернси, расположенном в Северном море. Францию ему пришлось покинуть неожиданно. В тот день, когда Наполеон III осуществил заговор против республики и совершил переворот — 2 декабря 1851 года, — Гюго, по словам А. Герцена, встал во весь рост, «в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию: под пулями он протестовал про-

тив государственного переворота и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать». Гюго пришлось бежать под чужим именем: ищейки «Наполеона маленького» гнались за ним по пятам. Поэт обосновался вскоре в небольшом поселке Отвиль.

Дом, где Гюго поселился с семьей, стоит на берегу. Каждый уголок в Отвильхаузе любовно украшен руками хозяина. Он сам делал чертежи мебели, сам вырезал герб на спинке кресла, сам мастерил подсвечники. Неумоимо выжигал по дереву, полировал мебель специальными смесями, секреты которых он знал и хранил. Четыре года Гюго трудился как заправский художник-оформитель. «Я и не знал прежде, — шутил он, — в чем мое призвание. Оказывается, я рожден стать декоратором».

Каждое утро Гюго по узкой лестнице, которая из библиотеки ведет наверх, поднимается в стеклянный шар-террасу, тоже построенную по его проекту. Здесь он работает, стоя за пюпитром из черного дерева. Сейчас он заканчивает десятую часть «Отверженных».

То, о чем рассказывается в ней и о чем пойдет речь в следующих, он видел сам. Все было точно так на самом деле — сначала летом в 1830 году, потом — в 1832 г., только имена героев пришлось заменить, ибо история повествует, а не выдает.

Время от времени Гюго отрывает перо от бумаги и задумчиво смотрит на море. В раскрытое окно стеклянного фонаря доносится шум прибоя, виден порт, старая крепость, маяк. Слышатся крики чаек, среди волн ныряют паруса рыбацких лодок. Они плывут к горизонту, там — Франция. Тридцать лет прошло, как он задумал свою книгу. Теперь она близка к завершению. Тридцать лет труда и раздумий! В ней — отражение всей его жизни, его борьбы в защиту народа. Перед мысленным взором Гюго пронесится мнувшее, лица друзей и врагов. Улицы восставшего Парижа, баррикады, свист пуль и грохот канонады. Сквозь ружейную пальбу он слышит веселый голосок. Это поет его Гаврош.

С задорной песенкой на устах малыш отправляется на войну. В руках у него старый седельный пистолет, реквизированный им у торговки хламом. Но он мечтает о большом, настоящем ружье, таком, какое было у него в 1830-м, в Июльские дни, когда французы поспорили с Карлом X. Гаврош — ветеран народной борьбы, ему не впервой воевать. И он получит свое ружье, чтобы драться наравне со взрослыми...

Вначале эпизод с Гаврошем занимал в рукописи романа всего каких-нибудь две страницы. Но постепенно образ маленького революционера, впитавший в себя жизненную правду и революционную романтику тех лет, обогащенный историческими примерами, станет одним из основных в книге.

Парижский люд, обитатели трущоб, бойцы баррикад — о них Гюго пишет свою книгу, которую с таким нетерпением ждут у него на родине, во Франции. Не всем, конечно, она придется по душе, не всем понравятся ее герои, в том числе и его Гаврош — дитя народа, дитя революционного Парижа. Гаврош — это дух древней Галлии. В нем сконцентрированы многие свойства национального характера: жизнерадостность, свободолюбие и бесстрашие, проявляющиеся особенно ярко в наиболее трудные моменты истории — во время народных восстаний. Не случайно его герой воплощает в себе черты конкретных исторических прототипов. Чем-то он напоминает маленького барабанщика, погибшего в вандейских лесах, похож он и на юного провансальца из Авиньона, сложившего голову под пулями врагов на берегу Дюрансы, и на героя Делакруа. Но Гаврош — это и результат наблюдений, изучения жизни многих безымянных беспризорных мальчишек с парижских улиц — маленьких борцов, всем своим сердцем ненавидящих врагов революции. Гаврош — будущее, таящееся в народе. Пусть его опасаются: этот малыш вырастет. За ним — грядущее. А грядущее — это Республика.

Перо почти машинально чертит на бумаге контуры мальчишеской фигурки. Таким Гюго представляет себе своего Гавроша. Рисунок, набросанный остатками чернил на перо, готов. Подобных набросков у Гюго скопилось более двухсот. Он считает их просто случайными, ни на что не претендующими рисунками, сделанными человеком, у которого есть другое, основное занятие. Правда, некоторые его друзья, например поэт Теофиль Готье, говорят, что, если бы Гюго не был писателем, он стал бы великим художником.

Наступает время обеда. Пора спускаться вниз.

— Папаша Гюго! Папаша Гюго! — раздаются детские голоса под самым окном. Это пришли местные ребятнишки. Раз в неделю они собираются к папаше Гюго на обед: так заведено. Вначале их было две дюжины, теперь вдвое больше. Гюго и его домашние ласково встречают детей, усаживают за стол. Хозяин смотрит на своих юных гостей, и взгляд его мрачнеет. Дети одеты как попало, многие босые, а скоро зима. Надо купить для всех теплую одежду, обувь. Как кстати ему предложили про-

дать его рисунки. На вырученные деньги он поможет «своим» детям, младшим братьям и сестрам Гавроша, отцом которого себя считает. Через несколько лет Гюго так и напишет в письме, адресованном основателям газеты, которая будет носить имя юного героя: «Я — отец Гавроша»...



Что знали о книге Гюго, над которой он так долго работал, до того, как она вышла в свет? Ровным счетом ничего. Известно было лишь ее название «Отверженные». Оно настораживало, книгу ждали с любопытством. Не удивительно, что первое издание, появившееся в начале 1862 года, разошлось молниеносно: за два дня был распродан весь тираж — семь тысяч экземпляров. Тотчас же потребовалось новое, второе издание, которое и вышло через две недели. Почти одновременно роман появился в книжных лавках Лондона и Брюсселя, Лейпцига и Мадрида, Варшавы и Милана; его успели издать даже в Рио-де-Жанейро, так как перевод во всех случаях делался заблаговременно по гранкам.

В России роман «Отверженные» напечатали сразу в трех журналах. Однако, спохватившись, цензура, в лице самого царя, запретила отдельное издание книги из-за сильного революционного воздействия ее на читателя.

В самой же Франции вокруг книги Гюго разгорелся горячий спор.

Критики разделились на два лагеря. Одни хвалили роман, признавая его удачным, но таких было меньшинство, другие обрушились на Гюго с хулой. Его обвиняли в том, что все события и персонажи он выдумал. Такого нет в действительности и не может быть! В книге все вымысел, все невероятно, все ложь! Реакционная критика объявила книгу опасной и вредной. На ее страницах, писала газета «Журналь де Деба», автор отрицает принципы, на которых основано все современное общество. И это была правда. Гюго в своем романе гневно осуждал социальное зло в любых его проявлениях, он выступал за обездоленных, голодных, бесприютных, он показал язвы общества, жизнь обитателей парижских трущоб, нарисовал волнующую картину народного восстания.

Этого не могли ему простить, за это его роман называли социалистическим.

До хозяина Отвильхауза на далеком острове Гернси доходи-

ли отзвуки битвы, разыгравшейся вокруг его книги. Прием, который оказала ей реакционная критика, не был для него неожиданным. Он предполагал, что не всем его правдивый рассказ придется по нраву. Но он и не думал попадать в вкусы всех. Его цель была — потрясти, взволновать сердца картиной нищеты, безработицы, страшной жизни всех отверженных обществом. Данте создал свой ад, пользуясь вымыслом; Гюго пытался создать ад, основываясь на действительности. И считал, что до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными.



ГАРВИ БЕРЧ-
СОЛДАТ
НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Было десять часов вечера, когда на старой бостонской колокольне метнулся тревожный свет сигнального фонаря. Условный знак означал, что «красные мундиры» — так американские колонисты называли солдат Георга III, короля Англии, вышли из города и направляются по дороге к Конкорду. Здесь находились склады оружия и снаряжения патриотов, готовившихся свергнуть английское колониальное господство.

Не успел отряд англичан, выступивший из Бостона 18 апреля 1775 года, отойти и мили от города, как, опережая его, по сигналу, вспыхнувшему на бостонской церкви, в сторону Конкорда уже скакал всадник. Это был один из патриотов — Пол Ривер. Несмотря на поздний час, он стучал в каждые ворота, оповещая о наступлении английских войск. Раньше их прискакал Пол Ривер с недоброй вестью и в Лексингтон — поселок на пути в Конкорд. А оттуда, удачно избежав встречи с колонной англичан, добрался до самого Конкорда. Оружие и снаряжение были спасены, а непрошеные гости встречены вооруженными добровольцами.

Из Конкорда англичане пробивались, осыпаясь со всех сторон пулями. В конце концов «красные мундиры» не выдержали и обратились в паническое бегство. Победа патриотов послужила сигналом к повсеместному выступлению против англичан.

Ты слышишь? Грянул гром войны,
Но нам неведом страх.
Встречай врагов своей страны
С оружием в руках!

Этими словами песни-марша началась долгая восьмилетняя война за независимость — едва ли не единственная справедливая война в истории Америки.



В один из дней лета 1805 года у кирпичного дома поместья Куперстаун, построенного в готическом стиле ровно полтора десятка лет назад, остановилась старая громоздкая карета. Дверца, на которой можно было разглядеть полустершиеся начертания какого-то герба, отворилась, и из экипажа вышел шестнадцатилетний Джеймс Фенимор Купер. По вызову отца он приехал домой из Йельского колледжа, где учился уже третий год.

Поместье судьи Уильяма Купера, состоявшее из обширного дома, построек и сада, располагалось недалеко от озера. На его

живописном берегу прошло детство Джеймса, двенадцатого сына судьи. С юных лет наблюдал он жизнь поселенцев, видел пионеров-разведчиков, тех, кто умел читать книгу природы и разгадывать лесные приметы, кто безбоязненно пускался в странствия по лесным дебрям, где легко можно встретиться с хищником или просто заблудиться. Только немногие охотники и звероловы (такие, каким был знаменитый Даниель Бун, о котором ходили легенды, — следопыт и проводник), перенимали от индейцев их навыки и сноровку и осмеливались на подобные рейды. Джеймс, выросший среди таких людей, мечтал о путешествиях, о нелегкой жизни землепроходца или моряка, он очень хотел походить на своего соседа — зверобоя Шимпена, некоторые черты которого, как и Даниеля Буна, использует потом при создании образа своего героя по прозвищу Кожаный Чулок.

Большой чемодан, напоминавший кожаный сундук, внесли в дом, после чего отец позвал Джеймса в кабинет. Старый Купер, аристократ и конгрессмен, отличался крутым нравом. В своей вотчине он вел себя как настоящий феодал, издевался над подвластными ему, а однажды засадил в тюрьму ветерана войны за независимость только за то, что тот отказался голосовать за федералистов. Словом, это был деспотичный человек, притеснявший как рабов, так и арендаторов, постоянно угрожая им разорением. Даже власти вынуждены были привлечь его к суду за незаконные действия. Кончил этот джентльмен типично по-американски: во время предвыборной кампании был убит в драке своим политическим противником.

Между отцом и сыном состоялся недолгий разговор. Вернее, это был не разговор, а короткий монолог Купера-отца. Джеймсу не придется возвращаться в колледж. Для него больше подходит служба на флоте. Карьера военного моряка! Это благородно, модно и почетно. Но прежде, правда, надо немного послужить в торговом флоте, испробовать, как говорится, вкус морской воды.

Два года плывал Джеймс Купер простым матросом на судне «Надежный». Побывал во многих странах, изведаль, что такое мужество и страх. Летом 1807 года «Надежный» покинул место своей последней стоянки — Англию. На родную землю Джеймс ступил 18 сентября — за три дня до этого ему в пути исполнилось восемнадцать лет.

Благодаря стараниям отца, Джеймса наконец зачислили гардемаринном в военный флот. Сохранился текст присяги, подписанный молодым Купером. В ней он торжественно клянется

честно и преданно служить своей стране в борьбе против всех врагов и противников. К большому его сожалению, доказать верность и преданность в бою ему так и не пришлось. Вместо плавания на боевом судне его посылают в глубь страны, на берега Великих озер, где он должен наблюдать за постройкой военных кораблей.

В крошечном поселке Освего, расположенном рядом с фортом, где оказался Купер, из двух десятков деревянных домишек самыми крупными были здания школы, суда и гюрьмы. Разве можно проявить себя в такой глуши! Но мечта о дальних плаваниях и подвигах, однажды завладевшая им, не оставляет его. Ему не терпится вновь увидеть соленые воды. А чтобы хоть как-нибудь отвлечься, он бродит с ружьем по окрестным лесам, вбирает в себя впечатления, которые потом так пригодятся ему. Встречается с охотниками, офицерами, торговцами, контрабандистами. И даже покупает за двадцать долларов пару пистолетов «на память о службе в этих местах». Но с сожалением замечает он в письме к брату, что нет никакой надежды на случай использовать их здесь. В отчаянии он посылает в Морской департамент просьбу перевести его на какое-нибудь военное судно. Просьба эта остается без ответа — покинуть унылый Освего ему удастся только полтора года спустя.

В Нью-Йорке Джеймс снова оказывается в роли сухопутного моряка — работает на пункте по вербовке матросов. О своих огорчениях и неудачах по службе он рассказывает в гостининой семье де Ланси — одной из старейших знатных фамилий, где часто теперь бывает. Здесь взгляд его становился задумчивым, тонкие губы плотно сжимались. Но стоило зайти разговору о том, что его волновало, как он оживлялся и начинал вспоминать плавания и страны, где бывал. Положительно, он обладал даром рассказчика, это отмечали все его знакомые.

Джеймсу казалось, что в этом доме его понимают и ему сочувствуют. Об этом говорили глаза Сюзэн де Ланси. Но они молчали о том, что встреча эта будет роковой для его морской карьеры. На предложение выйти за него замуж, Сюзэн ответит согласием, оговорив его одним условием: Джеймс должен навсегда покинуть флот, забыть море.

Весной 1810 года в судовом журнале фрегата «Оса», к которому он был приписан, появилась запись: гардемарин Дж. Купер покинул корабль. Вскоре он женился, переехал в свое поместье и занял спокойно и уединенно.

Жажда странствий, которая жила в нем с детских лет, желание служить родине и совершать во славу ее подвиги — на

деле так никогда и не осуществилась. И только став писателем, он сумеет удовлетворить эти свои стремления.



Давно были израсходованы свинцовые пули, отлитые восставшими колонистами из головы повергнутой статуи короля Георга. Бывшие повстанцы мирно трудились на фермах и в городах. Героическое прошлое Куперу представлялось эпохой, когда святое дело освобождения страны было долгом всех честных американцев. Каждый патриот, участвовавший в битве за справедливость, имел право быть назван героем, ибо с одинаковой отвагой и мужеством сражался весь народ, восставший против английского господства.

Но чем больше он задумывался над прошлым своей родины, тем отчетливее видел ту разительную перемену, которая произошла за эти десятилетия. Настоящее и прошлое все явственнее разделяла пропасть. Лицо новой буржуазной Америки теперь олицетворяли дельцы и торгаши, полулюди, наделенные одной страстью — всепоглощающей жадностью. Что значили для них самоотверженность, подвиг, отказ от личного благополучия. Разве они способны были поставить благо родины выше своих интересов, своей жизни. Ветер современности все настойчивее выдувал отовсюду поэзию героических прошлых лет. Джеймс часто видел ветеранов борьбы за свободу, с грустью и сожалением наблюдавших этот «процесс выветривания».

Не раз с досадой говорил об этом и Джон Джей — сосед Куперов и старый друг их семьи. В прошлом сподвижник Георга Вашингтона, Джон Джей ревниво относился к памяти минувших дней. Это было время, как он любил повторять, когда испытывались сердца, время бескорыстных поступков и самоотверженной борьбы. Не то, что теперь, когда всюду на первое место ставят корысть, наживу. «Разве мы думали о личном благе! — воскликнул он однажды в присутствии Купера. — И разве об этом думал герой, с которым мне пришлось в свое время встретиться».

Во время войны судьба свела Д. Джейа с человеком — имени его он не назвал, который был послан в тыл к англичанам как разведчик. Его услуги, казалось, мало чем отличались от дела обыкновенного шпиона. И тем не менее это слово в отношении его едва ли можно было применить. Обязанности, возложенные на него его начальником (а им как раз и был Джон Джей), были сопряжены с большой опасностью. Дело в том, что амери-

канский разведчик вынужден был в целях маскировки выдавать себя за сторонника короля, делать вид, что служит верой и правдой англичанам. Каждодневно он рисковал попасть в руки американцев, что в конце концов и случилось. Его схватили и приговорили как английского шпиона к виселице. Только поспешные тайные приказания тюремщику спасли этого человека от неминуемой, да к тому же позорной гибели: раскрыть свое подлинное лицо он не имел права даже арестовавшим его соотечественникам. Ему дали возможность бежать.

Но вот надобность в его действиях отпала. Джону Джею поручили встретиться с ним и вручить награду за ту пользу, которую он принес республике, подвергая свою жизнь великой опасности. Они встретились в полночь, в лесу. После похвал за верность и ловкость Д. Джей предложил ему деньги, много денег. Но каково же было его удивление, когда тот решительно отказался взять награду. «Родина, — сказал он, — нуждается во всех своих средствах, а я могу работать и так или иначе прокормить себя». Д. Джей унес золото, а вместе с тем и глубокое уважение к патриоту, так долго совершенно бескорыстно подвергавшему свою жизнь опасности.

Какой высокий патриотизм живет в сердцах простых граждан, думал Купер, выслушав рассказ о безымянном герое. Сколько в них беззаветной любви к родине, самоотверженности и мужества! Купер не знал еще тогда, какую роль сыграет эта история в его будущей судьбе писателя.



Однажды, чтобы скоротать долгий вечер, Джеймс читал вслух жене модный английский роман. «Бьюсь об заклад, что смогу написать книгу ничуть не хуже, чем эта», — заявил он, когда доброе число страниц было прочитано. Сюзан усомнилась в такой способности мужа. Задетый за живое, Джеймс предложил пари. В июне того же 1820 года он положил на стол перед женой рукопись романа «Предосторожность». А в поябре книга вышла в свет. Пари было выиграно. Так неожиданно, можно сказать случайно, началась писательская биография Джеймса Купера, когда ему было уже за тридцать. Едва ли он сам предполагал, какое значение будет иметь эта проба пера для его творческой судьбы, хотя само по себе это сочинение и не представляло особого интереса. Книга была написана в подражание семейно-бытовым романам из английской жизни. Нельзя сказать, что подражание оказалось бездарным, напротив, оно было

настолько удачным, что многие принимали роман за сочинение английского писателя. Мистификация облегчалась тем, что автор не указал на обложке своего имени: Купер не захотел подставлять его под удары критики. Но те, кто знал подоплеку дела, и прежде всего друзья Джеймса, стали упрекать его в том, что он, американец по сердцу и по рождению, написал книгу из жизни чужого общества. Все объяснения о случайности, о внезапном пари никто не желал и слушать. Поправить дело можно было только одним способом — написать другую книгу.

О чем же напишет он свою следующую книгу? Попытается создать произведение, темой которого будет любовь к родине. Желание написать такую книгу бродило в нем, пока не пришла на помощь память: он вспомнил рассказанную Джоном Джеем историю безымянного патриота. Чем не сюжет для исторического повествования! Показать прошлое своей страны во всей его жизненности, напомнить о подвигах героев, о простых и скромных людях, которые вынесли на своих плечах все тяготы борьбы и остались безвестными. Литература была в долгу перед их памятью, события отечественной истории не нашли еще отражения под пером писателя, в то время, как читатели ждали произведения, посвященного их молодой стране, ее суровой и прекрасной природе, ее смелым людям, ее истории.

Первые главы новой книги, которую он назвал «Шпион», были написаны в несколько дней. Повествование шло легко и свободно. Одно тревожило Купера — в книге нет ни замков, ни лордов, ни других неперемненных атрибутов модных тогда английских романов. Встретит ли одобрение история простолыдина у читателей? Как отнесутся к подвигу его героя Гарви Берча в стране, где утверждался здравый смысл в ущерб поэзии жизни. Но ведь право каждого писателя представить своему читателю лучшие черты того характера, который он хочет изобразить. В этом и заключается, по его мысли, поэзия. Того же, кто захочет найти в его сочинении романтическую, вымышленную картину никогда не существовавших событий, ждет разочарование. Его рассказ — это правдивая история. И вымысел, который он допускает в изображении событий прошлого, отнюдь не искажает жизненную правду, это необходимо лишь для «гармонии поэтического колорита».

Достоверность и историчность он делает принципом своего творчества. И в этом легко убедиться, читая его лучшие книги. В таких исторических романах, как «Люцман», «Осада Бостона», Купер всегда точен, вплоть до описания местности, где разво-

рачивается действие. Когда ему, например, понадобилось в романе «Осада Бостона» рассказать о первых месяцах войны за независимость, он специально посетил те места, где происходили события, описываемые в его книге, проехал по маршруту скачки Пола Ривера, побывал на месте боев в Лексингтоне, интересовался даже тем, какая была погода в те дни. По существу и печальная судьба Натти Бампо — этого рыцаря лесов и прерий, рассказанная им на страницах пятикнижия о приключениях Кожаного Чулка, — это тоже действительный, как он сам говорил, не подлежащий сомнению факт. Подлинный случай положил он и в основу романа «Шпион», хотя имени человека, о котором услышал от Д. Джея, не знал. И только когда книга была уже готова и появилась в продаже, рассказ Д. Джея неожиданно подтвердился. У куперовского героя вдруг объявился живой прототип. Некий Инок Кросби утверждал, что он и есть тот, кого писатель вывел в своем романе под именем Гарви Берча. Что же, вполне возможно, что Инок Кросби был тем, кого имел в виду Д. Джей. История этого разведчика послужила пружиной сюжета книги. Герой Купера, приняв маску сторонника врагов, жертвует добрым именем, терпит оскорбления и бранные клички, оставаясь искренним патриотом. Даже попав в плен к своим, он выдавал себя за торговца-разносчика и хранил тайну своего перевоплощения. Он молчал, несмотря на грозившую ему смерть от рук тех, кому помогал. Только один человек знал, что этот худощавый, с крепкими мускулами и смелым взглядом «опасный враг» действовал во имя родины. Этим человеком был сам Вашингтон. Гарви Берчу он доверяет больше других, ибо давно заметил в нем любовь к истине и верность своим принципам. И Вашингтон не ошибся в его преданности и самоотверженности. Когда потребовалось, Гарви Берч, наотрез отказавшись от вознаграждения, уходит со сцены, совершая еще один гражданский подвиг. Он понимает, что никто никогда не узнает о его правоте, до самой могилы ему придется слить врагом своей страны, после него останется лишь опозоренное имя. Единственная его награда — сознание того, что он честно служил справедливому делу и выполнил свой долг. Но повествование Купера не вышло бы за рамки описания отдельного случая, если бы он не усложнил интригу, не ввел целый ряд подробностей, новые эпизоды, взятые из других источников. А главное — ни один документ не смог бы помочь Куперу в создании живых характеров. Для этого нужен был писательский талант.

Значит, не только случай с Иноком Кросби лег в основу

куперовского романа? У нас нет на этот счет прямых документальных подтверждений. Но несомненно, что Купер, работая над книгой, пользовался разного рода материалами: мемуарами, письмами и т. п. Ибо таков был его метод, отличавшийся необычайной скрупулезностью. Косвенными подтверждениями того, какие исторические события и образы вдохновляли писателя, мы все же располагаем.



Джеймсу нередко приходилось слышать имя Натана Хейла. На фермах и почтовых станциях, в тавернах и на пристанях о нем пели песни, рассказывали легенды. Впервые Джеймс узнал о Хейле еще во время учебы в Йельском колледже, где задолго до него учились и Хейл. Преподаватели при каждом удобном случае напоминали об этом и ставили его в пример как истинного патриота. Что же это был за человек? И что он совершил такое, за что его так превозносили?

...В начале осени 1776 года военная обстановка в районе Нью-Йорка и Лонг-Айленда складывалась для американцев неблагоприятно. Им пришлось оставить город и остров и отойти к северу. На совете, созванном командующим силами повстанцев, Вашингтон заявил, что многое зависит от информации о передвижении войск противника. И убедительно просил своих офицеров принять все меры к тому, чтобы добыть необходимые сведения. Тогда же было решено послать в распоряжение английских линий надежного человека, сведущего в военном деле, находчивого, смелого и наблюдательного.

Семнадцатилетний капитан Натан Хейл из Ковентри, в недавнем прошлом школьный учитель, добровольно вызвался выполнить рискованное поручение. Ни уговоры друзей, ни опасность, которой он подвергал себя, — ничто не остановило его. Хейл вполне сознавал, что, возможно, будет раскрыт и схвачен во время выполнения задания. Что же заставило его решиться на такой отчаянный шаг? Славы он не искал, не гнался за повышением в чине или вознаграждением. Он хотел одного — быть полезным своему народу. Вот его слова: «Родина требует от меня услуги, и я должен выполнить ее».

Его принял командующий и лично объяснил цель и задачу опасной миссии. Натану Хейлу предстояло на лодке, ночью, переправиться через пролив, где патрулировали английские корабли, пройти по Лонг-Айленду и пробраться в Нью-Йорк в распоряжение войск противника.

Разведчик высадился на пустынный берег. Ничто, даже всплеск волн, не нарушало тишину приближающегося дня. Вокруг не было никаких признаков жилья — одни холмы. Под видом бродячего учителя, сторонника короля, Хейл проник глубоко в тыл вражеских линий. Вместе с фуражирами, снабжавшими англичан продовольствием, и несмотря на строжайший приказ никого не пропускать, он оказался в городе. По дороге вел наблюдение, тщательно на латыни записывал добытые сведения и прятал их в башмак. Он уже был на обратном пути, как внезапно над проливом опустился сильный туман — дорога назад оказалась закрытой. Пришлось пережидать непогоду в таверне. Видимо, здесь он обратил на себя внимание своей любознательностью. Когда он вышел на улицу, его уже поджидал патруль.

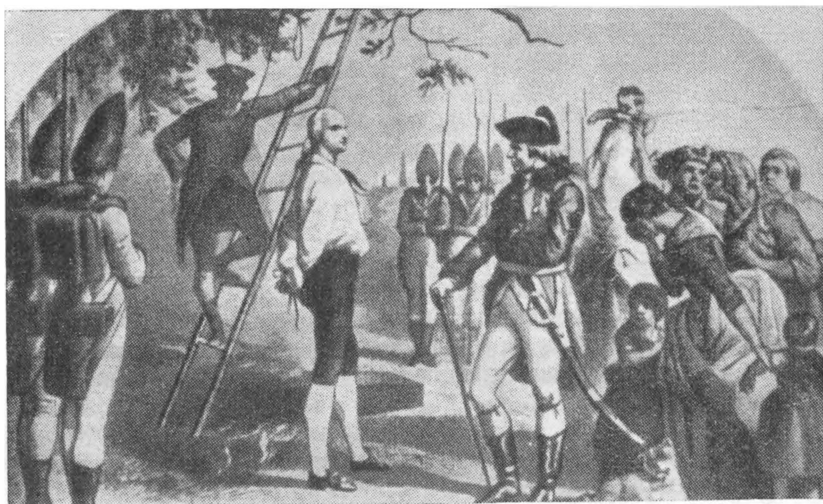
Молчать было бесполезно — уличающие его записи легко обнаружили. Генерал Хау предложил ему жизнь ценой измены, обещал чин капитана королевской армии и крупную сумму денег. Хейл отверг гнусное предложение. Участь его была решена. В последний момент ему отказали даже в бумаге для прощального письма.

«Разве это смерть для офицера», — с прощней заметил его палач, начальник военной полиции англичан. «Любая смерть почетна, когда умираешь за отчизну», — спокойно ответил Хейл. И добавил: Я сожалею лишь о том, что у меня только одна жизнь, которую я могу отдать родине!»

...Поздним вечером, 22 сентября 1776 года, на передовых постах американских линий, около Харлем-Плейнса, появился английский капитан с белым флагом. Это был Джон Монтрессор из королевского корпуса саперов. Он должен был передать Вашингтону письмо об условиях обмена пленными.

Встретившим его офицерам он сообщил, что на рассвете в Нью-Йорке около таверны «Голубка» был казнен солдат, переодетый в штатское платье. Он назвался Натаном Хейлом и перед смертью отказался завязать глаза...

Первым документом, увековечивающим память Натана Хейла, была запись, сделанная вскоре после его гибели в городской летописи города Ковентри. В ней говорилось: «Капитан Натан Хейл, сын Дикона Ричарда Хейла, был схвачен в Нью-Йорке англичанами и казнен в сентябре 1776 года». Спустя несколько десятков лет его имя значилось одним из первых в списках национальных героев, оно было известно даже школьникам, о нем не только пели песни, но и слагали гимны, позже ему воздвигнут памятники, напишут про него пьесы.



Казнь Натана Хейла. Старинная гравюра.

Мог ли Дж. Купер, начав писать книгу о подвиге разведчика, не вспомнить об отважном поступке благородного юноши! Романтический образ героя-патриота стоял перед его глазами. И хотя в романе имя Хейла упоминается только раз, но его подвиг как бы озарил все повествование. Нет, не один Инок Кросби послужил прототипом Гарви Берча.



С наступлением лета Джеймс вместе с Сьюээн и детьми покидали свой старый дом среди лесов и перебирались поближе к морю, на остров Лонг-Айленд. Здесь, в усадьбе Сэг-Харбор — доме матери Сьюээн, они подолгу гостили, особенно в последние годы перед тем, как он, по выражению жены, «заделался писателем».

Чтобы добраться до усадьбы, расположенной в восточной части Лонг-Айленда, надо было проделать немалый путь, чуть ли не около пятисот миль. От Куперстауна до Олбани, городка на реке Гудзон, ехали в старом, с облупившимся кузовом экипаже, какими пользовались еще во времена английского владычества. До Нью-Йорка плыли вниз по течению на пароходе.

С тех пор, как фултоновский «Клермонт» впервые прошел по этому маршруту, минуло несколько лет. Тогда, в августе 1807 года, когда состоялся первый рейс невиданного доселе судна, на нем отважился проехать всего один пассажир. Теперь колесный пароход не был уже в диковинку, он входил в повседневную жизнь, становился привычным и обыденным.

Перед путешественниками разворачивалась живописная панорама, на берегу возникали места исторических сражений, знаменитая крепость Вест-Пойнт, дом, где со своим штабом останавливался Вашингтон; пароход плыл мимо поселков и рощ, мимо переправ и холмов, где 40 лет назад гремели пушки. Джеймс думал о том, что народ никогда не забывает свое прошлое. Оно не умирает и память о нем, как легенда, живет среди людей.

В Нью-Йорке снова пересаживались в почтовый дилижанс и остаток пути до Сэг-Харбора проделывали на лошадях. Обычно летом сюда съезжались и другие родственники. В том числе кузина его тещи Мэри Флойд с мужем — бывшим членом конгресса Бенджамином Толмеджом. К этому не очень разговорчивому старику, занимавшемуся теперь торговлей, Джеймс испытывал особое расположение. Перед ним был живой очевидец и активный участник войны за независимость. Он прошел ее всю, начал простым лейтенантом и закончил с генеральскими эполетами. В чине майора Толмедж руководил секретной службой армии Вашингтона. Джеймс узнал от Толмеджа некоторые подробности истории Натана Хейла — они были однокашниками по колледжу и вместе вступили в армию. От него же, человека весьма осведомленного, Джеймсу стали известны и другие факты из истории тайной войны времен борьбы с англичанами. Не все тогда еще можно было опубликовывать, имена бывших разведчиков держались пока что в секрете. Но в беседах с Купером, который был чем-то ему симпатичен, возможно своим восторженным отношением к героям войны, старый генерал часто увлекался и приподнимал завесу над прошлым.

Посвятил он будущего писателя и в обстоятельства так называемого дела майора Андре, к которому имел самое непосредственное отношение.



Незнакомец вошел в гостиную, молча положил на буфет пакет и так же быстро и бесшумно исчез. Хозяйка дома Сара Таунсенд едва успела разглядеть на конверте имя Джеймса Андерсена, как подошел английский майор Джон Андре, вскрыл

письмо и, прочитав, сунул его в карман. Это незначительное на первый взгляд событие произошло в усадьбе Ойстер-Бэй, что значит Устричная бухта, расположенной на острове Лонг-Айленд у самого пролива, который тогда еще по старой памяти часто называли проливом Дьявола. После того как англичане захватили остров, в Ойстер-Бэй квартировали офицеры. Сара Таунсенд, молодая хозяйка, во всем старалась угодить постояльцам, благосклонно относилась к ухаживаниям полковника Симкоу и, казалось, не сочувствовала повстанцам.

В полдень того же дня — это было в начале сентября 1780 года — она заметила, что полковник Симкоу долго шептался о чем-то с Андре. До нее долетели отдельные слова. Речь шла, как она поняла, о захвате крепости Вест-Пойнт, оплоте американцев на реке Гудзон.

В тот же час Саре потребовалось срочно отправить в Нью-Йорк записку своему брату Роберту, владельцу магазина и кафе. В этой записке, как она объяснила британскому офицеру Даниэлю Юнгу, который вызвался быть курьером, она просит брата отпустить особый сорт чая для назначенного в этот вечер приема.

Когда гости в Ойстер-Бэй (главным образом это были офицеры армии его величества) пили и расхваливали чай, доставленный накануне, Роберт Таунсенд, прочитав послание сестры, добавил к нему от себя несколько слов и подписался — «Калпер-младший». С этого момента пришли в движение все звенья разведывательной цепочки, на одном конце которой стоял Роберт Таунсенд и его сестра. Кто же был на другом конце?

Четыре года спустя после гибели Натана Хейла невидимый фронт борьбы представлял собой совсем иную картину. Не одиночки-смельчаки, а многие патриоты стали солдатами этого фронта. Одним из них был бесстрашный курьер Остин Ро. И в этот раз, получив от Роберта Таунсенда секретное письмо, он без промедления отправился в путь. Ему надо было проскакать по проселочным дорогам Лонг-Айленда более пятидесяти миль до городка Сетокет. Здесь он посетил Абрахама Вудхолла, молодого человека, жившего уединенно и замкнуто. Получив донесение, тот сразу же отправился к проливу, внимательно всматриваясь в развешанное вдоль берега на веревке белье. Это был условный сигнал, по которому он определял, где причалила лодка с той стороны. Ее неустрашимый владелец Колеб Брустер уже поджидал его и тотчас отправился в обратный путь через узкий пролив, каждую минуту готовый к нежеланной встрече с английским военным шлюпом.

Утром донесение Роберта Таунзенда было в руках Джона Болтона. Под этим вымышленным именем действовал руководитель разведывательной службы Бенджамин Толмедж. От него сведения, полученные с той стороны, попадали прямо к Вашингтону — последнему звену в цепи.

Незадолго перед тем, как майору Толмеджу было доставлено донесение из Нью-Йорка, он получил письмо от коменданта крепости Вест-Пойнт генерала Бенедикта Арнольда. И теперь, читая донесение «Калпера-младшего», он удивился, что в обоих письмах — и Калпера-младшего и Бенедикта Арнольда — упоминалась одна и та же фамилия: Андерсен. Генерал просил предоставить этому торговцу охрану, когда он окажется в расположении американских войск. Заслуги Арнольда ставили его вне подозрений. И все же Толмеджу это, возможно и случайное совпадение имен, показалось странным, он насторожился.

Среди эпизодов тайной войны того времени дело майора Андре приобрело особую известность. Скандал вокруг этого дела был тем более шумный, что в нем оказался замешанным один из высших офицеров американской армии, а цели, которые ставили перед собой заговорщики, — самыми коварными. В их планы входил захват не только крепости Вест-Пойнт, но и самого Вашингтона.

Для встречи с комендантом крепости Арнольдом, являвшимся агентом англичан, и был послан майор Андре. Под видом торговца Андерсена (ему-то и было адресовано письмо от Арнольда, которое заметила Сара Таунсенд) майор с большими трудностями добрался к месту свидания с американским генералом. До сих пор Джону Андре сопутствовала удача. Но с той минуты, когда он вынужден был отказаться от мысли вернуться к своим на фрегате «Коршун», который не смог пройти ему навстречу вверх по реке из-за сильного огня американцев, счастье изменило Андре. Пришлось избрать иной путь возвращения — верхом, через расположения противника. Его сопровождал доверенный Арнольда полковник Смит. На окрики патрулей и часовых о том, кто идет, они отвечали: друзья. Если требовалось, показывали пропуск от генерала. В сумерках переправились через Гудзон, прошли на юг и у моста на реке Кротон расстались. За рекой начиналась ничейная территория, там Андре был почти в безопасности.

До английских линий было рукой подать, когда утром 23 сентября вблизи Тарритауна его остановил патруль из трех ополченцев. Андре, видимо, не плохо разыгрывал свою роль. Недавно о его актерских талантах, которые он демонстрировал на

любительских спектаклях, как, впрочем, и о его способностях поэта и художника, так много говорили в салонах Нью-Йорка. Ополченцы готовы были уже поверить мнимому торговцу и лишь на всякий случай решили осмотреть его сюртук и предложили снять сапоги. Андерсен повиновался, но снял почему-то только один левый сапог. В другом оказались план укреплений Вест-Пойнта, данные об огневых средствах крепости и другие секретные сведения... Андре предложил сделку: за свою свободу — сто гиней, лошадь и золотые часы. Джон Полдинг, командир патруля, заявил ему на это: «Даже за десять тысяч гиней вы не сделаете ни шагу». Английского агента доставили к полковнику Джеймсу, командиру второго полка легких драгун. Он распорядился отправить арестованного обратно в крепость Вест-Пойнт к генералу Арнольду. Это была явная неосторожность. Мало того — полковник послал Арнольду курьера с извещением об аресте торговца Андерсена. Стоит ли говорить, что генерал-изменник прекрасно воспользовался этой информацией и благополучно скрылся. Чем руководствовался полковник Джеймс — осталось загадкой. Надо полагать, что это была лишь непростительная оплошность.

Бенджамин Толмедж, узнав об аресте какого-то Андерсена, вспомнил полученные накануне послания, где упоминалась эта фамилия. Был отдан приказ вернуть незадачливого негодяя обратно. Через несколько дней, в начале октября, суд приговорил Андре к смертной казни. В честь его пленения выпустили медаль, которой наградили задержавших его ополченцев, а на том месте, где его арестовали, воздвиглиobelisk.

...В тот год, когда Купер приступил к роману, на газетных полосах вновь всплыло имя Андре. Сообщалось, что англичане решили воздать ему почести героя и похоронить его останки в «Пантеоне Англии» — Вестминстерском аббатстве. Шумиха, поднятая по этому поводу проанглийскими газетами, не могла пройти мимо Купера. Благодаря рассказам Б. Толмеджа и Р. Таунзенда, с которыми он часто встречался, Купер был хорошо посвящен в дело английского шпиона. Вплоть до деталей. Например, он знал о том (и это, как и многое другое, использовано в романе), что полковник Симкоу писал Саре Таунсенд каждый год в день св. Валентина стихотворные послания, предлагая ей руку и сердце.

В книге не раз заходит речь об английском майоре, который был казнен всего лишь «несколько недель назад». История Андре напоминает о положении одного из персонажей романа Генри Уортона — капитана королевских войск: переодевшись в

штатское, он прошел через американские пикеты и оказался на территории противника в усадьбе своего отца. Ему грозит виселица, и его обвиняют в том же, в чем и Андре,— шпионаже в пользу англичан.

Незавидная судьба майора Андре как бы оттеняет происходящее, усиливая драматизм действия. И тем самым помогает, что было очень важно для автора, воссоздать подлинную историческую атмосферу, на фоне которой действуют его герои. Купер стремился не к правдоподобию, а к подлинной правде.



Опасения Купера оправдались. Роман «Шпион», изданный без имени автора в конце 1821 года, поначалу не заметили. Вернее сказать, не захотели замечать. Зато его сразу же перепечатали английские журналы. И только после того, как автор книги был назван в английской, а затем и во французской прессе «выдающимся американским романистом», газеты Америки по-

Арест майора Андре. Гравюра по картине художника Д. Хэллина.



местили несколько весьма сдержанных откликов. Куперу не могли простить его героя из народа, прославление подвига простолюдина.

Натан Хейл, Инок Кросби, Бенджамин Толмедж и его помощники — герои невидимого фронта. Гарви Берч — их литературный собрат, образ, «замешанный» на подлинном материале истории войны за независимость Америки. Через несколько лет Купер поймет, что подвиги тех подлинных героев, которых олицетворял его Гарви Берч, были напрасны. Он убедится в иллюзорности идеалов американской революции, идеалов свободы. И тогда он произнесет свои знаменитые слова: «Народу Америки предстоит понять, что его кажущаяся свобода — не что иное, как болтовня его хозяев-демагогов». Для Купера станет очевидно то, о чем он напишет в «Письме к соотечественникам» — об измене американцев принципам демократии, о засилии денежных интересов, о том, что публика, охваченная жаждой обогащения, не испытывает уже бывшего интереса к литературе. Купер разоидется со своей страной, «пропасть между нами огромна...» — напишет он. Таков был печальный вывод, к которому придет писатель.

Несмотря на замалчивание и скудные оценки отечественной критики, роман «Шпион» принес Куперу всемирную славу. Книгу очень скоро перевели на многие европейские языки. Русская критика отмечала, что роман интересен сочетанием «подробностей американской войны с описанием нравов и обычаев сей страны».

Начало было положено, первый шаг — самый трудный — был сделан. Мечта Джеймса начала осуществляться. Когда-то он помышлял о битвах и подвигах, о плаваниях по морям и странствиях на суше. Теперь он проделает все это многократно на страницах своих книг. Перо, следуя за его воображением, словно волшебная палочка, переносило его в девственные леса, на берега озер, где в чаще скрывались индейцы и мелькал брусничного цвета камзол Натти Бампо. Вместе с этим пионером-землепроходцем он проложит пути среди лесов и степей; поднимется на палубу «Ариэля» с таинственным лодманом, прообразом которого ему послужит знаменитый моряк Поль Джонс; окажется в рядах ополченцев, осаждавших Бостон... Но самый высокий, самый благородный его подвиг, подвиг писателя — в работе, напряженной, упорной, в создании более тридцати томов. «Шпион» открывает этот длинный ряд произведений. По существу это была первая книга Джеймса Фенимора Купера — одна из лучших в его творчестве, написанная уже не подража-

телем, а, по словам Белинского, «могучей кистью» большого мастера.

Пройдет немного времени, и Купера станут величать «американским Вальтером Скоттом». Правда, сам Джеймс очень сердился, когда его так называли. «Это,— говорил он,— меня оскорбляет больше, чем все плохие рецензии на мои книги». Купера признает не только читающая публика, но и корифеи литературы. Бальзак будет «рычать от восторга», читая его романы, Белинский — восхищаться тем, как он из «видимой простоты творит великое и необъятное», а Лермонтов найдет в нем «несравненно более поэзии, чем в Вальтере Скотте». Что касается самого отца исторического романа, то и он поражался мастерству Купера. И когда они встретились в Париже в 1826 году — к этому времени Купером уже были созданы, кроме «Шпиона», романы «Пионеры», «Лоцман», «Осада Бостона», «Последний из Могикан» — это была встреча равных, встреча, как ее назвал Вальтер Скотт, «шотландского и американского львов».



ВИДОК-
АКТЕР
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ»

В пестром мире героев Бальзака, среди галереи созданных им типов, выделяется мрачная фигура Вотрена.

Образ этот, по словам самого автора, представляющий моральное гниение, каторгу и общественное зло, был подсказан писателю подлинной историей одной жизни.

Автор «Человеческой комедии» считал действительное событие, случай — «величайшим романистом мира», призывал его изучать, ибо жизнь всегда придумывает более сложные сюжеты, чем писатель. Искусство писателя — озарить огнем воображения картины, увиденные в жизни, осмыслить их, переплавить в форму художественного обобщения.

Бальзак, носивший в голове целое общество, стремившийся изучить это огромное скопище гипов и дать точный социальный диагноз, взял подлинный факт, почти неправдоподобный, и угадал за ним типическое явление.

История прототипа Вотрена, его необычных приключений, — это история жизни человека, которого Бальзак сделал актером своей бессмертной «Человеческой комедии».



На рассвете со стен крепости раздались три пушечных выстрела. Местным жителям сигнал этот был хорошо известен. Он означал, что с брестской каторги бежал преступник, и напомнил о том вознаграждении, которое ожидает всякого, кто поймает беглеца. В этот раз им был двадцатитрехлетний Франсуа Эжен Видок, известный, несмотря на молодость, как «король побегов». Излюбленным его способом был побег с переодеванием. Однажды он вышел из тюрьмы под видом муниципального служащего, сделав из трехцветной ленты пояс и кокарду. Нехитрый маскарад вполне удался — часовой вытянулся перед ним, отдавая честь. В другой раз совершил побег в мундире офицера. Стражник почтительно приветствовал мнимое начальство и сам распахнул перед ним дверь. Приходилось совершать побег и с помощью подкупов, веревочных лестниц, подкупа...

Репутацию «короля побегов» Видок поспешил оправдать и на брестской каторге. Переодевшись в платье монахини, которая за ним ухаживала в тюремном лазарете, он на восьмой день после прибытия в крепость бежал. В конце концов сумел сменить арестантский наряд на форму матроса и добрался до родного Арраса, где он родился в 1775 году в семье булочника.

Здесь мальчишкой он разносил хлеб по домам и был самым сильным и самым красивым парнем на улице Венецианского

зеркала. Отец хотел сделать из него булочника, сын же крепко запомнил слова гадалки, предсказавшей ему бурную судьбу.

В один прекрасный день, прихватив из кассы отца тысячу франков, он отправился в Остенде, надеясь там сесть на корабль и уплыть в Америку. Однако уехать не удалось — на пристани его дочиста обокрали, и ему пришлось поступить в бродячую труппу. С этого момента начались похождения Видока, вполне оправдавшие слова гадалки. В балагане впервые проявился его талант подражателя, не раз выручавший его впоследствии. Видок поистине владел даром Протея, перевоплощался буквально на глазах, легко изменял возраст, облик лица, маперы, голос.

Шел 1791 год. Молодая Французская республика переживала тяжелые дни. До аррасцев доносятся из Парижа призывы отстоять отечество. Среди выступлений патриотов они узнают голос и их земляка адвоката Максимилиана Робеспьера, родившегося в соседнем с Видоками доме и отправившегося отсюда однажды вечером на дилижансе в столицу как избранник города в Генеральные штаты.

Франсуа Видок, к тому времени вернувшийся и прощенный отцом, вступает добровольцем в армию. В день битвы с австрийцами при Вальми — первого крупного успеха республиканских войск, его производят в капралы. Для шестнадцатилетнего юнца это было неплохое начало. Подвел его необузданный нрав. После дуэли с унтер-офицером и ареста ему ничего не оставалось как скрыться. На его счастье подоспела амнистия, после чего он спокойно объявился в Аррасе. В городе в тот момент расправлялись с аристократами. На площади перед ратушей мрачно возвышалось изобретенное годом раньше Гильотеном «во имя любви к человечеству» быстро действующее приспособление, метко окрещенное в народе «национальной бритвой». Не обходилось и без трагических курьезов. Одно беднягу чуть было не казнили лишь за то, что кому-то крики его погугая показались похожими на восклицание «Да здравствует король!».

Вступившись за невиновного, Видок вынужден покинуть Аррас. Затем он снова в армии и снова дезертирует. Кочует с цыганами, становится морским артиллеристом, потом корсаром, погонщиком скота, торговцем, актером, контрабандистом. Всюду выступает под разными именами.

Вскоре ему опять не повезло. Из-за ссоры и поединка он оказывается на три месяца заключенным в тюрьму, не подозревая, что отсюда отправится прямо на галеры.

В тюрьме Видок познакомился в Севастьяном Буателем. Вся вина этого крестьянина состояла в краже хлеба. Шесть лет каторги — таково было наказание, которое ожидало несчастного. Двое заключенных взялись ему помочь. Написав от его имени прошение, они заодно ловко сфабриковали и поддельный документ об освобождении Буателя, причем вовлекли в это дело и Видока. Крестьянина выпустили. Когда же подлог раскрылся, его авторы свалили всю вину на Видока — для него это означало несколько лет каторжных работ. Тогда-то он и решил бежать. Был пойман, бежал снова. Так повторялось неоднократно, пока наконец его не приговорили уже как «закоренелого» преступника к восьми годам.



Он жил среди отверженных законом, изучал их повадки и нравы, много лет наблюдал жизнь с ее изнанки. Склонный к парадоксам Стендаль говорил, что только на галерах можно найти людей, обладающих великим качеством — силой характера. Рядом с бедняком, осужденным за кражу хлеба или кочана капусты, здесь были преступники, имена которых долго сохранялись в преданиях галер. Портреты некоторых из них Видок позже набросал в одной из своих книг, посвященной бывшим его друзьям. Таков был, например, благовоспитанный вор Жосса по прозвищу Отмычка, выступавший под именем маркиза Сен-Аман де Фараль. В свете, где он обычно орудовал, его принимали за креола из Гаваны. Приятная наружность, изящные манеры, костюм франта открывали перед ним двери богатых особняков — объект его краж, свидетельствовавших о тонкой наблюдательности и изобретательности их автора. Под стать ему был и Пьер Куаньяр. Сын крестьянина, он был приговорен в 1801 году за воровство к четырнадцати годам и отправлен на галеры в Тулон. Но вскоре объявился в Испании. Спустя некоторое время вступил во французскую армию под именем графа де Понти де Сент-Элен. Мнимый граф — порождение буржуазного общества, где, по словам Бальзака, «честностью нельзя достичь ничего», усвоил главное правило этого общества: «в него надо врезаться пушечным ядром или проникать, как чума». Вор пробрался в высший свет, сменив красную куртку и зеленый кофак каторжника на щегольский офицерский мундир. После Наполеона служил Людовику, был принят при дворе, за личные заслуги перед королем его производят в подполковники Сенского легиона. Но оказалось — бывший уголовник не изменил

своему ремеслу: псевдограф возглавлял успешно действовавшую шайку воров. Кончил свою жизнь Куаньяр все же на галерах: его случайно опознал на военном параде бывший заключенный, раньше отбывавший вместе с ним срок в Тулоне.

К типу «флибустеров в желтых перчатках», как называл Бальзак уважаемых разбойников, принадлежал и Сен-Жермен, проживший жизнь под разными именами и в разных местах, и знаменитый авантюрист Антельм Колле, тоже обладавший даром превращения и тоже окончивший свои дни на каторге. Этот дерзкий мошенник, которого много лет тщетно пытались изловить, появлялся в облике епископа и в сутане монаха, в мундире генерала или под видом простого офицера, похищал крупные суммы и исчезал.

Их похождения часто находили отражение на страницах прессы того времени, в «Судебной газете», печатавшей отчеты о дерзких подвигах беглых каторжников, сеявших смутение в провинции и в столице. Факты такого рода получили отклик и в литературе. Создается мода на романы, где действуют пираты, разбойники, беглые каторжники, полицейские. Не избежал всеобщего поветрия и молодой тогда Бальзак. Уже в ранних произведениях он выводит тип сильного человека, скрывающегося обычно под чужим именем. Это и пират Аргоу, присваивающий себе фамилию графа де Максенди, и неуловимый, таинственный Феррагюс, элегантно одетый, с орденом Золотого руна и звездой на фраке и двумя буквами, выжженными на правом плече: К. Р.— каторжные работы. Наконец, это Вотрен, по словам самого Бальзака, — один из наиболее известных и ярко обрисованных персонажей «Человеческой комедии». В прошлом «Наполеон каторги», известный под именем Жака Коллена, по кличке Обман-смерть, он впервые появляется в романе «Отец Горю»...

Метаморфозы Видока так же, как и перевоплощение Куаньяра, Колле, Жюсса, наводят на мысль о различных масках, припимасмых Вотреном. Бальзак прямо указывает, что мнимый испанский аббат Карлос Эрера «оказался на месте каторжника Коллена в результате какого-нибудь преступления, столь же искусно совершенного как то, при помощи которого Куаньяр стал графом де Сент-Элен». Тот же Коллен, скрываясь от полиции, выступает под личиной негодянта, в роли генерала, осуществляет «блистательнейшую из своих проделок» — побег, переодевшись подобно Видоку в мундир жандарма. Как и он, Вотрен совершает еще одно, быть может, самое удивительное из своих перевоплощений...





Франсуа Видок.

На парижской улице, где в начале двадцатых годов прошлого столетия находился кабачок «Маленький стул», в то время часто можно было видеть хорошо одетого господина. Высокий рост, широкие плечи и развитая мускулатура свидетельствовали о незаурядной силе. Наружность его не лишена была приятности: огненно-рыжая шевелюра, голубые глаза, чуть улыбающийся рот, лицо властное, запоминающееся.

Обычно он пользовался кабриолетом, сзади которого восседал лакей — здоровенный детина. Но иногда господин, возбуждавший любопытство всей улицы, позволял себе прогуляться пешком. Тогда в глаза бросалась шпага с рукояткой, украшенной драгоценными камнями, а под тканью его костюма угадывались очертания пары пистолетов. Видимо, человек этот чего-то опасался и вынужден был принимать меры предосторожности.

Никто из соседей по улице толком не знал даже, как его зовут. Называли просто «господин Жюль». И никому в голову не приходило, что под этим именем скрывается всеильный начальник сыскальной парижской полиции Видок — тот самый каторжник, имя которого еще не так давно было известно в любой тюрьме Франции.

Что же произошло, каким образом каторжник оказался в роли охранителя закона?

Видоку опостылела жизнь травимого зверя, ему надоело, как скажет потом Вотрен, «играть роль мячика между двух ракеток, из которых одна именуется каторгой, другая — полицией». Постоянный обитатель каторги решает стать ее поставщиком.

Это было одно из самых неожиданных превращений Видока, которое позже повторит на страницах «Человеческой комедии» бальзаковский Вотрен. Из преследуемого и гоимого буржуазным обществом Видок становится его рьяным защитником, навсегда приковывает себя к галере власти.

Перед ним встала задача: очистить от преступников столицу Франции, насчитывавшую тогда около миллиона жителей. Задача эта тем более была сложной, что первое время в подчинении шефа полиции имелось всего несколько помощников. Приходилось самому участвовать в облавах и арестах. Разоблачениям Видока способствовали не только талант сыщика и знание мира, с которым ему приходилось иметь дело, но и искусство трансформации. Теперь он применял не раз испытанные в прошлом средства ради иных целей: во время охоты на преступников появлялся на парижских улицах, в кабачках и ночлежных домах под видом угольщика и водовоза, слуги и ремесленника, одинаково ловко носил костюм аристократа и бродяги.



Вотрен. Рисунок Огюста Домье.

Первый его крупный успех на новом поприще был связан с именем знаменитого фальшивомонетчика, человека редкой ловкости пальцев — некоего Ватрена. Его долго не удавалось поймать. Наконец, осенью 1811 года «Журналь де Пари» сообщил, что Ватрен, приговоренный заочно, схвачен на площади Отель де Вилль. Возможно, Бальзак, узнавший позже об этой истории от Видока, заимствовал это имя и, несколько изменив его, назвал им одну из самых колоритных фигур «Человеческой комедии».

Но не только имя взял для своего персонажа Бальзак из жизни. Писатель придал Вотрену черты реального лица — Видока, создал близкий к подлиннику портрет, наделив его умом, хитростью и силой характера, присущими прототипу. Даже внешний облик этого литературного героя, его ярко-рыжие волосы, незаурядная физическая сила, приветливое обращение и грубоватая веселость, за которыми скрывался вулкан человеческих страстей, — скопированы с Видока.

Бальзак имел право сказать, что Вотрен «не заключает в себе никакого преувеличения», ибо был списан с «живого человека». Однако и это не все. Бальзак использовал факты биографии бывшего каторжника при создании своих романов, подвергнув жизненный материал процессу переплавки.

Сведения, почерпнутые из жизни Видока, послужившего как бы возбудителем творческого воображения писателя, были немаловажным источником для автора «Человеческой комедии» при описании преступного мира, которым, как он считал, нельзя было пренебрегать в характеристике нравов, в точном воспроизведении картины общества.



Летним вечером 1844 года в загородном доме Бальзака в Жарди собрались друзья писателя. Хозяин «угощал» в тот день своих гостей примечательной личностью — известным сыщиком Видоком.

Расположившись в глубоком кресле, он занимал окружающих историями из своей жизни. Рассказывал о неписанных законах преступного мира, о «царе» воров Фоссаре, о Бомоне — человеке, совершившем сверхъестественное: умудрившемся проникнуть в хранилище драгоценностей и похитившем ценности на огромную сумму. «Тут столько,— заявил он при аресте,— что можно было сделаться честным человеком. И я сделался бы честным. Что так легко богатому! А между тем, сколько богатых, которые хуже мошенников!» Или о том, как он «вычищал Тюильри» от самозванцев, разгадав нюхом бывшего каторжника клеймо обитателя галер под платьем маркизов де Фенелона и де Шамбрей, под мундирами де Стевено и де Сент-Элена. Время от времени Видок сопровождал свое повествование словами: «Комедия! Комедия мира — самый необыкновенный спектакль!..»

Это была не первая встреча автора «Человеческой комедии» Бальзака с прототипом его Вотрена. Они познакомились задолго до этого, еще в начале двадцатых годов. Встречались в доме господина де Берни, советника суда, за обеденным столом у Бенжамена Аппера, известного филантропа, редактора «Журналь де призон». Бальзака интересовали факты, случаи из уголовной и судебной практики, он запасался материалом для своих романов, изучал жизнь «дна». Видок, как никто, мог оказаться полезным для него. Возможно, именно после встреч с ним Бальзак записал слова о том, что все ужасы, которые романистам кажутся их вымыслом, бледнеют перед действительностью. Писатель не только находил в рассказах Видока подтверждение тому, что мир преступников связан тайными узами с верхами общества, с полицией, но и черпал из его историй темы, сюжеты, образы для своих «этюдов о правах». Под именем Гобсека

выведен старый приятель Видока ростовщик Жюст; «женщина-загадка» Феодора из «Шагреновой кожи» напоминает Сильвию, знакомую Видока; видимо, им же был подсказан образ Феррагюса. Подтверждение тому — досье на некоего каторжника Феррагюса, обнаруженное в бумагах Видока после его смерти. Не раз на страницах романов Бальзака упоминается имя и самого начальника сыскальной полиции.

В своей работе Бальзак не преминул воспользоваться и таким письменным источником, как воспоминания Видока в 4-х томах. Они появились после того, как он ушел в отставку в 1827 году. Выпуская эти записи, издатель Тенон рассчитывал на широкую сенсацию — признания бывшего каторжника, недавно еще всесильного шефа полиции должны были припести немалый доход. Расчет оказался точным. Не успели мемуары Видока появиться на французском языке, как их уже печатали английские газеты. «Полиция и ее клоака, Видок и его сыщики, Сансон и его ужасная машина..,— писал Бальзак,— все было поглощено». К рукописи мемуаров приложили руку бойкие журналисты, привлеченные издателем. В том числе и некий Леритье де Леном, сомнительной репутации литератор, позже анонимно выпустивший вместе с Бальзаком «Записки палача» — книгу о кровавой династии французских палачей Сансонов, четыреста лет исполнявших свои обязанности, и об одном из ее последних представителей — Анри Сансоне, казнившем Людовика XVI.

Вскоре появляются подложные мемуары, подписанные именем Видока.

В России на выход в свет мемуаров, приобретших скандальную известность, откликнулась «Литературная газета». В двух ее номерах за 1830 год появились небольшие заметки, посвященные мемуарам Видока. Автором их был А. С. Пушкин, назвавший Видока «человеком без имени».

Имя Видока — полицейского сыщика, становится у нас нарицательным. Пушкин заклеил им доносчика Фаддея Булгарина, называя его в эпиграммах «Видок Фиглярин». Герцен советовал отказаться от услуг шпионов-видок в литературе, считая, что «всю их работу прекрасно исполняют газеты по дешевой цене, а может быть, и даром».



Оказавшись не у дел, Видок удаляется в Сен-Манде. Но не для того, чтобы коротать дни на лоне природы. Он задумы-

вает и осуществляет новое превращение: становится предпринимателем, создает в Сен-Манде бумажную фабрику. Для него так же, как и для бальзаковского Давида Сешара, мечтавшего открыть дешевый состав бумаги, это была эпоха поисков более совершенных методов производства, говоря словами Бальзака, эпоха страданий изобретателя.

Некоторое время спустя Видок учреждает первое в мире частное сыскное бюро. Он умеет хранить тайны, но умеет и разгадывать их. И вот уже деятельность его бюро распространяется не только на Францию, у него появляются информаторы и за границей. Четыре тысячи богатых клиентов пользуются его услугами. И снова Видок проникает в чужие тайны, раскрывает секреты. Он успешно конкурирует с официальной полицией, что пришлось ей, естественно, не по вкусу. Против Видока возбуждают один, потом второй процессы. Но победить его так и не удалось. В конце концов, устав от войны со столь опытным противником, полиция примиряется с ним.

В жизни ему приходилось выступать под разными именами: де Сент-Эстев, де Сен-Жюльен, Сен-Шарль и Лоран, Жан Луи и господин Жюль — были его масками, его называли Мек, что на воровском жаргоне значит «Хозяин». Теперь он известен просто как «папаша с улицы Галери Вивьен». Это его последняя кличка.

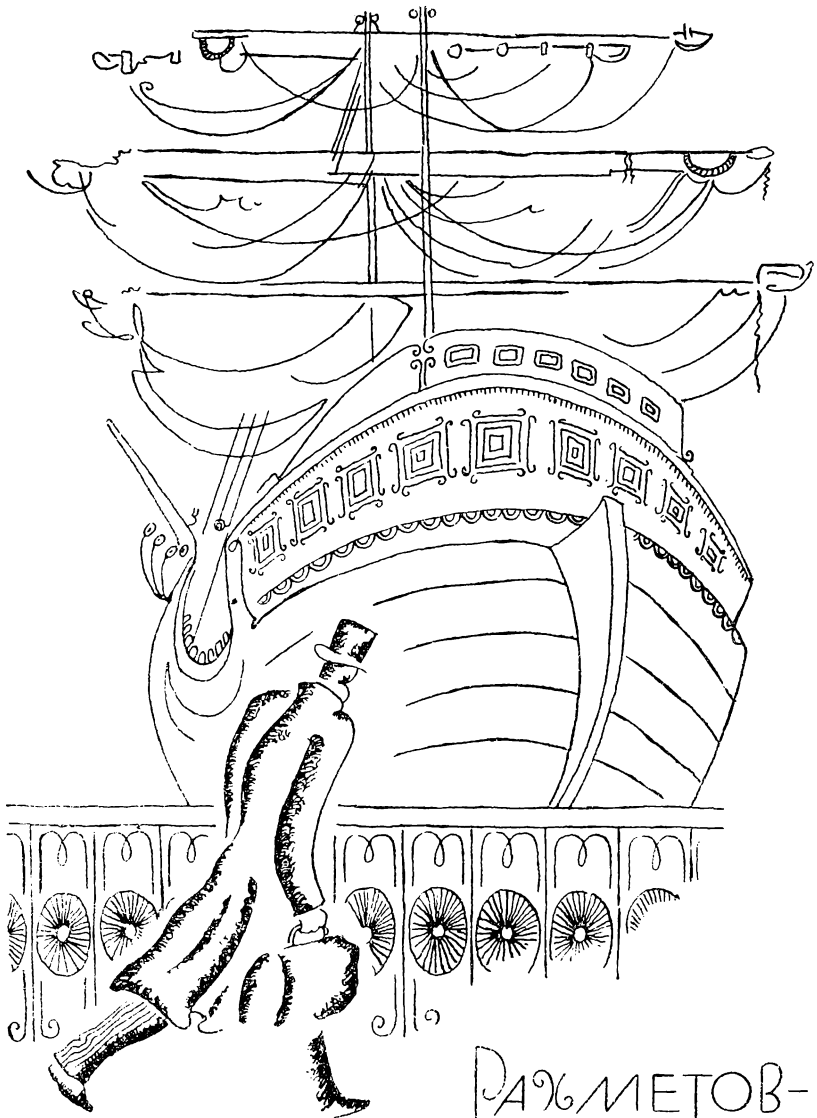
О нем вспоминают главным образом тогда, когда надо оказать услугу трону, выполнить тонкое и трудное дипломатическое поручение за границей, получить совет по делам полиции. Тем временем он ведет полусветскую жизнь, и его черный сюртук с пустым рукавом правой руки, ампутированной после тяжелого перелома, часто мелькает в парижских гостиных. И всюду он желанный гость, ибо охотно рассказывает о своих приключениях. В его друзьях числились герцоги и графы, министры и политические деятели, с ним водили знакомство писатели Оноре де Бальзак и Виктор Гюго, Александр Дюма и Леон Гозлан, Эжен Сю и Фредерик Сулье, Ламартин и Альфонс Карр. И многие из них, подобно Бальзаку, черпали из этого источника.

В. Гюго использовал некоторые реальные факты биографии Видока в романе «Отверженные». Он знал, что каторжников создает каторга. И тихий подрезальщик деревьев Жан Вальжан, попав за кражу каравай хлеба на галеры, превращается в номер 24601 — грозного каторжника, гонимого, по словам Герцена, целым гончим обществом. На упреки в том, что он слишком, мол, жестоко обошелся со своим героем, сослав его на галеры, В. Гюго отвечал: «Закон всегда смотрел косо на голод». И брал-

ся доказать фактами, почерпнутыми из судебных реестров, что несколько не сгустил красок в судьбе Жана Вальжака. Он мог бы вспомнить, в числе прочих, случай с крестьянином Севастьяном Буателем, решившемся из-за голода на отчаянный шаг так же, как и рабочий Клод Ге, процесс которого Гюго переработал в повесть; мог бы напомнить и историю Видока, когда мера наказания так же не соответствовала проступку. «Да, всех перечтешь!» — восклицал Гюго. Свои университеты Жан Вальжан проходит в одно и то же время с Видоком. Герой Гюго обладает исключительной силой, за что его называют Жан Домкрат. Иначе разве он мог бы приподнять на спине телегу с поклажей, чтобы спасти жизнь старика Фошлевана. Когда-то Франсуа Видок вот так же, словно домкратом, поднял воз с бумагой. Монахиню, которая способствовала побегу Видока с каторги, В. Гюго назвал сестрой Симплицией, и она в свою очередь помогла скрыться Жану Вальжану.

По материалам Видока были написаны Эженом Сю «Парижские тайны». Под именем Жакаля его вывел в романе «Сальваторе» Александр Дюма. Много раз, при жизни и после, вплоть до наших дней, образ Видока — беглого каторжника и сыщика, появлялся на театральных подмостках.

Но нигде он не обрисован так ярко, как в «Человеческой комедии». Его своеобразная фигура, как будто отступившая в полумрак истории, была освещена прожектором балзаковского гения и предстает перед нами в образе Вотрена на страницах романов «Отец Горно», «Утраченные иллюзии», «Депутат от Арси», «Блеск и нищета куртизанок», в драме «Вотрен».



РАУМЕТОВ-
«В ЧЕСТЬ
БАУМЕТЕВА»

Сенатская площадь была почти рядом. Казалось, если бы не замазанное окно каземата, ее можно было бы отсюда увидеть. О площади ему не случайно вспомнилось сегодня — 14 декабря 1862 года — прошло тридцать семь лет после того, как здесь совершилось восстание. Как и тогда, после разгрома восстания, Алексеевский рavelин Петропавловской крепости «забит» государственными преступниками.

Имя одного из узников — Н. Г. Чернышевский, в тюремных списках значащийся под номером одиннадцатым. Он не имеет отношения к декабристам: большинство из них давно погибло в казематах, в ссылке, под пулями горцев на Кавказе. Ему всего лишь тридцать четыре года. И все же он — один из продолжателей их дела. Тени мучеников 14 декабря вдохновляют его на борьбу, он становится главой новой плеяды революционеров. В честь декабристов сегодня он начинает писать свое новое произведение. В нем он ответит на волнующий передовую русскую интеллигенцию вопрос, что делать для того, чтобы освободить страну от самодержавия.

По всему видно, над Чернышевским готовят жестокую расправу. Иначе не держали бы в заточении без суда и следствия вот уже более пяти месяцев. Думают, его обрекли на молчание. Нет, и отсюда, из рavelина, передовая Россия услышит его голос. Стагьи, обличающие самодержавие, ему, конечно, не удастся здесь писать. Но есть иные способы говорить с читателем.

На воле Чернышевский привык писать быстро. Обычно за статью для очередного номера «Современника» он садился в последнюю минуту. И теперь, когда никто, казалось бы, не торопит, большие нелинованные листы один за другим с двух сторон также быстро покрывались мелким убористым почерком. А между тем условия для работы были, мягко говоря, мало подходящими. Писать приходилось при свече, гусиным пером. Но сказывалось, видимо, то, что многое, о чем писал теперь, было обдуманно, выношено раньше, до ареста. Одно время еще в Саратове он делал наброски будущего романа на клочках бумаги. Они так и остались там, в его комнате в мезонине. Память же хранила их содержание.

В напряженном труде прошло сорок пять дней.

В начале февраля караульные обратили внимание на то, что арестант сильно похудел и побледнел. Неужели номер одиннадцатый морит себя голодом? Начальство вспомнилось и даже растерялось. Такого еще не приходилось видеть в стенах царской Bastилии. Голодовка! Неслыханное событие в тюремной летописи.



Н. Г. Чернышевский в заключении в Петропавловской крепости работает над романом «Что делать?». Рисунок художника Ю. Казмичова.

си не только Петропавловской крепости, но и вообще России. Это был новый способ борьбы политического заключенного. Чернышевский применил его в знак протеста против того, что все просьбы и требования предоставить свидание с женой и предъявить, наконец, ему обвинения оставались без ответа.

Сначала его пробовали уговаривать, затем начали угрожать. Врач констатировал, что вследствие воздержания от пищи арестант заметно ослабел. Прописал ему капли для аппетита. Номер одиннадцатый капли принял, но от еды продолжал отказываться, только пил по два стакана в день.

И несмотря ни на что, узник рavelinna продолжал работать. Это было поразительно. Ослабевший, измученный голодовкой Чернышевский трудился над рукописью романа, преодолевая физическое недомогание, напрягая все свои силы.

Характер, как известно, формируется в борьбе с обстоятельствами. Тот, кто не получил соответствующей жизненной закалки, физической и духовной, кто не готов к сопротивлению, не выдержит испытаний. Особенно это важно для революционера. Не обладая стойкостью, выдержкой, умением владеть собой, не имеешь права становиться на опасный и благородный путь борца за народное дело. Надо сознательно готовить себя к тяжелым испытаниям, проверять свою волю, закалять ее. Конечно, одной закалки мало, прежде всего необходимо знакомство с передовыми идеями своего времени, нужна громадная, пламенная любовь к людям, широта кругозора, самостоятельность мысли. Но и умение физически выдержать многое не на последнем месте.

Об этом думалось автору в трудные дни голодовки. И именно в те дни на страницах рукописи появляется новый герой — «особенный человек» Рахметов. Когда-то «он приехал в Петербург обыкновенным, кончившим курс гимназистом». Здесь сошелся с людьми, которые думали не так, как другие — и хотя этих людей было еще мало, со знакомства с ними и «началось его перерождение в особенного человека». Всю свою энергию, знания, помыслы Рахметов направляет на то, чтобы воспитывать в себе качества, которые, по его мнению, необходимы профессиональному революционеру.

Богатый помещик-крепостник, потомок древней боярской фамилии, известной с XIII века и идущей от татарского имени Рахмет, он порывает со своей средой, продает родовое имение в верховьях Медведицы. Вырученные от продажи деньги намерен передать одному из величайших европейских мыслителей XIX века, отцу новой философии, немцу, на издание его

сочинений. Часть денег Рахметов раздает своим семи стипендиатам в Казанском и Московском университетах, чтобы они могли кончить курс.

Не удивительно, что окружающим он кажется странным, загадочным. О нем рассказывают множество историй, далеко, впрочем, не разъясняющих всего, а только делающих Рахметова лицом еще более непонятным. Таинственным выглядит и его исчезновение из Петербурга в 1858 году. Заявил близким друзьям, «что ему здесь нечего делать больше, что он сделал все, что мог, что больше делать можно будет только года через три, что эти три года теперь у него свободны», — и исчез неизвестно в каком направлении. Видели, кажется, его однажды в вагоне, по дороге из Вены в Мюнхен. Будто бы он рассказал попутчику, что объездил славянские земли, сблизился со многими людьми разных сословий, жил в городах, ходил пешком из деревни в деревню. Теперь, мол, держит путь во Францию, которую обойдет точно так же, оттуда за тем же поедет в Англию, и еще через год — «нужно» в Америку...

Много времени Рахметов проводит в чтении. Его интересуют главным образом сочинения капитальные, читает он «только самобытное». Но важен и личный опыт, знание жизни народа, условий его существования, важны и трудовые навыки. Во время странствий по России Рахметову приходилось быть чернорабочим, пилить лес, таскать камни и копать землю, ковать железо. «Много работ он проходил и часто менял их... раз даже прошел бурлаком всю Волгу, от Дубовки до Рыбинска».

«Велика масса добрых и честных людей, — записывает Чернышевский, — а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли».

Были ли такие люди в тогдашней действительности, знал ли их Чернышевский? Да, знал. И в образе Рахметова нашли воплощение черты многих соратников автора «Что делать?». Один из них — П. А. Бахметев, земляк Чернышевского, его товарищ и ученик, с историей которого он был хорошо знаком.



В один из летних вечеров 1857 года Николай Гаврилович, по обыкновению уединившись в своем кабинете, работал над статьей для «Современника», в редакции которого состоял.

В гостиной, где обычно по вечерам собирались друзья, танцевали и веселились, было тихо: жена — Ольга Сократовна — вдохновитель и душа этих вечеринок, отправилась к кому-то из знакомых.

Неожиданно явился гость. Пришлось отложить перо и выйти к нему. В прихожей стоял молодой человек, застенчиво мявший в руках фуражку. Николай Гаврилович узнал в госте своего земляка, саратовского помещика Павла Александровича Бахметева.

Они были довольно хорошо знакомы еще в Саратове, изредка встречались и в Петербурге. В своих письмах к родным в Саратов Николай Гаврилович обычно просил кланяться среди прочих земляков и Бахметеву, интересовался даже его успехами, спрашивал, переведен ли он в следующий класс, и уверенно добавлял: «Про этого нечего, кажется, спрашивать...» Что-то, значит, привлекало его в этом застенчивом пареньке и выделяло из числа многих.

Последний раз они должны были увидеться в декабре 1850 года. Встреча тогда не состоялась — Бахметева, приехавшего в Петербург, Чернышевский не застал дома. Потом ходили слухи, что он поступил в Горигорецкое сельскохозяйственное заведение. Впрочем, проучился там недолго. По неизвестной причине оставил заведение, хотя числился способным учеником — был третьим по успеваемости.

Несколько лет о нем не было, как говорится, ни слуха, ни духа. И вдруг теперь неожиданно объявился. Вид у него был неважный. Лицо бледное, одежда поношенная. А ведь когда-то это был барин — без помощи лакея не мог достать из комода носового платка. За такое барство друзья часто высмеивали его. Однако уважали за честность и редкое благородство души.

Присели к столу. Поначалу разговор не клеился.

Заговорили о Саратове, о волжских просторах. Николай Гаврилович, горячо любивший природу родного края, оживился, припомнил Зеленый остров, который был виден из его мезонина, лесные чащи на том берегу, а справа — гора Увек, с историческими развалинами татарского городища. Припомнились и поездки на лодке в места, где, по преданию, останавливался Степап Разин — богатырь земли русской.

Теперешние богатыри тянут на Волге бурлацкую лямку. Полураздетые и полуголодные, в дождь и стужу напрягают они свои мускулы ради живодеров-купцов. Черны их лица, согнуты

спины, и только в глазах можно прочесть извечную мечту о воле...

И вдруг Бахметев разговорился. Он стал говорить о своей горячей любви к родине, к ее народу, но тут же признался, что, несмотря на это, принял решение навсегда покинуть Россию.

На удивленный взгляд Чернышевского отвечал, что продал свое родовое имение в верховьях Медведицы, в Сердобском уезде, — всего более двух тысяч десятин, по семь с половиной за десятину. Теперь у него сумма почти в тринадцать тысяч рублей. Ее он использует для нужд человечества. Он бесповоротно решил покончить с прежним образом жизни и отправиться на Маркизские острова. Там им будет основана земледельческая колония, некое идеальное общество типа коммуны, где все будут жить по-братски и где труд будет источником наслаждений.

Станный человек. То ли русская действительность настолько ему опостылела, что он не видел возможности исправить ее, отчего переживал глубокий нравственный кризис и искал для себя выхода, то ли под влиянием утопистов вознамерился осуществить их идеи на практике и поставить социальный эксперимент на далеких островах, «не зараженных цивилизацией».

На осторожные возражения о том, что едва ли стоит так идеализировать жизнь туземцев, горячо возражал, доказывая возможность только там, вдали от «этого мира», «основать независимое общество, чуть ли не государство».

— А если случится «благодетельный скачок» в России? Время идет теперь со страшной быстротой: один месяц стоит прежних десяти лет. Возможно, и недалек час, когда развитие российского общества продвинется далеко вперед.

В это он мало верит, если же произойдет такое, он, несомненно, вернется. А пока часть денег, вырученных от продажи имения, готов передать Герцену на дела русской пропаганды. Для этого собирается захватить в Лондон и посетить его.

Беседа затянулась. Николай Гаврилович был явно взволнован. Перед ним находился человек, мучившийся от несправедливости и беззакония русской действительности, желавший преобразований, но, к сожалению, не видевший пока к тому возможностей. Что касается его намерения основать социалистическую общину в Тихом океане, то такой опыт, если он увенчается успехом, может оказаться полезным: в случае совершения «благодетельного скачка» придется решать

массу вопросов, в том числе и об организации нового общества.

Нет, нельзя не приветствовать этого желания действовать, пусть не здесь, в России, а на каких-то далеких островах. Все равно это подвиг. И способных на сие вокруг пока что немного.

Была уже полночь, когда начали прощаться. Впрочем, обоим не хотелось расставаться. Казалось, самое главное еще не было сказано. Наметившийся духовный контакт требовал закрепления в дальнейшем разговоре.

Бахметев попросил проводить его. Они вышли вместе и, сами того не заметив, разговаривая, пробродили всю ночь, гуляя по набережной Фонтанки...

Доброжелательность Николая Гавриловича, то, с каким вниманием он слушал рассказ о замыслах Бахметева, давал советы, сочувствовал его планам, располагали к откровенности. Бахметев рассказывал о себе, о том, что навсегда порвал со своими родовитыми родственниками (кстати пояснил: фамилия Бахметевы происходила от имени татарского царевича Бахметы, состоявшего в XIV веке при дворе великого князя Василия), заявил, что будет вести аскетический образ жизни. Его цель — служить людям, ибо нельзя чувствовать себя счастливым, когда знаешь, что другие несчастны. Одно время Бахметеву казалось, что для той цели, которую он ставил перед собой, необходимо сельскохозяйственное образование. Для этого и поступил в Горигорецкое заведение. К тому же он взял туда на свой счет одного школьного товарища, ставшего его личным стипендиатом. Но вскоре Бахметев оставил учебу, скитался по России, путешествовал, пережил немало приключений, переменил не одну профессию. Теперь, наконец, цель его определилась окончательно.

То, что задумал, — осуществит непременно.

О многом говорил в ту летнюю ночь бывший саратовский помещик. Быть может, никогда до этого и после он не был таким словоохотливым. Павел Бахметев хорошо запомнился Чернышевскому. В нем Николай Гаврилович увидел человека действия, натуру особого склада, характер, сложившийся в результате неустанныго самовоспитания. Такой человек не мог не вызвать симпатии, его нельзя было забыть.





Встреча Н. Г. Чернышевского с А. Н. Герценом в Лондоне. Рисунок художника Ю. Казмичова.

Вскоре Бахметев объявился на родине в Саратове. Посетил бывшего школьного товарища писателя Д. Л. Мордовцева, в те годы близкого к Чернышевскому. Рассказал и ему о своем плане основать коммуну на островах Тихого океана. Пригласил даже его с собой, предложив редактировать журнал будущей коммуны, условился о переписке.

Видно, он ни минуты не сомневался и твердо верил в успех своего предприятия.

Как он собирался добраться до намеченных островов? Довольно просто. Сначала едет в Лондон. А оттуда на корабле. Говорят, они отплывают, хотя и не часто, в те края. Положительно он походил на маньяка, одержимого одной идеей.

Очень скоро Бахметев исчез из Саратова навсегда. Уехал он тайно. О его маршруте знали только двое — Чернышевский и Мордовцев. В документах, имевших к нему отношение в

России, он отныне значился «живущим неизвестно где за границей».

На пути к далеким островам ему повстречался еще один русский человек. Он также оказался посвященным в замыслы Бахметева.

От этого человека Чернышевский вновь услышал о Бахметеве два года спустя после его исчезновения из Саратова. Произошло это далеко от России, в Лондоне...

Летом 1859 года по решению редакции «Современника» Николай Гаврилович отправился в Лондон для переговоров с Герценом по поводу его выступления в «Колоколе» в связи с некоторыми материалами, опубликованными на страницах «Современника». Но только ли в этом заключался смысл поездки Чернышевского? Обстоятельства этой поездки до сих пор еще мало известны. И пока нет исчерпывающего ответа на этот вопрос. Вполне возможно, что Чернышевский и Герцен во время состоявшихся двух встреч обсуждали и многие другие вопросы — о положении в России, уславливались о способах связи и т. п.

Николай Гаврилович, говоря о том, что на родине происходят большие перемены и что, самое главное, меняются взгляды на общественное устройство, что есть люди, которые хотят обновления, жаждут действовать, упомянул и имя Бахметева.

— А, это тот самый странный молодой господин, — воскликнул Герцен. — Как же, знаю. Два года назад виделись.

И он рассказал о своей встрече с Бахметевым.



Еще недавно жизнь Герцена в лондонском предместье Путней протекала уединенно и тихо. Русских в английской столице тогда не было никого: «ни звука русского, ни русского лица». Те же, которым случалось бывать в Лондоне проездом, избегали встреч с «государственным преступником Герценом», организатором Вольной русской типографии и создателем крамольного альманаха «Полярная звезда», а позже «Колокола». Побоялись всевидящего ока жандармов. Посещение Герцена в ту пору считалось чуть ли не подвигом. Вдали от родины, от друзей Герцен был тогда еще один на английском берегу со своим «печатным монологом».

Однако с некоторых пор, а точнее после смерти Николая I, положение изменилось. От посетителей не стало покоя. Ни страх

перед жандармами, ни страшная даль (предместье, где жил Герцен, находилось далеко от города), ни постоянно запертые, особенно по утрам, двери дома — ничто не останавливало. «Мы были в моде», — шутил Герцен. Дошло до того, что в одном путеводителе для туристов Герцен значился среди достопримечательностей Путнея.

Обычно посетители являлись в ранние утренние часы — самые неподходящие для визитов. И слуге Жюлю не раз приходилось отказывать им, ссылаясь на то, что господин никогда не принимает по утрам. В таких случаях Жюль просил оставить записку.

Предложил он это и молодому русскому, оказавшемуся в конце августа 1857 года у дверей герценовского дома.

Записка, оставленная гостем из России, была короткой, всего несколько слов. Автор ее писал, что имеет необходимость видеть господина Герцена и просил назначить удобное для визита время. В конце стояла подпись П. Бахметев и было указано место, где он проживал: Саблоньер-отель.

В тот день Герцен направлялся в Лондон, поэтому решил сам зайти к незнакомцу.

Это был «молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью, довольно топорно отделанной, седьмых-восьмых сыновей степных помещиков. Очень неразговорчивый, он почти все молчал; видно было, у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать что», — рассказывал потом Герцен о своей встрече с Бахметевым.

Герцен пригласил его дня через два-три отобедать у него, но еще до этого случайно снова повстречал на улице.

— Можно с вами идти? — спросил Бахметев.

— Конечно, не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик...

— Я не боюсь, — и вдруг, закусивши удила, он быстро проговорил: — Я никогда не возвращусь в Россию... нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию...

— Помилуйте, вы так молоды?

— Я Россию люблю, очень люблю, но там мне не житье. Я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях; это все я обдумал и теперь еду прямо туда.

— То есть куда?

— На Маркизовы острова.

Герцен смотрел на него с удивлением, пробовал уговаривать не спешить: «Ведь и тут не все безотраднo и безнадежно».

— Да... да. Это дело решенное — я плыву с первым пароходом и потому очень рад, что вас встретил сегодня.

И вслед за тем заявил, что дело, предпринятое Герценом, пропаганда его — необходима... И что он решился, оставляя навсегда родину, сделать что-нибудь полезное для нее.

«У меня пятьдесят тысяч франков; тридцать я беру с собой на острова, двадцать отдаю вам на пропаганду». Герцен поблагодарил Бахметева за добрые намерения, но взять деньги без расписки отказался.

— Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я возвращусь; а не возвращусь лет десять или умру, употребите их на усиление вашей пропаганды. Только, — добавил он, — делайте, что хотите, но... не отдавайте ничего моим наследникам.

Затем Бахметев попросил Герцена свести его в банк к Ротшильду: «Хочу скорее отделаться от двадцати тысяч и уехать». На слова о том, что, может быть, он когда-нибудь вернется еще, может соскучиться на Маркизских островах и у него явится тоска по родине, Бахметев лишь отрицательно покачал головой.

Следующий день, накануне отъезда Бахметева, прошел в хлопотах и суете. В банке, куда они оба явились, Бахметев разменял ассигнации на золото. Все смотрели на него с изумлением. Когда же он попросил выдать аккредитив на Маркизские острова, конторщики застыли с широко открытыми глазами. Директор бюро бросил на Герцена испуганный взгляд, который лучше слов говорил: «Он не опасен ли?»

Такого еще не бывало в банке Ротшильда — никто никогда не требовал аккредитива на Маркизские острова!

По дороге в отель заехали в кафе, расположенное неподалеку, и Бахметев, по просьбе Герцена, написал расписку на имя его и Огарева.

Окончив таким образом все дела, они отправились к Герцену обедать.

А на другой день Герцен пришел к Бахметеву в отель проститься. Тот был совсем готов. «Маленький кадетский или студентский, вытертый распертый чемоданчик, шинель, перевязанная ремнем, и... и тридцать тысяч франков золотом, завязанные в толстом фуляре так, как завязывают фунт крижовнику или орехов». Перевязывая запово упакованные деньги, он по неосторожности рассыпал их, несколько пачек выскользнуло на пол.

И так едет этот человек на Маркизские острова! Герцен не на шутку встревожился — его убьют и ограбят прежде, чем он отчалил от берега. На предложение переложить деньги в чемоданчик Бахметев ответил, что тот уже полон. От сака, который взялся ему достать Герцен, решительно отказался. Странный человек!

В полдень 1 сентября 1857 года английский клиппер «Акаста» поднял якорь и взял курс в сторону Тихого океана. На палубе в накиннутой шинели (день был ветреный) стоял один из пассажиров. Он не оглядывался на покидаемую им землю. Взгляд его был устремлен вперед...

С тех пор о «маркизском социалисте» никто ничего не слышал, следы его потерялись. Куда он девался, что с ним стало — неизвестно. Странный человек, загадочная судьба!



...На десятый день Чернышевский решил прекратить голодовку. Однако борьба не была еще выиграна. Арестант продолжал настаивать на выполнении своих требований и грозил новой голодовкой.

В тот же день Николай Гаврилович, обессиленный физически, едва держась на ногах от слабости, но сохранивший поразительную твердость духа, завершил описание первого эпизода с Рахметовым.

Перед его взором вставали образы друзей и соратников, бесстрашных революционеров Н. А. Серно-Соловьевича, Зигмунда Сераковского, А. А. Слепцова. Друг народа, умный, волевой Рахметов, этот русский Гарибальди, во многом списан и с них. Все они были людьми рахметовского склада, «двигатели двигателей», «соль соли земли». Суровые и деятельные революционеры, подчас казавшиеся загадочными и непонятными, они поставили целью своей жизни освобождение народа от царизма. Время это, Чернышевский верил, не за горами. Близок час. И его роман поможет осознать это. Жаль, что Бахметев не понял этого тогда. Уехал. Где-то он теперь, удалось ли ему осуществить свой план — основать на неведомой земле справедливое общество? Нет, не такой путь следует выбирать. Особенно теперь, когда началось брожение, когда каждый любящий Россию, деятельный человек нужен, необходим здесь. Чернышевский рисует общество будущего без рабства и унижения, где труд человеку в радость, где все равны. Проницательный читатель, задумавшись над образом «особенного человека» Рах-

метова, должен понять, что следует делать, в чем истина и как надо жить.

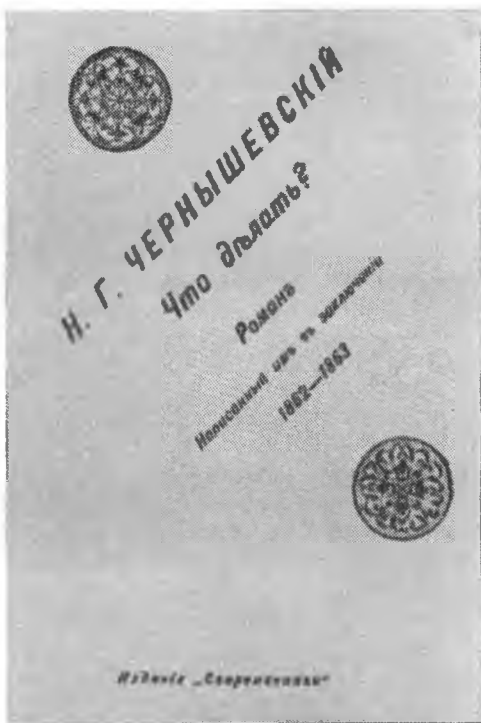
Сто десять дней ушло у узника Алексеевского рavelина на то, чтобы дать ответ на этот вопрос. Сто десять дней он писал свою книгу. Работая над новыми главами, параллельно переписывал набело уже готовые, вносил в них поправки.

В мрачном, сыром рavelине создавалась одна из самых светлых и радостных книг, преисполненных веры в будущее. «Будущее светло и прекрасно, любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, захватывайте у него в настоящее, сколько можно захватить — настолько будет светла и добра, полна радости и наслаждения ваша жизнь, насколько успеете вы перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него! Приближайте его, переносите в настоящее, сколько можете перенести!»

Будущее это не за горами. «Надеюсь дождаться этого довольно скоро», — такими словами Чернышевский закончил свой роман.

Как можно скорее книгу эту надо доставить на волю, пустить в жизнь. Сделать это, однако, было нелегко. Все, что писалось или переводилось арестантом Алексеевского рavelина, должно было поступать в Следственную комиссию.

Судьба романа была в ее руках. К счастью, тупоголовые чиновники не поняли смысла творения Чернышевского. Ру-



Титульный лист первого издания романа «Что делать?»

копись поступала к ним по мере готовности глав. После Следственной комиссии они оказывались на столе обер-полицмейстера. Отсюда с разрешением на право печатать при соблюдении правил цензуры драгоценные листы доставлялись в редакцию «Современника». Здесь их ждали с нетерпением. Журнал напечатал уже анонс о том, что со следующей, третьей, книжки за 1863 год начнется печатание романа «Что делать?» (без указания фамилии автора). Теперь дело было в цензуре. Но тот, зная, что рукопись побывала уже в Следственной комиссии, не стал над ней особенно трудиться. Не очень раздумывая, он подписал мартовский номер журнала, где печатались две первые главы. Дальше пошло в том же духе. В мае подписчики «Современника» уже читали последние главы.

Книга вырвалась на свободу, голос писателя из равелина донесся до всей России. Только тут, поняв свою оплошность, жандармы спохватились. И не замедлили излить свой гнев на беззащитного узника.

Роман, естественно, запретили (вновь он увидел свет лишь через полвека) и приобщили к делу. Он фигурировал в качестве одной из улик. В приговоре, вынесенном вскоре Н. Г. Чернышевскому и обрекавшем его на каторгу, с раздражением указывалось и на его сочинения, в которых он «развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи».

По-иному встретила книгу Чернышевского демократически настроенная интеллигенция, студенты, лучшие люди России, в том числе и те, кто томился в тюрьмах и ссылке — Писарев, Шелгунов, Михайлов. Роман о «новых людях» распространяли в списках, им зачитывалась молодежь. «Жизнь кипела, — вспоминал позже И. Е. Репин, — идеями Чернышевского», и добавлял, что Рахметов стал образчиком для подражания среди студенчества.

Земляки Чернышевского находили отзвуки саратовской действительности в его книге. Многие уловили общие черты в образе Рахметова и саратовца Бахметева. На это прямо указывали в разговорах, в письмах. «Там между прочим введен Бахметев — помните?» — писала Е. Н. Пыпина, двоюродная сестра Чернышевского, в одном из своих писем родным. В другом вновь указывала: «Рахметов — это Бахметев Пав. Алекс., помните вы его? ...Ник. Гавр. знал о нем много такого, что мы и не подозревали». Указывая на Бахметева как на прообраз Рахметова, многие стали искать общие, сближающего литературного героя и его прототип черты. Вспоминали внезапные исчезновения Бах-

метева, его путешествия по Волге. Скупые слова в романе Чернышевского о том, что он знает о Рахметове больше, чем говорит, пытались расшифровать полнее, теперь припомнили, что Бахметев «распространял идеи, сходные с рахметовскими».

Издали донесся голос Герцена — он утверждал, что Чернышевский рассказал о случае, происшедшем «с Бахметевым в Лондоне в «Что делать?», с изменениями, разумеется, обстоятельств».

Много лет спустя и сам автор романа «Что делать?», находясь в ссылке, признался: «В своем романе я назвал особенного человека Рахметовым в честь именно вот этого Бахметева».



«Ключ к гигиене
дяди Тома»

В гостиной нью-йоркского дома мистера Эдгара Бичера небольшое общество обсуждало последнее событие политической жизни. Беседа шла о только что принятом Конгрессом законе о беглых рабах. Отныне любой негр, проживающий в свободных штатах Севера, мог быть возвращен прежнему хозяину. Для этого стоило тому лишь заявить, что этот негр принадлежал когда-то ему. Закон о «беглых невольниках» лишал рабов последней надежды. Теперь, чтобы избежать ада и обрести волю, мало было пересечь черту, отделяющую южные и северные штаты. Приходилось с великим риском пробираться через всю страну. Спасение можно было найти лишь на другом берегу озера Эри, где начиналась «английская земля» — Канада. Ничего не было желаннее для несчастного, истерзанного, запуганного раба, чем добраться сюда. Но сделать это было ничуть не легче, чем попасть в рай. Очень мало кому это удавалось. Плантаторы изоцрялись в методах поимки. Охотники за живым товаром рыскали по стране, неся слезы, горе, отчаяние. Газеты то и дело писали о «подвигах» собак-негроловов. Преследователи имели право убить беглого раба. В лучшем случае его ждала суровая кара: клеймили щеки, выбивали передние зубы, надевали на шею колючий стальной ошейник. Негритянские семьи разъединяли на части, как лошадей одной упряжки, и продавали поодиночке — мужа отрывали от жены, детей от матери.

И многие жители северных штатов защищали этот бесчеловечный закон. Объяснить это можно было только равнодушием.

— Видимо, они не знают, что такое рабство и какова жизнь бедных невольников на плантациях. — Слова эти, сказанные тихим голосом, принадлежали маленькой женщине в сером скромном платье, до сих пор молча сидевшей на софе. Гости с любопытством повернулись в ее сторону.

— Уже несколько лет сторонники отмены рабства, — продолжала она, — ведут борьбу, но пока все их усилия оставались тщетными. Ни брошюры, ни памфлеты, ни газетные статьи, как видите, не смогли убедить общество в необходимости упразднить рабство — этот национальный позор. Теперь надо обращаться не к разуму, а к сердцу, к совести людей. Следует разбудить американцев, безмятежно почивающих на «хлопковых подушках». Надо нарисовать такую картину рабства, чтобы к ней не остался равнодушным самый черствый человек.

— Хетти, — обратилась к ней одна из присутствующих, — если бы я так же владела пером, как ты, то непременно написала бы что-нибудь такое, чтобы заставило весь наш народ задуматься над тем, какое проклятье это рабство.

— Я напишу, обязательно напишу, если буду жива! — ответила ей Гарриет Бичер-Стоу.

Слова вырвались у нее произвольно. Она произнесла их скорее под впечатлением разговора, а не как давно обдуманное. Но, может быть, именно в этот миг и решилась ее писательская судьба. Как бы то ни было, но с этих пор у Хетти, как называли ее близкие, необычайно возрос интерес к газетным сообщениям о поимке негров, к аукционам, на которых распродавали «живой товар», к выкупным сделкам и просто к рассказам о жизни на юге.

Сердце ее изныло от горя, ежедневно слушая печальные истории о жестокости, издевательствах над невинными, о том, как охотились на людей, ловили тех, кто хотел жить свободными. Протестовать, разоблачать?! Сокрушить эту стену можно только с помощью порохового заряда. Этим зарядом и будет ее книга. Она станет ключом, как скажет о ней Фредерик Дуглас, современник писательницы, выдающийся борец за освобождение негров, — ключом, которым откроют двери тюрьмы перед миллионам рабов.

Книга о рабстве! Книга в защиту угнетенных! Гарриет докажет в ней, что негр — человек, а не вещь, которой можно распоряжаться как хочешь. Ее книга должна пробудить гнев, вызвать протест, заставить задуматься равнодушных. Пусть при чтении этой книги в ушах раздастся свист рабовладельческого бича, стоны и крики измученных негров, и пусть эти страшные крики отзовутся в каждом доме, в каждом честном сердце.

На ее столике появляются справочники, биографии бывших невольников, записи бесчеловечного отношения к неграм, письма знакомых, которые, по ее просьбе, делились своими впечатлениями о том, что им довелось лично видеть и наблюдать на юге. Она усиленно трудится, переваривая всю эту массу фактов, сведений, рассказов. В воображении ее постепенно складываются сцены и эпизоды, все отчетливее вырисовывается история негра Тома. Скоро книга предстанет на суд публики. Но пока она еще не существует, пока лишь идет подготовительная работа, кропотливая, порой неблагодарная, но необходимая для создания достоверной картины. А между тем уже заключен договор на книгу с нью-йоркской газетой «Нэшнл ира», где Гарриет не раз печаталась. Больше того, в газете появился в начале 1851 года анонс о том, что скоро на ее страницах будет опубликован роман миссис Бичер-Стоу. Упоминалось даже название книги: «Жизнь дяди Тома, или жизнь среди обездоленных».

У нее не было своего кабинета, приходилось писать букваль-

но на ходу — в углу столовой на маленьком столике. Впрочем, пожаловаться на то, что работа идет медленно, она не могла. Бичер-Стоу признавалась, что не может удержать пера, повесть создается помимо ее воли. Первоначально задуманные восемь глав не вместили всего замысла. Пришлось увеличить и превзойти обычно принятый издателями размер книги. Она писала почти без знаков препинания, стремясь скорее зафиксировать мысль, сцену, диалог. Не хватало времени и на то, чтобы сразу же разделить действие на главы. Повествование разрасталось, герои, логика развития их характеров вели ее за собой. И уже не она, а они сами определяли свою судьбу на страницах ее книги.

Беда только в том, что трудиться над рукописью ей удается урывками. То и дело отрывают по домашним делам — большое хозяйство доставляет немало хлопот. Надо вовремя накормить детей (у нее трое малышей), убрать комнаты, потом стирка, еще надо суметь выбрать время для шитья. Где уж здесь сочинять книги!

Ей то и дело приходится откладывать перо и отправляться на кухню, чтобы проследить за кухаркой Минни. А что если захватить с собой бумагу, перо и чернила? И там, устроившись где-нибудь, продолжать записывать роман.

На кухне мулатка хлопочет у плиты. Гарриет располагает на краешке стола, чуть сдвинув в сторону миску с бобами, кусок свинины, сало, куль с мукой и всевозможные кухонные орудия, смиренно ожидающие, когда Минни пустит их в ход. Прежде, однако, ей следует получить указания от хозяйки — для этого та и пришла сюда. Но мысли Гарриет сейчас далеко отсюда, на берегу реки Огайо, по которой проносятся ледяные глыбы. Она спешит записать один из самых драматических эпизодов своей книги — побег Элизы с сыном Гарри после того, как хозяин продал ее мальчика работоторговцу. «Элизе казалось, что ее ноги еле касаются земли; секунда — и она уже подбежала к самой воде. Преследователи были совсем близко... Элиза дико вскрикнула и в один прыжок перенеслась через мутную, бурлящую у берега воду на льдину...»

Терпение Минни лопнуло. Печь пылает, время уходит, а обедом еще и не пахло.

— Мэм, положить имбирю в тыкву?

— «Сердце разрывается, на нее глядя!..» — машинально вслух произносит Гарриет.

— А по-моему, это прекрасная тыква. Я сама ее выбирала.

— «Видно, как попала в тепло, так сразу и сомлела...»

- Вы это о чем, мэм, о тыкве?
- Ну, при чем здесь тыква. Речь идет о жизни человека.
- Ах, Минни, «...вода так и бурлит...»
- И не думала закипать, вам показалось, мэм.
- «Значит, во всем виновата хозяйка?..»
- Господи боже! Что с вами, мэм?
- Ничего, Минни, ничего. Просто я немного увлеклась...



За окном пелена из дождевых нитей. Сквозь их завесу, словно мираж, перед ней возникает дом в Цинцинатти, домашние, слуги. Не раз еще в ту пору, когда она жила в этом городе на границе с рабовладельческими штатами, беглецы, те, что пробирались на север, находили приют и помощь в их доме. Не однажды ей приходилось выслушивать горькие исповеди беглых невольников, потрясающие душу истории. Часто по ночам она просыпалась от скрипа телеги или проскакавшей по улице лошади. Это значило, что беглецу удалось уйти от погони, и теперь он в руках добрых друзей, которые переправят его по «подпольной дороге» дальше. Одним из «кондукторов» на этой дороге был тогда их сосед Джон Ванцольт — старик с великим сердцем. Многим несчастным помог он скрыться и избежать рабства. Помог он и Элизе на страницах ее книги, действуя под именем Джона Ван-Тромпа.

Однажды вместе с подругой миссис Даттон она спустилась в этот ад на юге. Тогда это называлось — совершить путешествие «вниз по реке». Достаточно было раз увидеть, как живут невольники в поместье, чтобы представить всю картину в целом. Недостаточное восполняли отчеты о процессах над плантаторами, встречи с беглыми рабами, их рассказы. Все, что Гарриет увидела в поместье во время поездки, она описала в романе. И миссис Даттон, читая впоследствии книгу, узнавала сцену за сценой, которые за много лет до этого им приходилось наблюдать во время путешествия по югу. «Теперь только, — писала Даттон, — догадываешься, где автор черпал материал для своего знаменитого произведения».



Маленькая бостонская типография мистера Джеуета на этот раз не справлялась с заказами. Она буквально захлебывалась и надрывалась от перегрузки и напряжения. Три старенькие пе-

UNCLE TOM'S CABIN;
OR,
LIFE AMONG THE LOWLY.

BY
HARRIET BEECHER STOWE.



VOL. I.

BOSTON:
JOHN P. JEWETT & COMPANY.
CLEVELAND, OHIO:
JEWETT, PROCTOR & WORTHINGTON.
1852.

Обложка первого издания «Хижины дяди Тома».

чатные машины без устали трудились по двадцать четыре часа в сутки. Во двор то и дело въезжали фургоны с бумагой, поставляемой тремя фабриками. Над отпечатанными страницами корпели сто переплетчиков. И тем не менее мистер Джеует не успевал с выполнением заказов на эту книгу. Читающая публика жадно поглощала ее, разбирая очередную порцию, словно кипу свежих газет, и требуя все новые и новые издания. Первое разошлось в два дня, следующее, появившееся через неделю, тоже не залежалось, столь же молниеносно расхватали и третье. Шутка сказать! — в три недели продано двадцать тысяч экземпляров! Такого мистеру Джеуету не приходилось видеть. Можно было подумать, что в его типографии печатают революционные прокламации. Впрочем, уже первые отклики на эту книгу показали, что действие, оказанное ею на читателей, было ничуть не меньше, чем иной прокламации. И силу впечатления, которое она производила, можно было сравнить разве что со взрывом под стенами вражеской крепости.

Одни горячо приветствовали книгу, другие — свирепели, стоило лишь упомянуть ее название — «Хижина дяди Тома» или произнести имя автора — Гарриет Бичер-Стоу.

Признаться, когда она работала над своей книгой, ей и в голову не приходило, что издание вызовет такую бурю, всколыхнет и разделит на два лагеря все общественное мнение страны. Бичер-Стоу хотела, чтобы ее книга была оружием в борьбе за отмену постыдного рабства, и все силы она отдавала своему творению. Но на такой успех, на такой результат она, право, не рассчитывала.

В эти дни марта 1852 года старый и холодный дом в Бронсвике был полон людей. Наведывались знакомые, чтобы поздравить миссис Бичер-Стоу, заглядывали соседи, приходили и просто восторженные читатели. Грудой лежали в гостиной на столике письма, газеты, поздравления. Скромная Гарриет, маленькая Хетти, в один миг стала самой известной женщиной Америки. В эти дни под крышей неприветливого дома поселилась слава.

Когда закончилась публикация книги в журнале, с апреля 1852 года по декабрь вышло 12 изданий. А всего за год было отпечатано триста тысяч экземпляров. Цифра неслыханная для тогдашней Америки. «Мы не помним, чтобы какое-нибудь сочинение американского писателя возбуждало такой всеобщий глубокий интерес», — писали газеты. Почти тотчас же роман появился в Англии, где спустя некоторое время уже полтора миллиона экземпляров шествовали по стране с не меньшим трюм-

фом. То же повторилось во Франции, Германии. И вскоре историю о бедном Томе читал уже весь свет.

Однажды среди своей почты Гарриет увидела письмо от Лонгфелло. Великий поэт писал ей, что ее книга — свидетельство величайшего нравственного торжества, о каком до сих пор не знала история литературы. К его голосу присоединялся голос Чарльза Диккенса. Ни одной книге на свете, говорил он, не удавалось так возбудить некоторые горячие головы, как это сделал ее роман. По словам Жорж Санд, «Хижина дяди Тома» открыла новую эру в истории американской литературы и должна быть названа среди тех произведений, которые имели самое большое влияние на цивилизацию.

Но нигде, пожалуй, ее роман не нашел такого горячего отклика, как в России. «Читали ли вы «Хижину дяди Тома»? — бога ради, читайте, я упиваюсь им», — восклицал Герцен. И добавлял, что это «громадное литературное явление».

Чернышевский и Некрасов, Толстой и Тургенев — все передовое русское общество увидело в романе Бичер-Стоу обличение и русского крепостничества, при котором положение «наших домашних негров» было ничуть не лучше, чем американских. Не удивительно, что книга Бичер-Стоу была вскоре запрещена царским правительством.

Вместе с приятными известиями все чаще Бичер-Стоу получает письма без имени отправителя. Это были анонимные послания. Большинство из них приходило из южных штатов. Казалось, весь рабовладельческий юг готов ринуться к старому двухэтажному особняку и учинить расправу над его хозяйкой. Во всяком случае в письмах подобных угроз произнесено было немало. Плантадоры грозили Гарриет самосудом. Вскрыв как-то посылку, полученную с юга, она в ужасе отпрянула: внутри оказалось ухо негра. Началась травля, запугивание, угрозы.

Поистине, ее книга стала красной тряпкой для расовых предрассудков. «Одна лишь вспышка сердца и ума Бичер-Стоу, — писал Ф. Дуглас, — зажгла миллионы огней перед воинством поборников рабства, построенным в боевой готовности, и эти огни не смогли потушить смешанные с кровью воды Миссисипи». И вот уже со всех сторон раздаются голоса — все в ее книге ложь, выдумка, преувеличение, игра авторского воображения. Это «клевета, карикатура о положении дел на юге, оскорбительный шарж». Голоса эти становятся все громче, их подхватывает пресса рабовладельческих штатов.

Наконец, появляются книги — более дюжины, авторы которых стремятся изобразить картину жизни на юге идиллически-

ми красками. Товар этот размножается все больше и получает особое название «антитомизма». Среди этих созданных на «подлинном» материале книжонок: «Хижина дяди Тома, как она есть, или случаи из действительной жизни среди бедных»; «Жизнь на юге, добавление к «Хижине дяди Тома»; наконец, объявилась еще одна хижина — «Хижина тетушки Филлис, или подлинная жизнь южан».

Что должна была в этой обстановке предпринять Гарриет, чтобы отстоять от клеветы свою книгу, а значит, защитить и себя — автора. Ей оставалось одно: доказать, что все, о чем она рассказала в своем романе, — правда. Но каким образом это сделать? Написать еще одну книгу? Едва ли новый роман из жизни негров сможет опровергнуть клевету. Нет, надо создать совсем иное. Не художественное произведение, а книгу — отчет, книгу фактов. Эта книга как бы введет читателя в писательскую лабораторию, покажет, какой документальный материал послужил основой для романа. Подлинные факты, собранные ею в этой книге, — только факты! — достоверные происшествия, газетная хроника, описание личных впечатлений, свидетельства негров — только этим можно заставить замолчать своих врагов.



Мало кто из писателей прошлого оставил подобные документы. Стефан Цвейг утверждал, что только рукописи могут помочь проникнуть в одну из глубочайших тайн природы — тайну творчества. И даже тогда, когда сам писатель не в состоянии объяснить тайну своего вдохновения — этой Синей птицы искусства, — рукописные листы его творения способны приблизить нас к разгадке неуловимого процесса творчества. В этом смысле то, что оставила нам Гарриет Бичер-Стоу, является уникальным документом. Она, как и Альфонс Додэ в «Истории моих книг», рассказала по существу историю создания своего романа, ввела нас в свою писательскую лабораторию. И сделала это с такой добросовестностью, на какую способен лишь большой и честный художник. Сравнивая две ее книги — роман и сборник фактов и документов, прокомментированных автором, мы можем проследить, говоря словами В. Брюсова, чудо превращения неясного контура в совершенную художественную картину, когда от жизненных фактов писатель переходит к обобщению и оживотворению их.

Поздний час. В доме все спят. Мягкий свет от лампы под зеленым абажуром падает на стол. Гарриет пишет...

Всего несколько месяцев назад окончен роман. И вот уже она снова сидит, склонившись над листом бумаги: работает над своим отчетом. Он будет состоять из двух объемистых томов и выйдет под названием «Ключ к хижине дяди Тома».

Основная ее цель — показать, что в романе она следовала правде жизни и многое списывала с натуры. А для этого к каждому событию, описанному в романе, она в новой книге укажет источник, откуда были почерпнуты ею сведения.

Ее спрашивают, где она видела такое чудовище, как ее плантатор Легри? Перелистайте газеты южных штатов, отвечает писательница, и вы непременно встретите на их страницах изображение человека, несущего на плече палку, на конце которой привязан узелок. Не подумайте, что это уголок путешественника, где публикуются разные туристские рекламные объявления. Здесь печатаются объявления иного рода. Начинаются они, как правило, словами: «Сбежал от нижеподписавшегося...» Дальше следует описание примет беглого невольника и обещание вознаграждения за его поимку живого или мертвого. А чего стоят объявления о том, что желающие могут приобрести специальных собак для ловли негров, или сообщения о публичных аукционах по распродаже рабов. Нередко в конце таких объявлений можно прочесть слова о том, что «на распродажу поступят рис, маслины, иголки, булавки, книги и прочее, в том числе и лошади». Негров продают, как вещи, их не считают за людей. По существу каждый из четырех миллионов американских негров мог быть продан в любой момент по желанию хозяина. И этот произвол узаконен повсеместно. Но особенно бесчинствуют расисты юга. Бичер-Стоу хорошо изучила законы южных штатов. На ее столе кипой лежат эти толстые книги, так называемые «Черные кодексы», приравнивающие людей к движимому имуществу.

Вы хотите знать, что такое рабство, спрашивает писательница. Тогда раскройте свод законов хотя бы штата Луизиана. И вы прочтете в нем следующие слова: «Раб — тот, кто находится во власти хозяина, принадлежит ему. Хозяин может продать раба, распорядиться им по своему усмотрению, а также продуктами его труда и его трудом. Раб не имеет права передвижения, не имеет права приобретать знания, он должен лишь принадлежать хозяину». Немногим отличается и закон штата Южная Каролина: «Раб принадлежит хозяину со всеми своими мыслями, намерениями и целями». То же записано и в законах Джорджии, Северной Каролины: «Раб обречен и его потомство также обречено жить без знаний».

«Вот что такое рабство, вот что значит быть рабом!» — записывает Бичер-Стоу. Закон дает таким, как Саймон Легри, силу, которой не может быть у человека, рожденного женщиной. Говорят, что она выдумала своего Легри, что это страшная пародия на человека. Да, она согласна, облик у таких, как этот изувер, человеческий, но в душе их живет дьявол. Это звероподобное существо, и таких, как он, сотни, тысячи. Об этом пишет, к примеру, и автор статьи в газете «Вашингтон» некий Даниель Гудлай, который назвал ее роман «точной картиной жизни юга и его институтов». Что же касается образа рабовладельца Саймона Легри, то автор заметки утверждает, что «сотни раз встречал подобных ему».

Об одном из таких плантаторов ей рассказал как-то брат Эдгар. Рабовладелец, с которым он встретился в Новом Орлеане, заставил его пощупать огромный, как кузнечный молот, кулак. «А почему у меня такой кулак?» — И сам же ответил: — «Потому, что я бью им негров. С одного удара замертво валятся все, как один». Теперь она просит брата в письме вновь сообщить ей все, что говорил ему этот торговец неграми: «Пусть публика сравнит его слова с тем, что у меня напечатано».

А разве не принадлежал к числу палачей Симеон Саусер, дело которого Бичер-Стоу полностью воспроизвела в своей книге-отчете. Этот плантатор из штата Вирджиния был привлечен к суду за убийство своего раба. Было доказано, что по его приказу и при его участии жертву избивали, пытали огнем, обмывали наперченной водой, пока невольник не умер. Наказание убийце вынесли столь незначительное, что Бичер-Стоу, описав этот случай, пророчески заметила: «По окончании короткого срока заключения Саусер может возвратиться к прежнему. Ему стоит лишь позаботиться о том, чтобы поблизости не было белых свидетелей».

Плантатор Саусер далеко не одинок. Чем, например, лучше него Элиза Роуэнд, забившая до смерти свою рабыню с помощью надсмотрщика, так похожего на негра Сэмбо — прислужника Легри из ее романа.

Немало места среди приводимых ею документов занимает и дело об убийстве в графстве Кларк штата Вирджиния. С отчетом по этому шумевшему случаю она познакомилась по газетам незадолго до того, как написала сцену смерти своего дяди Тома. Несчастного негра Левиса заперол до смерти его хозяин полковник Джеймс Каstellmэп. Весть о преступлении разнеслась по многим штатам, некоторые газеты требовали строгого суда над виновником. Однако разбирательство, как писали те же га-

зеты, велось отвратительно. В результате — убийца был «с триумфом оправдан», как многие и надеялись, писала Бичер-Стоу.

Так кончаются почти все дела об убийствах и истязаниях рабов, если, конечно, доходят до суда. По этому поводу один из плантаторов на вопрос о том, может ли хозяин убить негра, спокойно ответил: «Они делают это каждый день». Когда же его затем спросили, какая возможность у негра добиться справедливости в судах штата Вирджиния, последовал ответ: «Ни малейшей. Не больше, чем у зайца в когтях у льва».

В ее книге много описаний подобных жестокостей и преступлений. Конечно, это оскорбляет, наполняет гневом сердце. Неприятно знать о мерзких поступках людей. «Но, увы, Америка, такие злодеяния совершаются под защитой твоих законов!»

Кто теперь станет утверждать, что смерть старого Тома, забитого насмерть Саймоном Легри, — выдумка, небылица, ложь. Если же и найдутся еще сомневающиеся, можно продолжить перечень преступлений. И Бичер-Стоу приводит все новые и новые факты — сухие строки судебных отчетов, циничные заявления плантаторов, свидетельства жертв.

И после этого еще говорят, что ее герои не реальные. Напротив, они списаны с живых лиц. С каких? И она называет протипов. Впрочем, не только она. Бичер-Стоу дает слово читателям своего романа. Их письма, полученные ею или опубликованные газетами, лучшее подтверждение жизненности образа старого негра, описанного ею. Они показывают, что в печальной судьбе дяди Тома нет ничего такого, чего нельзя было бы найти в подлинной судьбе любого невольника.

Многие, очень многие сообщают ей о том, что знают точно такого же дядюшку Тома. «Читая «Хижину дяди Тома», — пишет один из ее корреспондентов, — я подумал, что автор, работая над романом, имела перед своими глазами раба, которого я знал несколько лет назад в штате Миссисипи, звали его дядя Джекоб. Это был очень уважаемый негр, мастер на все руки, прекрасный работник». О другом, похожем на ее Тома, честном и правдивом невольнике Даниеле, проданном без жены и детей на юг, ей писали из городка Мейн. В небольшой книжке «Очерки о слугах из старинного дома в Вирджинии», присланной кем-то по почте, она, среди прочих, прочла историю «верного раба» Давида Райса, прослужившего у хозяина почти четверть века. Перечень этот она могла бы вести, кажется, без конца. И каждая человеческая история, изложенная на страни-

пах ее книги, убедительно показала бы, что ее Том — не выдумка, а реальная фигура американской действительности.

Однако главным прототипом своего героя писательница считала вполне определенного человека.



Однажды ей в руки попала автобиография негра по имени Джошия Хенсон. Это произошло тогда, когда она уже работала над «Хижинной дяди Тома». Позже Гарриет встретила с этим человеком, и они стали большими друзьями. Подолгу рассказывал он ей о нелегкой жизни, дополняя живым рассказом то, о чем написал в автобиографии.

Первые воспоминания Джошии связаны были с тем, как его отца жестоко избили за то, что он осмелился защищать свою жену от посягательства белого надсмотрщика. На всю жизнь запомнил мальчик эту сцену и изуродованного (ему отрезали правое ухо), избитого в кровь отца, которого скоро продали без семьи «вниз по реке». Потом пришла очередь матери. Она умоляла, чтобы ее купили вместе с сыном, последним ее сыном. Удар тростью был ответом на ее мольбу.

Сын раба, Джошия был рабом. Служил хозяину, был честен и предан. Доверяли ему настолько, что, не задумываясь, поручали самые ответственные дела. Такие, как поездки в другие штаты, в том числе в Огайо. Были уверены — он не сбежит. Хотя достаточно было негру очутиться на земле этого штата, как он по закону автоматически становился свободным. Не раз, говорил Джошия, во время посещения Огайо у него возникала мысль остаться здесь, или бежать дальше на север. Но честность и исполнительность, присущие ему, удерживали его от этого шага. Пораженный такой преданностью раба, хозяин однажды пообещал отпустить его на свободу. Впрочем, очень скоро он раздумал — жаль было даром терять образцового слугу. Мало того, отказав в вольной, он решил продать Джошию.

Вместе с сыном хозяина Джошию отправили на лодке в Новый Орлеан на рынок сбыть скот и продукты. А заодно хозяйский сынок должен был продать и лучшего невольника. В душе Джошии все перевернулось от негодования и возмущения. Но воле господина по привычке перечить не стал.

Рынок в Новом Орлеане славился на весь юг. Здесь торговля живым товаром была поставлена широко. Негров продавали, что называется, оптом и в розницу, партиями и в одиночку. Казалось, работорговцы сожалеют лишь о том, что не могут раз-

делить человека надвое и продать одну часть туловища одному покупателю, а другую — другому. Шум, плач детей, которых отрывали от матерей, стоны женщин, звон цепей, крики торговцев, свист бича, хохот наполняли рыночную площадь.

В те дни, когда Гарриет писала свой роман, а затем «ключ» к нему, корабли работорговцев еще пересекали воды Атлантики. Начав позорную торговлю «живым товаром» в середине пятнадцатого века, «цивилизованные» европейцы занимались этим отвратительным бизнесом более трех с половиной столетий. Сначала португальцы, первыми указавшие путь кровавым экспедициям в Африку, потом испанцы, затем голландская Вест-индская компания, основанная в 1626 году Нью-Йорк. Ее корабли поставляли испанским колонистам в Новый Свет наряду с промышленными товарами и негров-рабов. Их ловили, словно животных, в Анголе, на Золотом берегу, в Сенегале и через океан везли на плантации сахарного тростника. К тому времени спрос на сахар возрос необычайно. Европа долгое время ничего, кроме меда, не зная, познала вкус тростникового сахара, отнюдь не ощущая в нем привкуса горечи от пота и крови, которые проливали тысячи невольников на плантациях.

Португальцы и испанцы, французы и англичане быстро научились превращать сахар в золото. Под свист бичей надсмотрщиков богатели работорговцы, плантаторы, разные авантюристы. А на плантациях требовались все новые и новые рабы — изнурительный труд и жестокое обращение быстро сводили в могилу «рабочую силу». Наконец, центром работорговли становится Англия. Старые допотопные «слейверы» — корабли малой оснастки, приспособленные для транспортировки рабов, по нескольку месяцев плыли из Африки на Запад. В их трюмах, скованные цепями один к одному, сложенные так, что «у них оставалось ровно столько места, сколько бывает в гробу», лежали негры — «живой груз».

Так были перевезены через Атлантический океан только в XVIII веке три миллиона рабов. А сколько погибло в пути от болезней, сошло с ума, предпочло добровольную смерть неволе — они душили себя цепями, глотали землю; сколько было уничтожено хозяевами судов так же, как уничтожил двести рабов капитан шхуны «Зонг», выбросив их за борт, когда обнаружил на судне нехватку воды.

Цифра эта известна — более 50 тысяч рабов в год! Пять миллионов в столетие. Впрочем, это приблизительные данные. По другим — всего за триста лет в Америку было ввезено 30 млн. негров — значит, Африка потеряла за этот период около 150 млн.

человек. Недаром про город Ливерпуль говорили, что каждый камень здесь зацементирован на крови раба. Эти же слова относили к Бристолю и Лондону, Манчестеру и Бирмингаму. На работорговле сколачивали целые состояния. Еще в прошлом веке португалец Да Суза зарабатывал на торговле «черным товаром» триста тысяч фунтов в год. Особо отличившиеся на кровавом поприще, такие, например, как Нортумберленд и Гамильтон стали герцогами.

К концу XVIII века в Америке насчитывалось шесть с половиной миллионов африканцев. И хотя в начале следующего столетия работорговля сократилась, тем не менее в первую половину века в Америку ввезли более полумиллиона рабов. Но теперь бизнес этот стал значительно опаснее. В 1807 году Англия первой провозгласила отказ от работорговли. Ее суда блокировали африканские берега. Вскоре к ней присоединились и другие страны. Однако вплоть до 1865 года закованных в цепи африканцев тайно вывозили на плантации в Соединенные Штаты.

Прошло триста лет с того дня, как первый корабль с рабами бросил якорь у берегов Америки. Что же изменилось с тех пор в судьбе негров? Ничего. Только цена стала иная. Раньше раб стоил 300 долларов, теперь его продают в четыре раза дороже.

Джошия вглядывался в лица невольников. По их виду можно было догадаться о тяжелой доле, о непосильной работе на плантациях. Такая же участь ожидает и его. До сих пор худо-бедно он жил и трудился в поместье. Теперь его продадут на плантацию, а какова там жизнь, он знает.

Тогда-то впервые по-настоящему и подумал Джошия о побеге. Он знал, если удастся добраться до Канады, — будет свободен. Что означало быть свободным для негра? Прежде всего — право быть человеком, а не рабочим скотом. Это значило жить по своей воле, независимо от воли другого. И мысль о побеге все больше завладевала его сознанием.

Как на грех в этот момент сына хозяина свалила лихорадка. Он умолял Джошию не оставлять его и отвезти обратно к отцу. Негр встал перед выбором: остаться, несмотря на подлость хозяина, верным ему или осуществить свой план. И снова привычка к покорности взяла верх. Негр не бросил больного и исполнил просьбу. Какое вознаграждение ожидало его за преданную службу? Всего лишь простой похвалы был удостоен невольник за то, что спас жизнь хозяйскому сынку, — той награды, которой одаривают верного пса.

Джошия снова оказался в поместье. Но доверять хозяину уже не мог, а главное, не хотел больше терпеть несправедливость.

Во что бы то ни стало он решил совершить задуманное. Ночью вместе с женой и детьми он убежал.

О том, с какими трудностями ему удалось добраться до города Сандаски, он рассказывал неохотно. Видно, столько пережил за это время — не хотелось вспоминать. Отсюда через озеро рукой подать до противоположного берега — берега свободы. И он обрел ее, когда ступил на землю маленького канадского городка Амхерстберг. Опустившись на колени, Джошия целовал эту землю, хватал ее пригоршнями и прижимал к губам. Вскрикивал, плясал, плакал, смеялся. Люди думали, что негр лишился рассудка. «Нет, нет, — кричал им Джошия, — я не сумасшедший, просто перед вами свободный человек».

Джошия был одним из первых рабов, кто рассказал историю своей жизни на страницах книги. Это было тогда очень важно — рассказ очевидца, человека, пережившего ужасы рабовладельческого ада. Не менее важно было и другое. Джошия являл собой живой пример того, что забитый, неграмотный раб, если предоставить ему свободу, ни в чем не уступает белым. Как и они, он способен овладевать знаниями, учиться, преподавать, писать книги. А каждая книга, написанная негром, воспринималась тогда как опровержение измышлений расистов, утверждала негра — человека, заставляла видеть в нем равного. Именно так были встречены в свое время воспоминания бывшего неграмотного раба Джеймса Пеннингтона «Кузнец-беглец» — история его двадцатилетнего рабства, побега и того, как он стал педагогом и писателем; мемуары Льюиса Кларка, который одно время жил в доме Бичер-Стоу и рассказывал ей о себе; или, скажем, автобиографическое произведение «Жизнь и времена Фредерика Дугласа» — выдающегося негрятянского прогрессивного деятеля, прекрасного оратора и публициста.

Вот почему автобиография Хенсона стала такой книгой, принесла ему широкую известность. Когда же вышел роман «Хижина дяди Тома», слава Джошия возросла еще больше. Дело в том, что многие, зная историю его жизни, считали, что Бичер-Стоу изобразила его в образе Тома. С этим мнением писательница столкнулась и в Англии. «Английский народ, — писала она, — приветствовал моего друга Джошию с энтузиазмом, как дядю Тома из моей истории, хотя Джошия был жив и жил педурно, тогда как дядя Том умер мучеником».

Под словами «жил недурно» она имела в виду, естественно, не материальное его положение. А высокую нравственную чистоту этого человека, его полезную общественную деятельность.

Джошия Хенсон не хотел умирать мучеником, как дядя Том.

И хорошо зная, что такое рабство, решил бороться за освобождение негров. Он стал одним из активных сотрудников «подпольной дороги». Так называли путь, по которому противники рабства с одной «станции» на другую, из рук в руки, до самой канадской границы переправляли беглецов-негров. Не раз тайно пересекал Джошия границу своей родины и как «кондуктор» «подпольной дороги» выводил беглецов из американского ада.

Только теперь, когда ему было уже за сорок, он выучился читать. Осуществилась его давнишняя мечта. Джошия хорошо помнил день, когда он, темный, забитый негритенок, решил пробиться к свету. Но для этого должно было случиться чудо. Маленький Джошия не хотел ждать. Он продал несколько яблок из хозяйского сада. Всего несколько яблок, чтобы купить книжку — обыкновенный букварь. С этих пор Джошия не расставался с ним. Он прятал книжку на голове под шляпой. В свободные от работы минуты где-нибудь в кустах за сараем или у изгороди он раскрывал букварь и разглядывал запретную книжицу. Через несколько дней его, однако, постигла неудача. Однажды он чистил лошадь. Хозяин с крыльца наблюдал за его работой. Вдруг лошадь вырвалась. Джошия бросился за ней, шляпа слетела у него с головы, и букварь оказался на земле. На вопрос о том, где он взял деньги на покупку книги, мальчик ответил: «Продал яблок из нашего сада». «Из нашего сада! — негодовал хозяин. — Я научу тебя, как продавать яблоки из нашего сада!» Дорого обошлась Джошии попытка научиться грамоте. Следы от побоев, полученных тогда, остались на его теле на всю жизнь.

Трудный и долгий путь отделял его теперь от того дня. Обретя свободу, Джошия не только овладел грамотой, стал писателем, но и основал близ поселка Доун колонию беглых рабов, одну из самых процветающих в Канаде. Так из преданного хозяину раба, когда-то похожего на смиренного дядю Тома, Джошия Хенсон стал бунтовщиком. Он избрал другой путь — не мученика, каким был бедный Том, не безграмотного и бесправного невольника, а путь бунтаря, путь знания. Тот путь, которым пошли и некоторые другие герои Бичер-Стоу. Вспомните хотя бы вольнолюбивого Джорджа Гарриса. Его образ тоже казался кое-кому преувеличением. Но Бичер-Стоу прямо пишет, что и этот персонаж сложился из вполне реальных прототипов. Она сама видела в поместье на юге цветного юношу (у которого, впрочем, была вполне белая кожа) — изобретателя машины для трепания конопли. Факт этот использован в романе. Ей заявляли, что негр не способен что-либо изобрести. «А разве не негр

Эли Уитни, — напоминает Гарриет, — еще в 1793 году изобрел машину для очистки хлопка, которая заменила труд двухсот рабочих!»

— Где вы видели грамотного негра, такого, как ваш Гарриет? — не унимались расисты.

— Джордж Гарриет умел читать и писать, — отвечает Гарриет, — ибо среди негров такие случаи, хотя как редкое исключение, бывали.

— Ну, а ваша Элиза тоже, скажете, не выдумана? — продолжали диалог с писательницей ее противники.

— И она — вполне жизненный портрет, если хотите, во многом списана с подлинного лица. Что касается случая с переправой негрятянки и ребенка по льду через реку Огайо, то эпизод этот, казавшийся некоторым неправдоподобным, тем не менее широко известен. О мужественной женщине писали в газетах, о ней сообщали мне в своих письмах очевидцы.

Даже подробности биографии мадам Ту из ее романа писательница почерпнула в рассказах Льюиса Кларка о его сестре Делии. Как и мадам Ту, она вышла замуж за француза, жила в Мексике, Вест-Индии, во Франции. После смерти мужа, получив в наследство большое состояние, она приехала на родину, решив выкупить из рабства братьев.

Каждому персонажу, выведенному на страницах «Хижина дяди Тома», Гарриет отводит главу в новой книге-отчете, словно дает ключ к характеру каждого героя, знакомит с его родословной. Ее герои — смиренный дядя Том и вольнолюбивый Джордж Гарриет, мужественная Элиза и отчаявшаяся Прю, непокорная Касси и жизнерадостный Сэм — как бы различные стороны национального характера своего народа.



Все толще становились тетради с выписками подлинных сцен и эпизодов, совершенно тождественных с теми, которые у нее описаны в «Хижине». И все больше Гарриет чувствовала себя свидетельницей на уголовном суде, словно ее призвали быть обвинительницей своих соотечественников. Пусть ее обличение разнесется по всему миру. Пусть же всеобщий глас человечества пробудит американцев от тяжелого сна! И пусть ее книга, основанная на протоколах и свидетельствах живых лиц, подтвердит точность и правдивость всего того, о чем она рассказала в «Хижине дяди Тома».

Работа эта не из легких. Приходилось просматривать газеты

за многие годы, перелистывать многие книжные страницы, записывать показания очевидцев! Это был поистине адский труд — фактов оказалось такое множество, что у нее просто не хватало физических сил выписывать их. «Я совсем выбилась из сил, — пишет она брату, — приготавливая «ключ», чтобы отпереть «Хижину». Но трудность состояла не только в этом. Гораздо тяжелее было переносить моральное напряжение. Она писала эту книгу, «страдаая душой, плача, молясь, проводя бессонные ночи и переживая самые тяжелые дни». Писать правду всегда трудно. Тем более трудно писать о горькой правде, рассказывать о зверствах людей над другими людьми, которых за таких не считали только потому, что у них была черная кожа. Легче сочинять из головы, записала Бичер-Стоу в предисловии к книге «Ключ к хижине дяди Тома», тяжелее создавать книгу на фактах, взятых в страшной действительности.

«Ключ к хижине дяди Тома» — публицистический комментарий к роману Бичер-Стоу — сделал свое дело. Если про художественное произведение можно было говорить, что оно — плод фантазии автора, что написанное в нем в жизни не встретишь, то книга, основанная на фактах, заставила навсегда замолчать всех противников писательницы. Она как бы обнажила фундамент из жизненных фактов. Трудно было что-либо возражать, когда пришлось иметь дело по существу с самой жизнью. Невозможно было, даже при всем желании, опровергнуть такое обилие фактического материала и документов.

Гарриет Бичер-Стоу выиграла эту битву, битву за право художника на обличение несправедливости и зла, за право литературы быть школой нравов, школой воспитания.

С тех пор как имя Бичер-Стоу стало известно всему миру, прошло много лет. Позади — триумфальная поездка по Европе, признание соотечественников, запомнившаяся ей на всю жизнь встреча с Авраамом Линкольном — президентом. Это случилось через девять лет после выхода ее книги, когда по всей Америке гремели орудия гражданской войны между Севером и Югом за освобождение негров. Войны, к которой она, а вернее ее книга, имела самое непосредственное отношение. Во всяком случае, так сказал Линкольн, встретив ее однажды на приеме. «Так это вы — та маленькая женщина, — воскликнул президент, — которая вызвала эту большую войну». Гарриет по праву могла гордиться такой лестной характеристикой. Ведь это значило, что цель ее достигнута. Когда-то она хотела пробудить американцев, спящих на «хлопковых подушках». Желание ее исполнилось. С помощью своей книги она достигла этого.

Пойти на фронт Бичер-Стоу, естественно, не могла. Зато она была первой матерью в штате Массачусетс, которая послала своего сына сражаться в армии северян. Сама же, как и прежде, не выпускала из рук пера. Писала статьи, выступала перед публикой, как когда-то Чарлз Диккенс, с чтением своих произведений, прежде всего, конечно, с чтением «Хижины», продолжала бороться за права негров.

Немало создала она за это время и новых книг. Одну из них — «Дред, повесть о Проклятом Болоте» Гарриет посвятила восстанию негров в 1830 году под руководством Ната Тэрнера, которого писательница вывела под именем Дреда. Об этом она рассказала в своем послесловии к роману. Однако ни одна из ее последующих книг не получила той популярности, не достигла того общественного резонанса, который завоевала «Хижина дяди Тома».

Бичер-Стоу оставалась по существу автором одной книги. Но книга эта стоила многих иных томов. Она заставила снять оковы с рабов целого материка. Более того, ее роман из оружия борьбы за освобождение негров превратился в повесть об угнетенном человечестве вообще.

На старости лет Гарриет доживала дни в Хатфорде. Дом ее стоял рядом с домом другого великого американца — Марка Твена. Они были соседями. Часто виделись. Марк Твен вспоминал о том, как Бичер-Стоу играла на рояле в гостиной его дома или бродила в саду, где было много цветов — она их всегда любила. Иногда маленькая, сгорбленная старушка отдыхала среди клумб в плетеном кресле. И тогда можно было заметить, что взгляд ее становится каким-то особенно мечтательным, взор добрых глаз устремлялся куда-то вдаль. В эти минуты она казалась рассеянной. И только присмотревшись, можно было заметить в ее лице черты твердой воли и сильного характера. Такой и изобразил ее художник Ричмонд. Пожалуй, ему лучше других удалось на холсте передать эти ее качества — мечтателя и борца.

Портрет этот висел в гостиной хатфордского дома. Эта же комната служила и библиотекой. В осенние, холодные дни, когда дорожки сада покрывали опавшие листья и лишь на клумбах пламенели ее любимые настурции, в комнате приветливо горел камин, около него собирались обитатели дома, приходили друзья. Хозяйка сидела у огня, укутав ноги шотландским пледом. Ее ссутулившаяся фигурка отражалась на стекле книжного шкафа, где хранились издания «Хижины дяди Тома» в переводах на многие языки. Это была редкая коллекция, которой

Бичер-Стоу справедливо гордилась. Второе такое собрание находилось только в Британском музее. Но еще больше гордилась Бичер-Стоу тем, что и спустя почти полвека ее книга не превратилась в исторический документ, не утратила своего звучания, своей действенной силы. Она продолжала быть книгой, которая помогала понять, что происходило в Америке в те дни. Так же, как помогает она нам в этом и сегодня.

Когда мы читаем о бесчинствах и преступлениях в Литл-Роке или в Ричмонде, Гринвилле или в Атланте, в Селеме или в Нашвилле — мы видим в толпе нынешних расистов и Саймона Легри, размахивающего своими тяжелыми кулаками. Когда же узнаем об убийстве негров и белых — борцов за гражданские права — Мартина Лютера Кинга, Виолы Луизо и Джеймса Рибба, Эндрю Гудман и Майкла Шривера, Джеймса Чени и Медгер Эверса, Джимми Ли Джексона, Джонатана Даниэлса, — то вспоминаем героев «Хижины дяди Тома», мужественно борющихся за то, чтобы стать свободными и равноправными.

«Рабство навеки искоренено в Соединенных Штатах», — думала Бичер-Стоу, дело только за тем, чтобы позаботиться о просвещении негров. С тех пор прошло более ста лет. Но как и во времена Бичер-Стоу негр фактически не имеет права голоса, несмотря на законы и поправки к конституции, запрещающей лишать права голоса «по признаку расы и цвета кожи». Лишены равноправия негры и в образовании. Сколько негритянских ребят не посещают школ из-за того, что расовая сегрегация, которая, кстати, тоже противоречит конституции, цветет пышным цветом в стране «истинной демократии». Горькой иронией звучат сегодня слова писательницы, обращенные к молодежи. Она хотела, чтобы ее повесть научила состраданию и жалости ко всем бедным, угнетенным людям. «Старайтесь всеми силами, — призывала Бичер-Стоу, — чтобы двери школ не затворялись перед детьми негров». Сегодня же вместо негритянских детей во дворах школ часто можно видеть вооруженных до зубов полицейских, агентов и куклуксклановцев, выкрикивающих оскорбления по адресу детей негров, которые пытались переступить порог школы «для белых». Лишь единицам из негритянских детей удастся сесть за парту. В Атланте в начальной школе учится всего пятеро, в Хейнсвилле — допущено только четверо, в Богалусе — семеро, немногим больше в Джексоне.

Бичер-Стоу надеялась, что со временем в Америке не останется и следа бесчеловечного предрешения белых против племен другого цвета. Но сегодняшние расисты не намерены отказываться от своих вековых «привилегий». Они хотят и сегодня

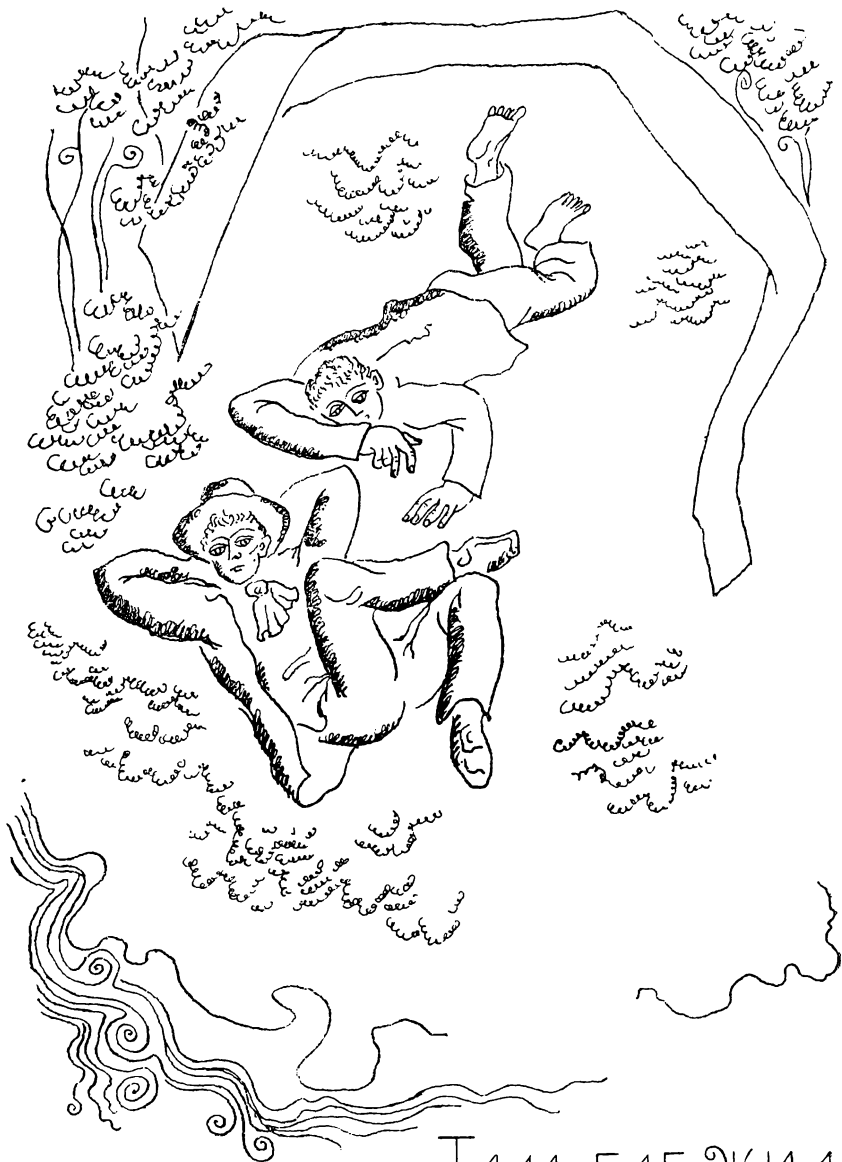
видеть в негре раба или по крайней мере покорного слугу. Такому негру — идеалу современных рабовладельцев — они воздвигли даже памятник. Он установлен в городе Нечиточесе штата Луизиана. Статуя негру! За что же удостоен этой чести потомок невольников? За безропотность и смирение, за то, что, склонившись в подобострастном поклоне, почтительно сняв шляпу, он приветствует своих хозяев. За это они соорудили памятник «Хорошему негру» (в городе его называют «Дядя Джек»). Такими расисты хотят видеть всех негров Америки — рабами, услужливо склонившимися перед белыми господами.

Смирение — дорога к рабству. Это хорошо знают негры Америки. И все больше становится тех, кто пошмамет, что дядя Том — образ, созданный воображением Бичер-Стоу, это герой без будущего, окончивший жизнь на страницах ее романа. Иное дело другие ее герои, те, что хотели бороться и победили. Они продолжают жить и ведут за собой сегодня других, тех, за кем будущее.

Вот почему и сегодня книга Бичер-Стоу — в первых рядах борцов за права негров, за их подлинное освобождение. Вот почему мы с благодарностью вспоминаем страстную поборницу гуманности и справедливости, скромную женщину, внешне никак не отвечающую тому героическому идеалу, который мог сложиться у всякого, читавшего ее роман; женщину, которая отважилась сорвать маску с отвратительной физиономии рабства и показать всему миру его звериную гримасу.

...Пришла весна. Снова ожили цветы на клумбах в саду. Ее любимые цветы.

Цветы провожали Гарриет и в последний путь 1 июля 1896 года. Среди венков на ее могиле выделялся один. Он казался самым большим. На нем была надпись: «От детей дяди Тома».



ТАМ, ГДЕ ЖИЛ ТОМ СОЙЕР

Французский монах Луи Эннепен был одним из первых европейцев, ступивших на западный берег Миссисипи. Вместе с грабительской экспедицией, возглавляемой воинственным землепроходцем Ла Салем, он проделал долгий путь по озерам и рекам и ступил на землю по ту сторону великой реки. Многие участники этого похода, цель которого была проложить путь на незнакомый дикий Запад, погибли — одних унесли болезни, другие были убиты в стычках с туземцами, третьи, в том числе и главарь Ла Саль, пали от руки своих же взбунтовавшихся спутников. Святому отцу повезло, он благополучно добрался до Франции и здесь в конце XVII столетия издал свой рассказ о путешествии по Миссисипи.

Более ста лет спустя, в начале прошлого века, на берегу Миссисипи, где потом вырастет небольшая деревенька Ганнибал, было еще пустынно. В девственных лесах, подступавших к самой воде, во множестве водились хищные звери и дичь, и стук топора не оглашал окрестности. Иногда, словно из-под земли в прибрежных зарослях вырастала фигура индейца, с тревогой вглядывающегося на восток. Оттуда тропой войны шли белые колонизаторы, неся разорение и гибель туземным племенам.

Поначалу в местечке Ганнибал, возникшем на западном берегу великой реки, ютилось всего несколько семей. Тридцать человек жили в постоянной опасности на самой линии сопротивления с индейцами, за что жителей поселка называли «сторожевыми псами». Но вот заброшенный уголок на реке ожил — в поисках работы и наживы в Ганнибал потекли новые поселенцы. В чащах застучали топоры, засвистели пилы. Река, служившая средством сообщения, благоприятствовала торговле, была кормилицей и источником существования для многих. Поселок быстро рос. В 1839 году его население составляло уже тысячу человек. В этом же году в Ганнибал перебрался на жительство и Джон Клеманс с семьей. Его старшему сыну Сэмюэлю было в то время четыре года.

Тринадцать лет прожил Сэмюэл в городке на Миссисипи, здесь прошло его детство, отсюда семнадцатилетним юношей он ушел бродить по дорогам Америки. Однажды, спустя годы, он навестил родные края. К тому времени босоногий, никогда не унывающий мальчишка Сэмюэл Клеманс из отчаянного озорника превратился в прославленного писателя, известного под псевдонимом Марк Твен. А сонный городок на великой реке стал источником тех жизненных впечатлений, которые питали его творчество. Из детских воспоминаний на страницы произве-

дений Марка Твена перейдут многие обитатели Ганнибала, послужившие прообразами героев его книг.

В наши дни город Ганнибал пользуется широкой известностью. Сюда ежегодно съезжается множество туристов, они — одна из главных статей городского дохода. Что же их сюда привлекает? Чем примечателен маленький старый городок?

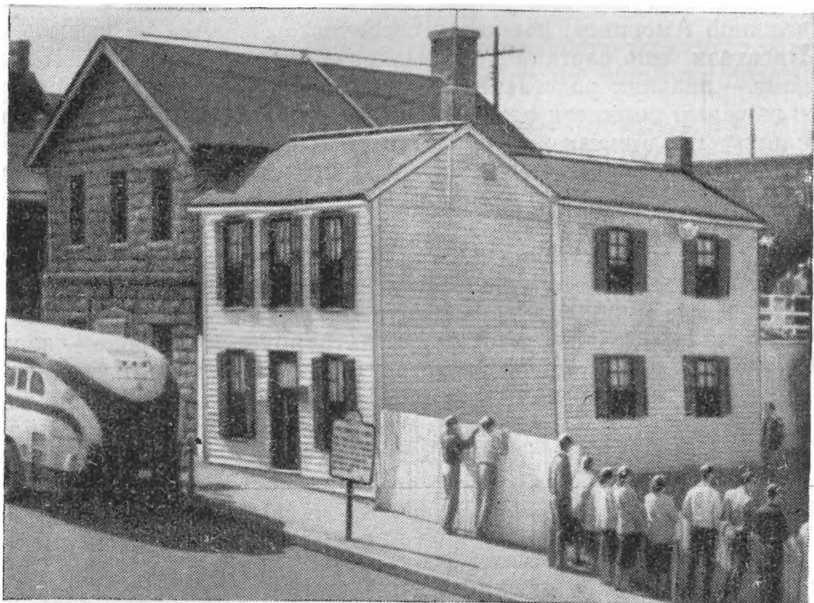
Его известность идет не от автомобильных заводов, как, скажем, известность Детройта, и не от гигантских боен и засилья гангстеров — «гордости» Чикаго. Здесь нет огромных мостов — достопримечательности Сан-Франциско, тут не увидишь ярмарки кинозвезд, как в Голливуде. Ганнибал знаменит особой славой — это родина прообраза литературного героя.

Многие юные читатели искренне верят в то, что неутомимый на выдумки и проказы Том Сойер — реальная фигура и что удивительные приключения, случившиеся с ним, происходили на самом деле. Слово и на этот раз, как неоднократно бывало в истории литературы, сотворило чудо. Герой повести Марка Твена «Приключения Тома Сойера» сошел со страниц книги в мир, зажил самостоятельной жизнью. В чем секрет такого успеха писателя? Благодаря чему веселый и озорной мальчуган Том — любимец ребят всего мира, превратился в их сознании из персонажа литературного произведения в реальную личность? Ответ на это дают слова самого писателя, сказавшего однажды, что «большинство приключений, описанных в этой книге, происходило взаправду». Том Сойер создан воображением писателя, но материалом для повести послужили подлинные события. Был городок на большой реке, был и маленький мечтатель, который хотел, подобно его любимому герою Робину Гуду, быть лучше и благороднее всех на земле. Правда, описанный в повести город Сент-Питерсберг на самом деле имеет другое название, так же, как и имя прототипа всемирно известного литературного персонажа было иным.

Захудалый Сент-Питерсберг напоминает утопавший в зелени белый городишко Ганнибал. На его улочках сорванец Сэм Клеманс воевал с соседскими ребятами, совершал «набеги» на чужие сады, слонялся по берегу реки, ловил рыбу, купался — одним словом, жил, как все подобные ему мальчишки. Больше всего он любил бывать на пристани — самом бойком месте города. Здесь останавливались сновавшие по реке пароходы, на берег спускались загорелые лоцманы, труд которых казался Саму таким романтическим. Он часами просиживал на пристани, бродил по ее брусчатке, отполированной подошвами босых ног, вслушивался в манящие удары пароходного колокола. Или на-

блюдал за печальными лицами негров, ожидавших парохода, который должен был доставить их на хлопковые плантации Юга...

К пристани выходили почти все улицы городка. На одной из них, в двух кварталах от реки, жило семейство Клемансов. Сегодня самый известный адрес в Ганнибале — Хилл-стрит, 206, — дом, где провел детские годы великий американский писатель.



Музей Марка Твена в Ганнибале.

Конечно, ныне Хилл-стрит имеет несколько другой вид, чем сто лет назад. Так же, как и старая пристань. Она давно отслужила свой век, и щели между брусчаткой заросли травой. Только сохранившееся до сих пор железное кольцо, вделанное в камни, которое некогда служило для причала судов, напоминает о минувшем. Уже взрослым побывав в родных местах, Марк Твен с грустью писал, что «все переменялось в Ганнибале», и дом на Хилл-стрит показался ему совсем небольшим.

В 1937 году, спустя двадцать семь лет после смерти писателя, здесь был открыт музей Марка Твена. К старому зданию при-

строили флигель, где разместили экспонаты — письма, фотографии, личные вещи писателя, издания его произведений на многих языках. До этого существовал так называемый временный музей, организованный к празднованию столетия со дня рождения Марка Твена, но выглядел этот музей жалко. Во время своего путешествия по Америке советские писатели И. Ильф и Е. Петров побывали в Ганнибале. Музей не произвел на них впечатления, ибо был собран, как они рассказывали в «Одноэтажной Америке», кое-как и особенного интереса не вызывал. Писатели еще застали в живых двух старушек, ютившихся в доме, — дальних родственниц семьи Клемансов. В двух тесных и пыльных комнатах первого этажа стояли кресла с вылезшими наружу пружинами и трясущиеся столбики с фотографиями.

С благоговением показали им кресло, где будто бы любила сидеть тетьа Полли, и окошко, в которое выскочил кот Питер после того, как Том Сойер дал ему касторки, и, наконец, стол, вокруг которого сидела вся семья, когда все думали, что Том утонул, а он в это время стоял рядом и подслушивал.

Атмосфера подлинности того, о чем рассказано Марком Твеном в «Томе Сойере», всячески культивируется в городе — ведь это обеспечивает приток туристов. И сегодня в доме, восстановленном в том виде, какой он имел раньше, показывают «спальню Тома Сойера», существует и знаменитый «забор Тома Сойера» — точная копия того, что когда-то стоял на этом месте, и который так ловко и быстро с помощью других ребят выкрасил хитрец Том к удивлению тети Полли. Обо всем этом можно прочитать на специальной доске, прикрепленной к «уникальному» забору.

Этот уголок на Хилл-стрит сохранился в нетронутом виде, словно время остановилось сто лет назад и ничто в мире не изменилось. Улица в этом месте выглядит сегодня патриархальным островком старой Америки. Когда-то на этой, в прошлом незападной улице, среди ватаги босых ребят будущий писатель повстречал прототипов своих героев.

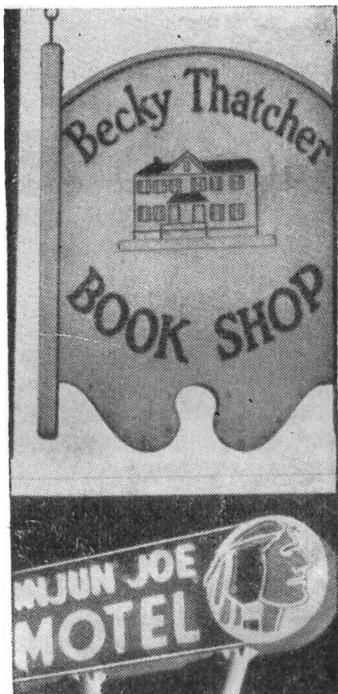
Существовал ли похожий на Тома Сойера паренек? Автор отвечал на это утвердительно. Но кто именно из ганнибальских мальчишек выведен в повести под этим именем? Такой же, как и Сэм Клеманс, заводила Уилл Боуэн, Норвал Брэйди или Джон Бриггс? Все четверо были неразлучными приятелями и неизменными участниками игр в пиратов и «благородных» разбойников, в справедливом Робина Гуда. Ни один из них в отдельности не являлся прообразом твеновского героя. Моделью для Тома послужили несколько ребят, точнее говоря, «в нем объединились

черты трех моих знакомых мальчишек», — говорил Марк Твен. Кто же были эти трое? Во-первых, сам автор, затем его ровесник и школьный товарищ Уилл Боуэн и, наконец, хорошо известный в Ганнибале мальчуган из соседнего штата Иллинойс по имени Томас Сойер Спиви — большой проказник и сорвиголова. Том Сойер — образ собирательный и является, как говорил сам писатель, «сложной архитектурной конструкцией», созданной по законам реалистической типизации. Не случайно Марк Твен назвал своего героя таким обычным и распространенным именем. По его словам, «Том Сойер» — имя «одно из самых обыкновенных — именно такое, какое шло этому мальчику даже по тому, как оно звучало».

...На противоположной стороне от музея Марка Твена на Хилл-стрит есть еще одно здание, сохранившееся от тех времен. Это дом с садом, описанный в повести, где обитало «прелестное голубоглазое существо с золотистыми волосами, заплетенными в две длинные косы» — девочка, которую в книге зовут Бекки Течер. Все было точно так и в действительности. За исключением имени. В жизни девочку звали Лаура Хокинс. Но дом, где она жила, до сих пор называют «дом Бекки Течер», а в его нижнем этаже расположена книжная лавка, на вывеске которой можно прочитать: «Книжный магазин Бекки Течер».

Это не единственный пример. Имена героев повести, как и имя ее автора, попадаются в городе буквально на каждом шагу. Реклама призывает посетить магазин Марка Твена, поселиться в отеле Марка Твена, покупать ювелирные изделия только фирмы Марка Твена. Его именем названы закусочные и кондитерские, типография, товары различных компаний. Кроме книжного магазина «Бекки Течер», есть кинотеатр «Том Сойер» и бар «Гек Финн», мотель «Индеец Джо». В городе даже нашелся «личный знакомый» Марка Твена, который будто бы видел его однажды в далеком детстве. Это не смутило владельца ресторана, оборудованного в старом колесном пароходе. И он с успехом использовал этого «очевидца» в качестве приманки к своему заведению. Словом, эксплуатируя имя великого писателя и его героев, местные дельцы наживают неплохие барыши.

В старом же Ганнибале, вспоминал Марк Твен, все были бедны. Но бедняком из бедных был «романтический бродяга» Том Блэнкеншип. Он был неграмотный, чумазный и голодный, сердце же у него было золотое. Писатель увековечил его в своей книге. Юный пария Гек Финн — «точный портрет Тома Блэнкеншипа». Он жил в полуразрушенной лачуге, голодал, ходил в лохмотьях, часто ночевал под открытым небом. Но чувствовал



Имена героев повести, как и имя ее автора, попадают в городе буквально на каждом шагу.

себя сыном свободной Миссисипи и гордо заявлял, что презирает «гнусные и душные дома».

Образу маленького оборвыша суждено было прожить трудную «жизнь» в литературе. Он оказался нежелательным в современной Америке. Особенно ненавистен для охранителей буржуазной морали стал Гек из другого произведения Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», где рассказано о его дальнейших похождениях. Эту «крамольную книгу» не раз изымали с полок библиотек, ее запрещали, реакционная критика пыталась всячески принизить ее художественное значение. Почему бедняк Гек так ненавистен капиталистической Америке? Да потому, что бездомный бродяга Гек в нравственном отношении выше многих «добропорядочных» буржуа, что он осмелился быть другом негра, что он атеист и бунтарь.

В дни литературного юбилея — семидесятилетия Гекльберри Финна, английская газета «Дейли уоркер» писала, что так же, как и герой Марка Твена, который дол-

жен был выбрать между честностью и предательством, в наши дни должны были сделать это многие американцы. «Гекльберри Финн избрал честный путь борьбы: он не предал своего товарища негра Джима, не предал американскую демократию. Он не донес на него, как того требовал «закон» и «приличия». Гекльберри Финн, — писала газета, — решил расовый вопрос так, как его должна решать демократическая Америка»...

И до сих пор герой Марка Твена — одна из одиозных фигур в американской литературе. Гека Финна и поныне все еще преследуют за то, что он якобы оказывает «опасное влияние на молодежь».

Во время разгула в США маккартизма реакционеры обрушились с нападками и на Марка Твена. Можно ли считать его

любяльным автором? — задавали вопрос молодчики из комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Газета «Нью-Йорк пост», подпевая мракобесам, заявляла, что всем известно о том, что Сэмюэл Клеманс в течение многих лет скрывался под другим именем и что государственному департаменту не потребуется много времени, чтобы принять решение, «ибо хорошо известно также, что Гекльберри Финн и Том Соьер были парочкой молодых красных». В своем «патриотическом» рвении газетчики готовы были, по-видимому, ринуться на поиски марктовеновских смутьянов и доставить их пред грозны очи сенатора Маккарти.

...Как и герой повести, мальчишка Сэм Клеманс хотел стать клоуном, мечтал совершать подвиги и никогда не обижать бедных. Во главе ватаги «властелинов рек» и «рыцарей прерий» «черный мститель испанских морей» отправлялся к заросшему густым кустарником холму, у подножия которого раскинулся городок. В прошлом эта гора, «которую видно было отовсюду», называлась холмом Холидей — по имени «владелицы единственного барского дома во всем городе». В повести место это получило название Кардиффской горы, а хозяйка дома, расположенного на вершине холма, — имя вдовы Дуглас. Здесь в зарослях Сэм и его товарищи проводили большую часть времени. Сюда на окно дома миссис Холидей по ночам устремляли свой взор капитаны пароходов — лампа в окне служила им ориентиром. В наши дни лампу заменил маяк. Он был торжественно открыт на вершине холма в столетнюю годовщину со дня рождения Марка Твена в 1935 году. Огонь для маяка был зажжен президентом Рузвельтом в Вашингтоне и доставлен в Ганнибал специальным курьером. А у подножия холма, если въезжать в город через мост имени Марка Твена, нельзя не заметить двух мальчишек, спускающихся по склону. Это Том и Гек, босые, вооруженные палками, опи о чем-то оживленно болтают — должно быть обсуждают очередное приключение, а может быть, задумывают какую-нибудь новую игру. Памятник двум литературным персонажам, героям книги, известной во всем мире, был установлен в 1926 году.

За холмом, в парке, высится еще один монумент. На берегу Миссисипи, лицом к реке, на шоссе стоит скульптура Марка Твена. Сюда считает своим долгом прийти всякий, кто приезжает в Ганнибал. Каждый стремится побывать и в «пещере Тома Соьера».

Об этом страшном месте ходило много легенд. Когда-то там будто бы скрывались разбойники, потом была станция так назы-

ваемой «подпольной дороги», по которой тайно переправляли негров с рабовладельческого Юга на Север. Скрытый под землей лабиринт, тянувшийся на много миль, называли пещерой Мак-деуэлла. В книге Марк Твен дал пещере созвучное название — «пещера Магдугала». Со временем подземный сталактитовый город закупил какой-то делец, он провел сюда электричество и до сих пор делает неплохой бизнес, собирая с доверчивых туристов мзду за вход.

Ганнибальские мальчишки хорошо знали, что шутки с лабиринтом опасны: в нем нетрудно было заблудиться кому угодно, даже летучей мыши. Юный Сэм Клеманс имел возможность сам убедиться в этом. Вместе с юной попутчицей он однажды сбился с пути, «и наша последняя свеча догорела почти дотла, когда мы завидели вдаль, за поворотом, огоньки разыскивающего нас отряда», — вспоминал позже Марк Твен. Этот подлинный случай описан в повести, как и история с «индейцем Джо», — персонажем, имевшим вполне реального прототипа в Ганнибале. Его фотография, сделанная в 1921 году, когда ему было сто лет, украшает стены музея на Хилл-стрит. «Индеец Джо» в самом деле чуть не погиб как-то в пещере. От голодной смерти его спасло лишь то, что он питался летучими мышами, водившимися там в огромном количестве. Об этом пострадавший, по словам Марка Твена, рассказывал ему лично. В книге же, признавался автор, он заморил его до смерти «единственно в интересах искусства». В действительности прототип «индейца Джо» благополучно скончался в своем родном городе и никогда ничем особенно не походил на кровожадного убийцу, описанного в повести. Это не мешает местным гидам при входе в пещеру говорить туристам: «Индеец Джо умер и похоронен как раз там, где вы сейчас стоите».

В отличие от пещеры, привлекавшей своей таинственностью, остров Джексон манил ребят тем, что здесь они могли купаться голышом, а потом загорать на солнце. Или воображать себя пиратами, питаться черепашьими яйцами и свежей рыбой. Тут можно было вести привольную жизнь и делать то, что тебе хочется. В то время этот клочок земли посередине реки был известен как остров Глескок. Книжное название «Джексон» перешло со страниц повести в жизнь и сохраняется за этим местом и поныне.

Однажды Марк Твен посетил город своего детства. Он намерен был заняться дальнейшей судьбой своих героев и «посмотреть, что за люди из них вышли».

Ганнибал сильно изменился. Изменились и друзья детства.

Некоторые из них так и прожили всю свою жизнь в городке на Миссисипи. «Большинство героев этой книги,— говорил Марк Твен,— здравствуют и посейчас». Эти слова были написаны, когда жила еще мать писателя, послужившая прообразом тети Полли. Не повезло в этом смысле только младшему брату писателя Генри, с которого списан образ Сиды,— он погиб во время катастрофы на пароходе.

Знаменитого писателя в городе его детства приветствовали старые знакомые, ставшие почетными горожанами,— Джон Бриггс (в повести Джо Гарпер) и Лаура Хокинс. С той, кто послужил прототипом Бекки Течер, писатель встретился еще раз в последние годы жизни. В письме, относящемся к этому времени, он сообщал, что к нему приезжает, чтобы повидаться с ним, его «первая любовь». Сохранилась фотография, запечатлевшая эту встречу двух пожилых людей, под ней трогательная подпись: «Том Сойер и Бекки Течер». Лаура Хокинс namного пережила Марка Твена. Она заведовала городским приютом для сирот в Ганнибале, дожила до преклонных лет и умерла сравнительно недавно — в 1928 году.

О судьбе Тома Блэнкеншипа известно, что он стал судьей в одном из поселков на севере страны. Уже в старости Марк Твен встретился и с Томасом Сойером Спиви, который был фермером. Умер он в 1938 году.

В записках Марка Твена есть строчки о том, какими он хотел изобразить своих героев в старости. После долгих странствий Том, Гек и Бекки встречаются в родном городке. Жизнь их сложилась неудачно. Все, что они любили, все, что считали прекрасным,— ничего этого уже нет...

Марку Твену не пришлось осуществить свой замысел и рассказать о последних годах жизни маленьких сорванцов из Сент-Питерсберга. Они остались в нашей памяти вечно молодыми, какими изобразил их великий американский писатель на страницах своей замечательной повести.



ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ВРОНСКОГО

Недалеко от югославского городка Алексинец, близ селения Горни Адровец, стоит часовня. Ее воздвигли в честь русского воина, погибшего в этих местах во время сербско-турецкой войны. И еще говорят, что этот русский, убитый турецкой пулей, был прототипом Вронского в романе Л. Толстого «Анна Каренина».

Об этом факте не только подробно писалось на страницах югославских газет и журналов, но и публиковались свидетельства, воспоминания и документы.

Кто же этот русский офицер?

Однажды Л. Толстой признался, что часто пишет с натуры. Было время, когда в черновиках он даже ставил настоящие фамилии тех лиц, которые являлись в той или иной мере прототипами его персонажей. Делал он это, по его собственным словам, для того, чтобы яснее представлять себе оригинал.

Известно, например, что Анна Каренина — это сплав трех подлинных женских образов: А. С. Пироговой, соседки писателя по Ясной Поляне, из ревности бросившейся под поезд; М. А. Дьяковой — история ее необычного романа была известна Толстому, и, наконец, дочери А. С. Пушкина М. А. Гартунг, которую писатель видел лишь однажды, но наружность которой глубоко запечатлелась в его памяти и послужила моделью облика Анны Карениной.

Но, признавая, что у него есть лица, списанные и не списанные с натуры, и что первые уступают обычно последним, ибо страдают односторонностью, Толстой полагал, что писать прямо с натуры — значит ввести нечто исключительное, единичное и неинтересное.

Он считал, что можно взять у прототипа главные типичные черты, но обязательно надо дополнить их характерными чертами других людей. «Нужно наблюдать много однородных людей, чтобы создать один определенный тип».

Прямых указаний на то, кто послужил прообразом Вронского, ни у Толстого, ни в воспоминаниях современников нет. Сын писателя С. Л. Толстой в статье «Об отражении жизни в «Анне Карениной» говорит о многих подлинных лицах и фактах, взятых Л. Н. Толстым из действительности. Что касается гвардейского офицера, аристократа Вронского, то автор статьи не дает аналогичного ответа. Создавая образ своего героя, «Толстой мог вспомнить гвардейских офицеров, знакомых ему по Крымской войне, — пишет С. Л. Толстой, — или тех, которых он знал во время своего пребывания в Петербурге». Возможно, что среди этих людей был и Николай Николаевич Раевский, внук про-

славленного генерала, героя 1812 года, чей подвиг Толстой описал на страницах «Войны и мира».

Потомок знаменитого военачальника детство провел за границей. Вернувшись на родину, окончил физико-математический факультет Московского университета. Его учителем был известный профессор Грановский. Служил в гвардии. Те, кто знал его близко, отзываются о нем, как об очень образованном, незаурядном человеке, честном, но слишком порывистом, совершавшем подчас самые несообразные выходки. Словом, у него был, как мы сегодня говорим, трудный характер. Но помимо того, что Раевский казался мно-



Н. Н. Раевский.

гим странным, он был к тому же и неуживчив, отовсюду бежал, ссорился и «в полном раздражении отколевывает в пустой надежде, конечно, найти обетованный уголок», — писал хорошо знавший его генерал В. А. Полторацкий.

Лейб-гусарский полк он оставил из-за какого-то недоразумения. Через некоторое время оказался в Туркестане.

По первоначальному замыслу, в этих же местах должен был появиться и герой Л. Толстого, впоследствии названный Вронским. В набросках, относящихся к разным периодам работы над романом, он фигурировал пока что под различными именами: то это приезжающий в Ташкент Гагин, то Балашов, оказывающийся в этом же городе, то Удашов.

Здесь, на окраине тогдашней России, Н. Н. Раевский думает найти достойное применение своей энергии. Ему кажется, что это и есть та обетованная земля, которую он стремится обрести. Он горячо борется за переустройство края. С завидной энергией создает плантации хлопка, риса, разбивает виноградники. Не скупясь на деньги, выписывает из-за границы семена и лозы. Он мечтает о том, что здешняя земля, благодатный климат щедро одарят человека плодами. Скоро он становится заядлым аграрием, практиком и теоретиком, часто выступает в печати со статьями по вопросам сельского хозяйства. Но не даром про него

говорили, что он нигде не может ужиться и пустить корни. Не удалось ему это и в Туркестане. И вот мы видим его в иной стороне, далеко на Западе — в Сербии.

Как только до него дошли вести о том, что генерал Черняев, знакомый Раевскому еще по Средней Азии, собирает вокруг себя русских добровольцев, чтобы сражаться на стороне сербов против турок, он тотчас отправляется в действующую армию. Это происходит летом 1876 года — года окончания действия романа Л. Толстого. Ведь и его герой Вронский после смерти Анны направляется добровольцем в Сербию.

В поезде, увозящем его в далекую страну, он признается попутчику, что жизнь для него ничего не стоит. «А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь, — это я знаю, — говорит Вронский. — Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, но постыла».

И снова пути Раевского и Вронского совпадают. Можно подумать, что Толстой следит за судьбой, а точнее — за передвижением Н. Н. Раевского. И так же, как и он, его Вронский спешит на театр военных действий. Но если Толстой и использовал Раевского как прототип Вронского, то приписал своему герою лишь некоторые его черты. Однако нельзя говорить о точной копии, особенно если иметь в виду слова писателя о том, что он стыдился бы печататься, если бы весь его труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить...

Автор «Анны Карениной» знал и других русских добровольцев, тех, кто отправился драться в Сербию. Туда, например, поехал знакомый писателя П. А. Шеншин, брат поэта А. Фета, с которым Толстого связывала многолетняя дружба.

Что же произошло дальше и как сложилась судьба Раевского на полях сражений сербско-турецкой войны?

В начале августа 1876 года Раевский добрался до долины Моравы, где шли бои. Сербский доброволец Пера Тодорович, впоследствии видный политический деятель, записал в своем дневнике 14 августа, что Раевский нагнал войска и явился в штаб в Алексинце.

«Когда я передал его визитную карточку генералу Черняеву, мне показалось, что его приезд далеко не так обрадовал генерала, как появление других русских».

Из дальнейших записей П. Тодоровича явствует, что отношения между русским штабом и Раевским были напряженными. Автор дневника объясняет это тем, что Раевский якобы был недоволен назначением тех или иных офицеров на определенные

должности. Существует и другое предположение. Его высказывает, в частности, автор одной из статей о прототипе Вронского, опубликованной в югославской печати. Русские офицеры, пишет он, знали нашу шумевшую историю Раевского. Его поведение — «авантюра» с женщиной из высшего света (она покончила с собой из-за любви к нему) и скандал, из-за которого он отчасти и уехал в действующую армию, шокировали их, и в этом, вероятно, причина натянутых отношений между молодым графом и некоторыми высшими офицерами Главного штаба.

Те, кто встречал тогда Раевского, отмечают, что он выделялся среди своих. Держался властно. Был красив, но всегда печален и задумчив, высок ростом, слегка сутулился. Одет был в походную форму сербского полковника, в головном уборе командира дивизии. Через правое плечо висела на тонком ремне черкесская сабля, принадлежавшая когда-то его деду, а на груди — два русских ордена. Скоро к ним прибавился третий — сербский Таковский крест.

Генерал Черняев в состоянии раздражения часто бывал несправедлив, правда, потом он всегда стремился загладить резкость. Людям чувствительным это было особенно тяжело. Так случилось и с Раевским. В этом смысле характерен эпизод, который приводит в своей книге «Сербско-турецкая война» Владен Джорджевич, непосредственный участник этого столкновения.

«Не успел я сесть, как дверь открылась и вошел офицер в походной форме сербского полковника. Через правое плечо висела на тонком ремне черкесская сабля, а на груди были два русских ордена.

Генерал Черняев посмотрел на него с удивлением и указал на стул:

— Откуда вы, полковник Раевский? — спросил главнокомандующий.

— С приловских высот, ваше высокопревосходительство. Я приказал всей армии отступить к Джунису!

Ложка выпала из рук Черняева.

— Да вы в своем уме?! Какое отступление, господи боже мой?

— Но, ваше высокопревосходительство, дальше держаться было невозможно, — произнес Раевский, вставая.

— Да как вы смели без особого распоряжения оставить вверенные вам позиции?

— Я дважды посылал за распоряжениями, но, не получив ответа... — начал было Раевский.

Черняев схватился за голову и заходил по приемной.

— И так поступает полковник русской армии!..

Желчь закипала в Черняеве. Он остановился перед Раевским и, жестикулируя у самого его лица, процедил сквозь зубы:

— Вы... вы... недостойны носить фамилию Раевских. Вы запятнали честь своего деда, который так славно дрался против Наполеона, вы осрамили своего брата, государева адъютанта!

Бледный как смерть, Раевский отпрянул назад, словно наступил на змею, и только произнес:

— Это неправда, Михаил Григорьевич! — схватил шапку и вышел.

Полковник Раевский собирался в ту же ночь покинуть Алексинец и сербскую армию и вернуться домой. И он мог это сделать. Русские добровольцы, вступившие в сербскую армию, не приносили никакой присяги и не признавали власти Черняева, не говоря уже о сербских властях или суде. Однако генерал в тот же вечер извинился перед полковником за нанесенную ему обиду. А на другой день на груди молодого графа появился третий орден — Таковский крест».

Награды этой он был удостоен по праву.

Многие участники войны, видевшие тридцатишестилетнего русского полковника в деле, отмечают его бесстрашие. Он не терял присутствия духа и в самые трудные моменты. Так вел он себя и 20 августа около Алексинца.

После ожесточенных боев туркам удалось переправиться через Мораву на правый берег. Передний край сербских позиций проходил по Голой горе, слабо укрепленной, с небольшим гарнизоном в двадцать тысяч человек. В решающий момент Раевский был назначен его командиром. Вскочив на коня и пожав на прощание руку генералу Черняеву, он умчался в сторону передовых позиций. Обычно мрачный и молчаливый, вспоминает один из участников этого сражения, Раевский перед боем был весел и, вопреки своей манере, чрезмерно разговорчив.

Турки в числе 60 тысяч атаковали позиции отряда Раевского на Голой горе. Сдерживая их яростный натиск, он тем самым не давал возможности обойти с фланга основные силы. Батареи Раевского вели себя героически, солдаты и офицеры проявили подлинную отвагу. В разгар боя Раевский был на одной из этих батарей, выдвинутых далеко вперед по склону виноградника. Он готовил контрудар и уже приказал трубить сигнал атаки, когда его и поразила насмерть шальная неприятельская пуля. Сохранилось донесение капитана Косты Шаматовича, командира батареи, на которой был сражен Раевский. Его тотчас отнесли в тыл на перевязочный пункт, но было уже поздно.

«Раевского как сейчас вижу,— вспоминал Джорджевич — свидетель боев под Алексинцем.— Держался властно, строго. Молодой, но весь обросший бородой и усами. Как он погиб, я не видел. Но как раз в это время турки стали теснить наших. Из нашего села двинулись беженцы. По дороге нас обогнала повозка, окруженная всадниками с непокрытыми головами. И я услышал, как наши говорили:

— Везут убитого Раевского».

На повозке, окруженной всадниками, тело отважного полковника перевезли в монастырь Св. Романа. Здесь его и похоронили. Позже останки его были перевезены на родину.

Сведения о проводах тела Раевского оставил итальянский доброволец в сербско-турецкой войне Джузеппе Брананти Бродано в своем дневнике «Гарибальдийцы на Дрине в 1876 году». «...Вчера утром,— писал он,— я присутствовал на похоронах молодого русского полковника, погибшего в бою на Мораве, за которым специально приехала мать, чтоб перевести его прах в самую Москву! Кто не знал бы, в чем дело, и кто не видел бы прямо перед собой в этой толпе страдальческое лицо несчастной женщины, возможно, нашел бы в этом зрелище удовольствие. Все напоминало подлинный праздник. От церкви до пристани толпы священников и дьяконов в многоцветных облачениях; солдаты в сотнях различных мундиров, от шинелей до полу и казацких шапок до фуражек на головах почетного эскорта, слуги в ливреях, масса городских жителей и крестьян различного возраста, из которых некоторые несли хоругви и устилали дорогу цветами, а другие шагали молча, опустив головы, в то время как третьи пели на тысячи голосов и, бог ведает на скольких языках, конечно, какие-то погребальные песнопения. Это была смесь сочувствия, торжественности, нечто странное, необыкновенное и, может быть, представляло собой истинные чувства народа по отношению к мученику за сербскую свободу».

На том месте, где был убит Раевский, воздвигли часовню. На западной ее стене и теперь еще можно разглядеть портрет человека в форме сербского полковника. Надпись на старославянском языке гласит, что здесь изображен потомок геройского рода, преданный душой родине Николай Раевский. Такой же точно портрет хранился и в одной маленькой «кафене» в городе Нише. Но это было, как говорят, до войны с фашистами.

Югославы чтят память русского патриота Н. Н. Раевского, отдавшего жизнь за освобождение братского народа. И многие считают, что на их земле закончилась история Вронского — героя романа Л. Толстого.





СЭР ДЖОН ФАЛЬСТАФ,
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Для того чтобы попасть на представление в знаменитый театр «Глобус», лондонцам в начале семнадцатого столетия нужно было отправиться за город. Здание театра, представляющее собой круглую деревянную башню, невысокую, с широким основанием, немного сужавшимся кверху, и увенчанную флагом, стояло среди лугов по ту сторону Темзы. Горожане, миновав Тауэр-бридж, оказывались за массивными воротами, среди полей, пограничных с городской чертой. Здесь тянулись огороды, пасся скот, молочницы наполняли свои ведра, лучники упражнялись в стрельбе, ткачи и красильщики вывешивали на просушку ткани.

К театру добирались по утрамбованной подошвами ног дороге — в летний зной пыльной и мягкой, словно присыпанной мукой, в дождливые дни — грязной, превращавшейся в жидкое месиво. Но ни погода, жара или холод, ни распутица не могли отвлечь лондонский люд от удовольствия посетить «Глобус», насладиться игрой своих любимцев актеров.

С утра, еще до представления, которое обычно давали днем, пестрая и шумная вереница людей тянулась к воротам театра, над которыми высилась статуя Геркулеса, держащего на плечах земной шар со словами на нем: «Весь мир лицедействует». Спозаранку в театр спешила лондонская беднота. Мелкие торговцы, ремесленники, студенты, приказчики торопились занять места поближе к сцене. Расположившись в партере, эта часть публики без стеснения болтала, закусывала, играла в кости. Чуть позже появлялись горожане побогаче. Они занимали места на галереях. К началу представления заполнялись ложи — в них мелькали дорогие наряды, тонкие кружева и пышные платья, изящные камзолы и яркие плащи. Словом, театральная аудитория того времени была вполне демократической, доступ сюда был открыт всякому: «курильщик, окутанный клубами вонючего дыма, так же свободно входит туда, как и надушенный придворный», — писал современник.

На сцене «Глобуса» начинали свою жизнь многие герои шекспировских творений: мучился сомнениями благородный Гамлет, страдал отважный Отелло, погибал кровавый Макбет; здесь любили и умирали Ромео и Джульетта, сражался король Генрих и потешал своим остроумием и фиглярством толстый и трусливый рыцарь Фальстаф. Что-что, а посмеяться лондонцы любили, особенно над проделками комиков. Не удивительно, что популярность таких, например, комических актеров, современников Шекспира, как Тарльтона, Кемпа и Армина, была поистине всенародной. Вот почему стоило на подмостках появиться Джону

Сладкому Хересу (таково одно из прозвищ Фальстафа — персонажа нескольких шекспировских исторических хроник и комедии «Виндзорские проказницы»), как театр разражался неудержимым хохотом. Сэр Джон Брюхач (еще одна из его кличек) был общим любимцем публики (честь исполнения этой роли на сцене «Глобуса» досталась актеру Томасу Попу). В толстом рыцаре лондонцы видели прежде всего шута, умеющего смеяться над другими, но и вызывающего смех и веселье у других. За всегдашней «Глобус» знали наперед его реплики, и, предвкушая веселье, нередко кто-нибудь из них под общий хохот спрашивал из зала: «Сэр Джон, не забыл зарядиться кружечкой хереса?», «Славный рыцарь, нашел ли ты наконец лекарство от карманной чахотки?», или «Сколько лет, Джек, ты не видел своих собственных колен?».

Популярность этого образа была настолько велика среди всех слоев зрителей, что даже сама королева Елизавета повелела вывести его еще в одной пьесе, изобразив Фальстафа влюбленным. После чего к славе бахвала, наделенного необыкновенной способностью извращать истину, к славе остроумца, умевшего пробуждать остроумие в других, к славе храбреца, инстинктивно ставшего трусом, прибавилась слава седебородого распутника, чей любовный пыл не остудили даже воды Темзы, куда его швырнули из корзины с грязным бельем, «как раскаленную подкову». Надо сказать, что отношения сэра Джона с женщинами были весьма сложными и, пожалуй, не всякий из поклонников этого героя мог бы в деталях воспроизвести все перипетии его любовных походов. Зато, что касается других сторон биографии сэра Джона, то наверняка нашлось бы немало зрителей «Глобуса», которые могли бы, основываясь на отдельных репликах в тексте шекспировских пьес, пересказать жизнь славного Фальстафа.

Попробуем и мы проследить его биографию, основываясь на фактах его жизни, почерпнутых в тексте произведений Шекспира.



На первый вопрос своеобразной анкеты — когда родился? — следует ответить: «В три часа пополудни». Это все, что нам известно. Точная дата рождения Фальстафа остается тайной. К этому можно лишь добавить собственное свидетельство Фальстафа, заявившего однажды своим приятелям, что появился он на свет божий «с белой головой и довольно-таки круглым животом», что, однако, скорее относится к внешнему виду нашего героя.

Если же вспомнить его слова, произнесенные в 1402 го-



Актер Стивен Кембл в роли Фальстафа. Гравюра XVIII век

ду о том, что он прожил «пятьдесят с лишком лет, а то и, богородица свидетель, почти полных шесть десятков», то, значит, он мог родиться где-то около 1348 года, когда непобедимые английские лучники короля Эдуарда III косили французских рыцарей на поле под Креси. И вполне возможно, что спустя два десятка лет во время какой-нибудь другой битвы рядом с королем стоял Фальстаф и наблюдал, как всадники один за другим падают со

своих боевых скакунов. Значит ли это, что у шекспировского героя был реальный прототип? Исследователи отвечают на этот вопрос утвердительно. Фальстаф, говорят они, начал жить гораздо раньше, чем приобрел свое театральное имя и вышел с ним на подмостки.

Будущий герой Шекспира происходил из древнего феодального рода, и не потому ли при каждом удобном случае сэр Джон любил тыкать «всем в глаза своим званием» рыцаря. Воспитание он получил, служа пажом в доме Томаса Маубрея, герцога Норфолкского. Так сообщает его друг юности судья Шеллоу. Впрочем, престарелый Шеллоу вполне мог и напутать, у него была скверная память: Норфолк в то время был еще мальчишкой, и вельможа, которому служил Фальстаф, видимо, был отец герцога, Джон Маубрей, граф Ноттингемский.

Детство будущего бога плоти и веселья было довольно безмятежным, он «только и делал, что ошипывал чужих гусей, шлялся без дела и гонял волчок». Прodelки и шалости, видимо, сходили ему с рук, ибо, по его свидетельству, он «не знал, что такое розга». Словом, маленький Фальстаф вел в те далекие дни вполне мирную жизнь. Говорят, и фигура в юности у него была совсем иная — никаких признаков будущего ожирения. Его «талия была не толще орлиной лапы», и он мог свободно «пролезть сквозь перстень с большого пальца олдермена». И только потом, с годами, печали да огорчения испортили его внешний вид: «от них человек раздувается, как пузырь». Что касается самого баронета Джона Фалстофа (Шекспир несколько изменил его фамилию, однако использовал подлинные факты, и благодаря драматургу мы можем представить жизнь этого реального человека), то он был современником Генриха V, участвовал вместе с ним во многих битвах на французской земле. Был храбрым воином, за что в 1426 году его удостоили чести называться кавалером ордена подвязки с правом на титул «сэр». К своему несчастью лишь однажды он «инстинктивно стал трусом» — бежал с поля сражения при Патэ в 1429 году, за что, по рассказу французского историка Ворэна, был лишен всех воинских чинов, а позже попал в пьесу Шекспира «Генрих VI», где изображен эпизод его позорного бегства. Случалось подобное с сэром Джоном и в других пьесах Шекспира. И как когда-то, в трудную минуту его нередко выручали ноги, причем, всех поражала прыть этого стареющего толстяка:

Фальстаф, как в смертный час, исходит потом
И удобряет землю по пути.

Но это было позже, тогда, когда Фальстаф, вступив в почтенный возраст, а вместе с тем и на путь порока и разврата, стал собутыльником озорного принца и душой шайки распущенных бездельников, штаб-квартирой которых был лондонский трактир «Кабанья голова», по свидетельству историков, принадлежавший прототипу шекспировского героя.

О молодых годах сэра Джона известно немного, но все же несколько больше, чем о последующем периоде его жизни, предшествовавшем пашей встрече с ним на страницах шекспировских хроник. Достоверно известно, например, что юность он провел весело, но не слишком респектабельно. Образование получил в Климентовом колледже, который находился на Торнбульской улице. Здесь, как мы узнаем, он был весьма заметной фигурой, выделялся среди студентов-юристов, отпетых буянов, своими подвигами и ночными похождениями. Никто из его однокашников и приятелей, ни маленький Джон Дойи из Стаффордшира, ни черный Джордж Барнс и Франсис Пикбон, ни Уилл Скуил из Котсолда — никто из них не мог потягаться с Джоном Фальстафом, слывшим самым отчаянным шалопаем среди них. «Не зевай, ребята!» — таков был их девиз, когда они ухаживали за девушками, пьянствовали или дрались. Что касается последнего, то в «ратном» деле юный Фальстаф преуспевал не меньше, чем во всем остальном. Однажды на глазах своего дружка Шеллоу он «проломил голову Скогану у ворот школы». Случилось это в тот самый день, когда сам Шеллоу, тоже, видимо, удалец не из последних, дрался «с Самсоном Стокфишером, фруктовщиком, на задворках Греевского колледжа». Веселое было тогда времечко. И верно, разве можно было скучать на Артуровых играх, которые проводились на поляне Майленд-Грин, близ Лондона. Во время этих игр, приняв имя того или иного персонажа «артуровых» романов, они состязались в фехтовании, стрельбе из лука и мушкета. Возможно, с тех пор Фальстафу и полюбились слова песенки, которую потом он так часто распевал:

Когда Артур взошел на троп...
Он славный был король...

Впрочем, скорее всего в этом сказывалась любовь Фальстафа к старой Англии, к ее героической и веселой истории, к ее зеленым лугам, о которых он будет лепетать в своем предсмертном бреде. Произойдет это, однако, не скоро. А до тех пор жирный рыцарь, представитель этой старой, уходящей средневековой Англии, совершит немало потешных подвигов. Взять хотя бы, к примеру, любовные похождения юного Фальстафа в то время,

когда он еще постигал в колледже премудрость наук. Он и его друзья не оставляли без внимания ни одну хорошенькую девушку, обитавшую по соседству. А его закадычный дружок Шеллоу откровенно признавал, что к их «услугам были всегда самые лучшие женщины».

Особенно запомнился им обоим случай, когда они вынуждены были провести «ночь на ветряной мельнице на Сент-Джорджских лугах». По всей вероятности, дружки, изрядно гульнув накануне, оказались у городских ворот, когда те были уже заперты. И двум подгулявшим лоботрясам ничего не оставалось, как заночевать на мельнице среди мешков с мукой. Отсюда они должны были хорошо слышать колокольный звон, доносившийся из города. Что произошло в ту ночь на мельнице, мы можем лишь догадываться. Но несомненно одно, что молодцы не теряли времени даром. Когда много лет спустя Шеллоу напомнил об этом приключении Фальстафу, тот признался, что не забыл этого случая и скромно согласился: «Нам приходилось слышать, как бьет полночь, мистер Шеллоу».

Что и говорить, парни умели развлечься. Хотя в старости Фальстаф и любил поболтать о том, каким добродетельным он был в юные годы, — ровно таким, «как подобает дворянину»: «божился редко, играл в кости не чаще семи раз в неделю, ходил в непотребные дома не чаще одного раза в четверть часа», словом, «жил хорошо, держался в границах». И даже иногда возвращал занятые деньги. Что касается последнего, то всю жизнь, с самых молодых лет, он был подвержен тяжкому заболеванию — карманной чахотке. Тщетно сэр Джон пускался на все хитрости в поисках лекарства от этого недуга — средства его были ничтожны, траты огромны. Займы только затягивали эту болезнь — она оказалась неизлечимой. Его карманы были вечно полны неоплаченных трактирных счетов (помимо адресов веселых заведений). Не удивительно, что пропажа дедовского медного перстня-печатки привела его в такое уныние. Ведь эту вещицу можно было сбыть за целых сорок марок! А этой суммы хватило бы, чтобы покрыть часть неизбывного его долга хозяйке трактира «Кабанья голова» миссис Куикли. Она была женщиной доброй и многое прощала сэру Джону. То ли потому, что знала его почти тридцать лет и преисполнена была по отношению к нему уважения, считая честным, верным человеком, то ли от того, что однажды сэр Джон покорил ее слабое женское сердце, пообещав жениться на ней и сделать знатной леди.

Как бы то ни было, Фальстаф извлекал из ее расположения для себя немалую пользу. С удовольствием, например, носил

купленные ею для него рубашки из чистого голландского полотна по восемь шиллингов за локоть. Но главным образом — по части гастрономической. Свою нелюбовь к физическим упражнениям он успешно возмещал пристрастием к жареным каплунам и сладкому хересу. Уж чего-чего, а зарядиться кружечкой хереса сэр Джон никогда не забывал. Делал он это не только в силу давней привычки к крепкому вину, но и вполне осознанно, ибо считал, что добрый херес ударяет в голову «и разгоняет все скопившиеся в мозгу пары глухости, мрачности и грубости, делает ум восприимчивым, живым, изобретательным, полным легких, пылких, игривых образов, которые передаются языку, от чего рождаются великолепные шутки». А если бы Фальстаф не обладал этим последним качеством, то просто-напросто не был бы Фальстафом. Но херес, как считал сэр Джон, производит и еще одно не менее важное действие — «он согревает кровь; ведь если она холодная и неподвижная, то печень становится бледной, почти белой, что всегда служит признаком малодушия и трусости». Херес же горячит кровь, «она воспаляет лицо, которое, как сигнальный огонь, призывает к оружию все силы человека», «тогда-то он и становится способен совершить подвиг. Все это от хереса». И не потому ли черту удавалось попутать храброго Фальстафа, заставив показывать пятки именно тогда, когда он перед битвой изменял своему правилу? Понятно теперь, почему в его трактирных счетах херес — напиток смелых! — занимает такое место. Столь непотребное количество вина в каждом счете вызывало возмущение принца Генриха: «Всего на полпенса хлеба при таком невероятном количестве хереса», — восклицал возмущенный принц, несмотря на свою привязанность к старому волдырю, как он его называл. Сам сэр Джон видел спасение от столь обильных возлияний только в одном: «Если меня возвеличат, я уменьшусь в объеме, потому что стану принимать слабительное, брошу пить херес и буду жить прилично, как подобает вельможе». И действительно надеялся, что это произойдет после того, как его молодой друг принц Генрих, его любимец Гарри, его Хел, взойдет на английский престол.



А пока что оба они — молодой, капризный повеса и стареющий кутила и распутник — развлекались в компании завсегда-таев «Кабаньей головы» — сообразительного Пойнса, прыщавого Бардольфа, воришки Гедсхила и прихлебателя Пето. Все это

были типичные представители лондонского дна. Каким образом Фальстаф попал в эту компанию, нам не известно. Но то, что он предпочитал вместо визитов ко двору общество людей низшего звания — несомненно. Здесь на него смотрели с почтением, там — с презрением. А кроме того, как можно заметить, он обладал естественной склонностью к жизни низов. Правда, как-то в порыве не то отчаяния, не то откровения он признал, что его сгубила дурная компания. Но это прорвалось у него лишь однажды и, можно сказать, случайно. А в общем, среди бродяг и нищих он чувствовал себя вполне в своей тарелке.

С наслаждением исполнял он и роль проводника молодого принца по закоулкам преступного мира Лондона. Частенько они и сами «грешили», отправляясь на охоту за кошельками. Грабеж на большой дороге не только приносил всей шайке средства для новых кутежей, но и служил своего рода развлечением, игрой.

Такую игру с ограблением принц, Пойнс, Фальстаф, Бардольф и Гедсхил (чье присутствие придало этой операции оттенок профессионализма) затеяли на Кентерберийской дороге летом 1402 года. Сценарий, разработанный принцем, полностью посвятившем в него лишь Пойнса, состоял из двух действий — ограбление путешественников, а затем нападение принца и Пойнса, лица которых были скрыты под масками, на своих сообщников. Несколько ударов оказалось достаточно, чтобы «храбрый как Геркулес» Фальстаф обратился в паническое бегство, бросив на поле битвы награбленную добычу. Его прыть начисто опровергла его же собственные заявления о том, что он был бы самым проворным малым во всей Европе, если бы не его брюхо. Храбрейший сэръ Джон «унес свое брюхо так проворно, с такой отменной прытью... как впору доброму бычку».

Впрочем, маневр этот не противоречил его взглядам на доблесть. «Главное достоинство храбрости, — считал он, — благоразумие». Оно не раз спасало ему жизнь, уверял Фальстаф, да и «к чему торопиться отдавать жизнь, если бог не требует ее».

«Благоразумное бегство» не помешало сэру Джону и в этот раз продемонстрировать свою способность извращать истину. Вскоре в трактире «Кабанья голова» красный от возбуждения Фальстаф хвастал о том, как он сражался добрых два часа с целой толпой противников и лишь чудом спасся. Победа досталась ему нелегко — куртка оказалась проколотой в восьми местах, штаны — в четырех, щит пробит, меч иззубрен, как ручная пила. Нет, никогда он «не дрался так яростно с тех пор, как стал мужчиной».

В тот самый момент, как Фальстаф разглагольствовал о своих мнимых победах на большой дороге, в Лондон пришла недобрая весть о том, что клан Перси во главе с Хотспером присоединился к валлийскому мятежнику Оуэну Глендауэру и восстал против законного короля. Наследник обязан был явиться ко двору. Покидая Истчип, принц Генрих не забыл своего сообщника и саботыльника. Благодаря ему Фальстаф получил место в пехоте — свидетельство того, что его военная репутация еще не погибла окончательно. Правда, принц явно не учел (либо, напротив, сделал это специально) невероятной тучности своего приятеля, которому было не под силу пройти пешком и двухсот шагов, его подагры и одышки, от которой он спасался леденцами, заполнявшими его карманы. Короче говоря, Фальстафу ничего не оставалось, как отправиться вербовать солдат для своего отряда. Операция эта оказалась удивительно успешной. С присущей ему изобретательностью, он сумел превратить набор рекрутов в весьма доходное дело, которое принесло ему триста с лишним фунтов. Его метод заключался в том, чтобы вербовать «только зажиточных хозяев, фермерских сынков.., у которых храбрости в душе с булавочную головку», а затем разрешать им откупаться от службы и ставить вместо себя разных голодных оборванцев. Таким способом Фальстаф вскоре собрал «полторы сотни одетых в лохмотья блудных сыновей» — отряд, во главе которого даже сам их командир постыдился пройти по улицам Ковентри. Тем не менее он повел их в битву при Шрусбери 21 июня 1403 года. На глазах Фальстафа его сброд живо искрошили, так что в живых осталось не более трех человек. Тогда, почувствовав неожиданный прилив храбрости, он осмелился скрестить меч с самим Дугласом. Однако, быстро обнаружив, что противник намного превосходит его силой и ловкостью, верный своей доктрине, благоразумно решил притвориться мертвым. В этом положении его и застал принц. И неожиданно для себя — человека в общем-то черствого, произнес над «толстым рыцарем» несколько теплых прощальных слов:

Ах, старый друг! Как! В этой груде мяса
Ни капли жизни? Бедный Джек, прощай!
Ты мне дороже был мужей достойных...



Фальстаф жил в период войн и политических смут, среди «железных людей», солдат и политических деятелей, занятых тяжким делом «сотворения истории». Они были заняты тем, что

спасали либо губили королевство, выигрывали битвы, побеждали мятежников. Англия пребывала в постоянном ожидании тревожных событий. Непокойным оказалось и десятилетие, следовавшее после битвы при Шрусбери — до 1413 года. В жизни же Фальстафа это десятилетие, наоборот, оказалось весьма деятельным.

Вернувшись в Лондон с полей сражения, сэра Джон на свою беду повстречался с верховным судьей, но смело отразил все упреки этого высокопоставленного лица заявлением, что веселое сумасбродство присуще весне жизни: «Вы уже старик и не понимаете, на что способны мы, молодежь...» Десница закона занесла было над ним свою карающую руку, и его арестовали, но, к счастью, ненадолго. Добиться свободы ему удалось только благодаря тому, что он искусно разыграл благородное негодование, а затем сумел воззвать к лучшим чувствам своей кредиторши и истцу миссис Куикли.

В то же лето, когда Нортумберленд и другие недовольные английские лорды подняли второй мятеж, Фальстаф вновь отправился по долам и весям Англии и снова повторил фокус с доходной вербовкой.

Пути привели его в Глостершир, где он встретил друга своей юности Шеллоу — мирового судью. Из их воспоминаний нам и стали известны некоторые подробности тех веселых дней, когда они оба учились в колледже.

Отсюда Фальстаф повел свой отряд в Йоркшир и присоединился к королевской армии в лесу Голтри. В завязавшейся вскоре битве ему удалось отличиться: он лично взял в плен «бешеного рыцаря и доблестного противника», звавшегося «Кольвелем из Долины». Тем самым была восстановлена его репутация человека действия и мужественного воина.

Сразу же после победы сэра Джон поспешил вернуться к старому другу Шеллоу. Находясь у него в гостях, Фальстаф, как никогда, был преисполнен радужных надежд. Король Генрих IV стоял на пороге могилы, и фаворит наследного принца предвкушал сладкую, беззаботную жизнь. Даже Шеллоу и тот надеялся извлечь пользу из столь ценного знакомства, ибо знал, что «друг при дворе полезней пенсов в кошельке». Не потому ли и обед, устроенный им в честь дорогого гостя, был столь великолепен. После трапезы общество удалилось в сад, чтобы «отведать прошлогодних яблок и съесть тарелочку варенья с тмином». Идиллию эту неожиданно нарушил громкий стук в дверь — зов судьбы! Она предстала в лице прапорщика Пистолля, сообщившего своему командиру, что старый король скончал-

ся. С торжеством этот забияка-солдат провозгласил: «Милейший рыцарь, ты теперь одна из самых веских персон в королевстве». На эти слова Фальстаф, считавший теперь себя не менее как «наместником Фортуны», реагировал мгновенно и весьма характерно для него: он тут же занял тысячу фунтов у судьи Шеллоу, предложив ему взамен любую должность в государстве. Затем потребовал лошадь и во весь опор помчался по лондонской дороге в столицу. Два чувства подстегивали его — то, что молодой король тоскует по нем и что отныне законы Англии ему, Фальстафу, подвластны.

В город он въехал в тот самый момент, когда герольды уже расчищали улицу и придворные служители посыпали мостовую тростником, то есть в самый что ни на есть канун коронации. Вместе с дружками Фальстаф в толпе с нетерпением ждал появления нового венценосца. Сердце его ликовало — есть же правда на земле, и на его улице настал-таки праздник. Наконец, в сопровождении свиты, появился Генрих V — в пышном наряде, величественный, надменный и официальный. Напрасно бедный Фальстаф улыбался во весь рот и то и дело отвешивал поклоны, стараясь привлечь внимание своего бывшего приятеля по кутежам. Напрасными оказались и его, впрочем довольно фамильярные, приветствия: «Храни тебя господь, король мой Хел., мой милый мальчик...» В ответ раздались холодные, бессердечные слова:

Старик, с тобой я не знаком. Покайся!..

Новоиспеченный властелин призвал его заботиться о душе, бросить обжорство. И как бы опасаясь, что старый фигляр примет его совет за продолжение их былой игры, поспешил опередить его:

Дурацкой шуткой мне не отвечай.
Не думай, что такой же я, как прежде.
Известно богу — скоро мир увидит,
Что я от прошлого навек отрекся...

Удар был, прямо скажем, сокрушительный, но Фальстаф стойко перенес его. И это несмотря на то, что вместо почестей и славы, на которые он так рассчитывал, ему предстояло проделать путь в тюрьму Флит. Но как бы мы теперь сказали, Фальстаф оказался на высоте. Блеск успеха меньше шел ему, чем то достоинство, с которым он принял эту катастрофу. «Мистер Шеллоу, я должен вам тысячу фунтов», — все, что он сказал в эту роковую для него минуту. Правда, в глубине души он еще надеялся на благородство своего бывшего приятеля Гарри

и пробормотал что-то о том, что за ним «еще пришлют сегодня же вечером». Но нет, за Фальстафом не прислали ни в этот вечер, ни в следующий. С этого дня — 9 апреля 1413 года — звезда «толстого рыцаря» закатилась навсегда. Старость наложила на него свою неизгладимую печать. Он сразу заметно как-то сдал под бременем лет: седеющая борода, опавшие икры и разбухший живот, сильный голос, короткое дыхание (следствие одышки), двойной подбородок — все это стало еще явственнее бросаться в глаза.

Однако сэр Джон не хотел сдаваться на милость времени. Дряхлеющий ухажор, не желавший покориться годам, затеял однажды интрижку в Виндзоре с провинциальными кумушками. Но, увы, стал лишь их игрушкой и был зло наказан и осмеян за свое легкомыслие.



Времена Фальстафа миновали, ушла эпоха «старой веселой Англии», эпоха рыцарства и бескорыстия. Главные роли теперь распределялись между «железными людьми», дело которых было «творить историю». «Ими правило Время,— говорит один современный английский автор.— Их воспламеняла идея Чести. Фальстаф смеялся над Честью, бросал гордый вызов беспощадности Времени. Он верил в счастье (всегда ставил в игре на печетные числа — «счастье их любит»), в простое человеческое счастье и очень надеялся умереть как честный человек. Ради чего готов был даже покаяться, если бы только одышка не мешала ему прочесть молитвы.

Из всех «железных людей» самым худшим оказался его прежний идол — Генрих V, который в 1415 году затеял войну против Франции.

Его рыцарей вели закованные в латы вельможи. А в аррьергарде маршировали наши старые знакомые — прапорщик Пистоль, капрал Ним и Бардольф, которого, впрочем, скоро повесили за ограбление церкви. Перед тем как выступить в поход, они собрались утром на улице около Истчипа. Пистоля провожала Нелль Куикли, обретшая, наконец, в нем своего повелителя. Здесь их и догнал паж Фальстафа. Он принес недобрую весть, сообщил, что его господин совсем расхворался. Это подтвердила и Куикли, которой было нелегко смотреть, как бедного рыцаря трясет ежедневная перемежающаяся лихорадка. Она тут же поспешила к больному в его комнату в «Кабаньей голове». Верная старой дружбе, за ней последовала и вся компания. К не-

счастью, пришли они слишком поздно. Их старый дружище Фальстаф, их неугомонный сэр Джон уже переселился в мир иной.

Скончался толстый рыцарь, по словам хозяйки трактира, «между двенадцатью и часом, как раз с наступлением отлива». Она была свидетельницей последних его минут. Благодаря ей известно, что, умирая, сэр Джон бормотал слабеющим языком «про какие-то зеленые луга». Зеленые луга старой, любимой Англии рисовались в его гаснущем сознании. Рассказала миссис Куикли и о том, что, холодея, Джон Сладкий Херес проклинал вино и, как утверждал паж (Куикли это отрицала), — женщин, называя их воплощениями дьяволов с мясом и костями.

Если же говорить об истинной причине смерти сэра Джона, то главное все же было не в этом. Его свело в могилу предательство друга. «Король разбил ему сердце», — воскликнула в простоте душевной Куикли. И она была права. Каковы бы ни были недостатки сэра Джона, он был способен на благородные чувства. Фальстаф умел по-настоящему любить и страдать, у него было сердце, способное разбиться.

Так в начале 1415 года умер сэр Джон Фальстаф — Джек Фальстаф для друзей, Джон для братьев и сестер и сэр Джон для всей Европы.



СЛАВА И ПОЗОР
БАРОНА МЮНЪГАУЗЕНА

Кто не знает достославного барона Мюнхгаузена! С его необыкновенными приключениями мы знакомимся еще в детстве. На всю жизнь нам запоминается образ находчивого барона, заядлого охотника и путешественника, но еще больше отчаянного враня, лгуна из лгунов, фантазера из фантазеров, которому едва ли найдется равный в мировой литературе. Это подлинный отец лжи. Но не потому, что не было того, кто мог бы его «переврать». Его ложь — это не ложь Хлестакова, у которого в мыслях легкость необыкновенная, это не бахвальство шекспировского Фальстафа, фонвизинского Вральмана, это не порожденные спесью мещанина выдумки Тартарена или небылицы остроумца француза барона Крака — героя книги Коллена Д'Арлевиля, созданного под влиянием приключений немецкого барона, и, наконец, это не необузданное хвастовство шутника Дейва Крокета — самого известного персонажа американского фольклора, у которого, впрочем, был вполне реальный прототип.

Все они, можно сказать, меньшие братья Мюнхгаузена, и все они «вышли из рукава его камзола».

Мюнхгаузен лжет по врожденной привычке, лжет самозабвенно, сам искренне веруя в свои рассказы. Недаром у него через весь герб, на котором Густав Доре, великолепный иллюстратор мюнхгаузениады, изобразил топорик, уток, колесо и бутылку, красуется девиз, написанный, как принято в геральдике, по-латыни: «Mendace veritas» — «Во лжи истина». Говорят, что самая опасная ложь та, в которую автор сам искренне верит. У медиков даже существует такое определение, как «Синдром Мюнхгаузена» — склонность к патологической лживости. Но барон Мюнхгаузен превосходит своих литературных собратьев не столько тем, что он возвеличивает ложь, а, напротив, тем, что мастерски разоблачает этот порок. Своими рассказами о путешествиях, походах и забавных приключениях барон обличает искусство лжи, выступает как бы ее карателем. Автор небольшой книжки, появившейся впервые почти 200 лет назад в букинистических лавках Лондона, немец Рудольф Эрих Распе именно так и определял морально-воспитательное значение своей сатирической пародии на враней и хвастунов.

С тех пор имя героя этой книжки стало давно уже нарицательным. «Субъект этот — настоящий Мюнхгаузен по лживости», — сказал однажды Карл Маркс об одном хвастливом буржуазном литераторе. И сегодня нередко мы говорим: «Ты настоящий Мюнхгаузен», когда видим, что фантазия собеседника слишком разыгралась и вышла из берегов реальности.

Но, вспоминая имя героя всемирно известной веселой книжки, мало кто знает, что Распе вывел на страницах своей сатиры реальную личность. В том, что существовал подлинный, во плоти и крови, живой прототип славного барона Мюнхгаузена, легко убедиться, посетив небольшой уютный городок Боденвердер.



Река Везер, изогнувшись около Боденвердера словно цифра «три», медленно несет свои воды мимо кудрявых склонов. По берегам на вершинах зеленых гор, как часовые, высятся старинные рыцарские замки — неприступные когда-то оплоты крепостносцев.

Если подняться на башню Бисмарка, руины которой громоздятся на горе Экберг, и обратить взор к югу вверх по течению реки, вы увидите, как на ладони, утопающий в зелени городок. Это и есть Боденвердер, возникший в XIII веке на месте маленькой деревеньки. С башни Бисмарка легко можно разглядеть главную улицу городка, пристань, мост и железнодорожную станцию, здание водной лечебницы и кирху старинного монастыря Кемнаде, построенного тысячу лет назад.

Места эти издавна славилась охотой. Еще двести лет назад в окрестных лесах часто раздавались голоса охотничьих рожков. В перелесках и зарослях, где, по преданию, король Генрих, прозванный Птицеловом, расставлял когда-то свои силки, проносились своры борзых, скакали всадники, размахивая арапниками и оглашая чащу гиканьем и криками.

Самым заядлым из местных охотников был тогда владелец старинного поместья в Боденвердере. Целые дни проводил он в седле, гоняясь за дичью. А по вечерам, после удачной охоты, у него собирались друзья, соседи и знакомые, чтобы распить стаканчик вина, поболтать, а главное — послушать владельца поместья, его рассказы об удивительных приключениях, случившихся с ним на охоте и во время путешествий.

Обычно хозяин приглашал гостей в павильон, построенный им в 1763 году на склоне в саду, усаживался в кресло, раскуривал пенковую трубку и, прихлебывая из бокала пунш, который не забывал ему подливать стоявший рядом слуга, начинал рассказывать. Это был подлинный мастер импровизации. По мере того как он воодушевлялся собственным повествованием, дым из трубки струился все гуще, лицо преображалось, руки становились более беспокойными, и маленький паричок начинал при-

плясывать на его голове то ли от сотрясений, вызванных жестикуляцией, то ли от того, что, увлекаясь, рассказчик непрестанно почесывал в затылке. Постепенно повествование его покидало берега реальности и челн воображения устремлялся в море безбрежной фантазии. Правда незаметно переходила в ложь, истинное перемешивалось с вымыслом. Однако природная наблюдательность, меткие характеристики, живой юмор и дар красноречия увлекали слушателей. Иные внимали рассказням, развесив уши. Другие, те, кто был менее доверчив, посмеиваясь в душе над хвастовством охотника, отдавали должное искусству рассказчика барона Мюнхгаузена, ибо это был он собственной персоной. Но не всемирно известный литературный герой, а такой, каким он предстает перед нами в воспоминаниях современников. Иероним Карл Фридрих Мюнхгаузен, послуживший лишь прототипом персонажа прославленной книги.

За два столетия в Боденвердере мало что изменилось. Великий гример — Время — едва прикоснулся к городу своей рукой, повсюду приметы старины, осколки былого. Если про Веймар говорят, что это город «домов» — здесь дома Гете и Шиллера, писателя Гердера, художника Кранаха, композитора Листа, поэтов Ницше и Виланда, то Боденвердер — город одного «дома». Сегодня главная его достопримечательность — усадьба, где жил знаменитый барон Мюнхгаузен. В любом справочнике Боденвердер так и обозначен, как «родина Мюнхгаузена», а на туристских проспектах рядом с городским гербом неизменно красуется летящий на ядре приветливо улыбающийся барон — символ города, его рекламная вывеска, приманка для туристов.

В старинном доме, окруженном тенистым вековым парком, сейчас музей Мюнхгаузена. Около здания памятник-фонтан: Мюнхгаузен сидит на лошади, заднюю часть которой, как вы помните, отсекло во время жаркого боя: «Поэтому вода вытекала сзади по мере того, как она поглощалась спереди, без всякой пользы для коня и не утоляя его жажды». До наших дней сохранился и павильон Мюнхгаузена, где он имел обыкновение за бутылкой вина рассказывать свои истории. Немного на свете таких уголков — музей в честь литературного героя! Впрочем, это не совсем точно. Музей этот особый, можно сказать, специфический. Он посвящен прототипу героя книги — подлинному Мюнхгаузену, приобретшему, однако, известность лишь благодаря своему литературному тезке.

Внутри дома старинная мебель, стулья с ножками, вогнутыми, как лапки таксы, подвешенные на цепях, огромные из

олених рогов люстры. Всюду охотничьи трофеи барона, доспехи и мечи времен крестоносцев. Это оружие предков барона — потомка воинственного рыцаря Гейно, участника походов в Палестину в начале XIII века под знаменами германского императора Фридриха II. Стены разрисованы эпизодами из жизни Мюнхгаузена. Огромная роспись: Мюнхгаузен со шпагой в руке несетя на своем горячем скакуне в атаку во главе отряда конников. Рядом — эпизод охоты на медведя: бесстрашный барон один на один с расвирепевшим зверем; Мюнхгаузен в форме кирасира и даты его жизни: 1720—1797. Повсюду книги. Заядлый охотник барон был не менее страстным книголюбом. Его эскибрис, выполненный с большим мастерством, хорошо известен коллекционерам книжных знаков.

На одной из стен — изображение фамильного герба Мюнхгаузенов. Конечно, он ничем не походит на герб литературного Мюнхгаузена, придуманный Густавом Доре, а изображает путника с фонарем и посохом в руке, как бы отправившегося на поиски истины. Хранятся в этой комнате и подлинные вещи барона. Особенно ценные среди этих реликвий (они лежат в стеклянном шкафу): пенковая трубка — неизменная спутница вдохновений барона, его походный сундучок и пушечное ядро. Для маловеров оно, видимо, должно служить «вещественным доказательством» правдивости рассказа фантазера барона о том, как верхом на ядре он вернулся целым и невредимым из «воздушной» разведки. Здесь же можно увидеть офицерскую сумку, пороховницы и даже пистолет, возможно, именно тот, как полагают доверчивые посетители музея, из которого находчивый барон выстрелил в педоуздок своей лошади, привязанной к колокольне. И таким образом благополучно вернул себе коня, чтобы продолжать путешествие в Россию. Что касается последнего факта, то это истинная правда. Мюнхгаузен действительно совершил поездку в Россию, прожил здесь много лет, сражался на стороне русских против турок и шведов и был отмечен наградами за проявленную храбрость. Эта сторона биографии барона представляет особый интерес.

Конечно, в Санкт-Петербург Мюнхгаузен въехал отнюдь не бешеным галопом и вовсе не в санях, запряженных волком. К тому же это случилось не зимой, а в начале лета 1733 года. Юный барон — ему минуло тогда лишь тринадцать лет — прибыл в столицу России в свите столь же юного герцога Антона Ульриха Брауншвейгского. Произошло это после того, как императрица Анна Иоанновна избрала герцога женихом для своей племянницы принцессы Анны, царствование которой на

русском престоле впоследствии оказалось столь кратковременным.

Мюнхгаузен состоял пажом при Антоне Ульрихе, почти совсем еще мальчишке, не отличавшемся ни внешностью, ни умом, про которого русский фельдмаршал Минних (кстати сказать, упоминаемый в книжке Распе) говорил, что не знает «рыба он или мясо». Судьба его, как и его супруги, будет печальной. Пережив жену и сына Иоанна, наследника русского престола, задушенного в Шлиссельбургской крепости в 1764 году, он умрет десять лет спустя в заточении слепым, измученным, уставшим от жизни стариком. Но тогда, в первые дни приезда в чужую страну, будущее представлялось ему не таким мрачным. Не успел этот отпрыск римских кесарей прибыть в Россию, как тотчас же ее величество издает указ о переименовании бывшего Ярославского драгунского полка в Брауншвейгский кирасирский. Анна Иоанновна, как известно, благоволила больше ко всему иноземному, чем к русскому. Антон Ульрих назначается шефом этого соединения. Причем, при комплектовании сего полка отныне «дозволено было принимать в оный курляндцев и иноземцев, годных к службе, кои изъявляли на то свое желание».

Надел на себя мундир этого полка и молодой Мюнхгаузен. Теперь он щеголял по Петербургу в лосиных колетах и перчатках, в красном камзоле и таком же красном плаще, с подбоем из синей байки. На шее, прикрытой воротничком василькового цвета, красовался кожаный галстук, в косу парика вплетена черная муаровая лента. На ботфортах позвякивали шпоры, на боку брэнчала шпага, патронная лядунка из черной кожи с медными овальными бляхами и вензелем императрицы. Для боевого костюма полагалась еще вороненая железная кираса, одеваемая вроде панциря на грудь. Мундир этот, подобно пропуску, дал возможность Мюнхгаузену проникнуть в высший свет. Это было тем более кстати, что юного любознательного немца интересовали различные стороны жизни «изумительной столицы России» того времени: образ правления, искусство, науки. Вскоре он оказывается в курсе придворных интриг, становится участником веселых приключений праздной молодежи. Не одну ночь провел барон под звон полных бокалов за игорным карточным столом, не раз участвовал в веселых холостяцких пирушках. Но обо всем этом барон не будет распространяться впоследствии. И не столько из-за скромности, сколько из-за того, что его занимали в то время дела «более важные и благородные». Больше всего его интересовали лошади и собаки, ли-

сицы, волки и медведи, которых в России, по его словам, такое изобилие, что ей может позавидовать любая другая страна на земном шаре. Ну и, конечно, еще дела рыцарские, славные подвиги, «которые дворянину более к лицу, чем крохи затхлой латыни и греческой премудрости».

Понюхать пороха ему пришлось довольно рано. Семнадцатилетним юнцом в чине корнета он в 1737 году отправляется вместе с русской армией в поход против турок. Участвует в штурме Очакова — по тому времени грозной, почти неприступной крепости. Взять ее было нелегко. В день решающего штурма под Антоном Ульрихом, рядом с которым находился и Мюнхгаузен, убило лошадь, один из приближенных герцога получил тяжелое ранение, был убит паж, другой — ранен. Наконец, на третий день приступа турки выбросили белый флаг. «Нет примера, чтобы столь сильная крепость с достаточным гарнизоном сдалась в столь короткий срок», — было записано в журнале кампании. Вскоре, однако, она закончилась. Вместе с полком Мюнхгаузен попадает в Ригу. И здесь становится свидетелем и участником еще одного события.

Вьюжным февральским днем 1744 года цербская принцесса Софья и ее мать подъезжали к Риге. Зима была холодная, но бесснежная, поэтому ехали в колесной кибитке. В Риге пятнадцатилетняя принцесса, путешествовавшая до этого под маской графини Рейнбек, должна была пересест в удобную карету и, получив эскорт, следовать дальше в Россию, где через несколько лет она взойдет на престол под именем Екатерины II.

Когда кибитка с высокой гостью переехала по льду Двину, из крепости грянул пушечный залп. Будущую императрицу на границе России встречали пышно и торжественно — звоном литавр и боем барабанов. Гоффурьеры, кирасиры и почетный караул приветствовали ее. Салютовал ей и начальник караула барон Мюнхгаузен.

А еще через несколько лет, в 1750 году, Мюнхгаузен получает чин ротмистра, в патенте на который будет записано много лестных слов о его военных заслугах. Но именно в этот момент наш герой затоскует по родному Боденвердеру. А если учесть, что незадолго до этого барон женился на дочери судьи Якобине фон Дуттен, то особенно понятно его стремление домой к семейному очагу. Не долго думая, он выходит в отставку и покидает Россию.

И вот он уже в родовом поместье на берегу тихого Везера. Столь же тихо и безмятежно отныне течет его жизнь. Бывший

кирасир занялся сельским хозяйством, управлял имением и предавался своей страсти — охоте, благо окрестные леса были так богаты тогда разной живностью. А по вечерам рассказывал полные безобидного хвастовства и выдумок истории о своих приключениях в России.

Походил ли в этом подлинный барон Мюнхгаузен на литературного? Если обратиться к свидетельствам современников, то мы увидим, что барон не прочь был прихвастнуть, любил поражать слушателей необычными рассказами о своих охотничьих и военных подвигах. Короче говоря, как и герой известной басни Крылова, наш барон «из дальних странствий возвратясь», частенько хвастал «о том, где он бывал, и к былям небылиц без счета прильчал».

Однако сохранившиеся свидетельства говорят также и о том, что барон Мюнхгаузен был далеко не заурядным рассказчиком, подлинным мастером импровизации. В знакомом нам павильоне, окруженный гостями, слугами и любимыми собаками, призывая верить совести честного охотника, барон начинал рассказывать...

Однажды майским вечером 1773 года у барона, как обычно, собралась компания друзей и приезжих. Хозяин, только что вернувшийся с удачной охоты, был в прекрасном расположении духа, история одна занимательнее другой так и лились из его уст.

Среди слушателей находился гость в красном мундире — судя по костюму, приближенный одного из бесчисленных в то время немецких князьков. Это был тридцатилетний Рудольф Эрих Распе, служащий при дворе Фридриха Второго, ландграфа Гессен-Кассельского. Или, как он официально представлялся, княжеский советник, хранитель древностей и заместитель-библиотекарь, профессор античности в кассельском колледже Карла Великого. Выполняя задание своего ландграфа, Распе совершал поездки по монастырям, отыскивая манускрипты и памятники старины. Это и привело его в Боденвердер, неподалеку от которого был расположен древний монастырь Кемнадэ.

В этот вечер встретились два человека, имена которых ныне стоят рядом: Распе и Мюнхгаузен.



Десятки имен немецких писателей XVIII столетия смотрят на нас с книжных полок. Среди них Распе мало приметен,



Иероним Карл Фридрих Мюнхгаузен.

он как бы притаился в тени гениев своей эпохи, и слабый огонек его известности скорее тлеет и дымится, чем горит в полную силу.

Плодовитость его как литератора была невелика. Все, что им



Рудольф Эрих Распе.

написано, включая прозу, стихи, пьесу, статьи по искусству, научные работы,— все это сегодня предано забвению. И только одна небольшая книжка — плод его таланта сатирика, — созданная между делом, как бы шутя и, возможно, лишь ради

заработка, пережила века и поныне поддерживает пламя его известности.

Распе — человек одной книги. Его имя в нашем сознании связано исключительно с одним произведением — «Приключения барона Мюнхгаузена». Но если имя Распе благодаря этой книге не забыто, то наши знания о нем как о человеке, о его жизни весьма скудны. Его облик растворился в водах времени, утратил четкие контуры, расплылся. Молчание будет ответом всякому, кто проявит интерес к его жизни, к тому, при каких обстоятельствах была написана одна из самых веселых в мире книг. А знать это важно, ибо, как говорил Гёте, если вы хотите постичь произведение искусства, мало прочитать его, надо знать, как оно было создано.

Рудольф Эрих Распе родился в Ганновере в 1737 году, в том самом, когда открылся Геттингенский университет. Будущий писатель появился на свет в обедневшей семье ганноверского чиновника, где о былом величии предков напоминали лишь фамильные предания. Еще молодым Распе понял: чем тешить свою родовую спесь и кичиться происхождением (один из его предков был маркграфом Тюрингии), лучше рассчитывать на собственные силы.

В восемнадцать лет он переступает порог своего ровесника Геттингенского университета — «бессмертного создания» первого его куратора Герлаха Адольфа фон Мюнхгаузена, близкого родственника боденвердерского барона.

В сером старчески умном Геттингене, знаменитом своими колбасами, Распе задержался недолго. Через год он покидает его и направляется в Лейпциг, город с высокими, красивыми и однообразными домами, производившими на Гёте особое впечатление своими размерами; это был торговый центр, уже тогда славившийся ярмарками, город, где одних книжных магазинов насчитывалось более двадцати. Здешний университет — старейший в Европе (основан в 1409 году), известен был не только своей бесплатной столовой на триста человек (что и говорить — вещь редкой в ту пору), но прежде всего своими преподавателями и тем кругом знаний, который он давал.

В его аудиториях Распе постигает сущность прекрасного, изучает античность и археологию. Увлекается геологией — наукой о богатствах земли, которая, он надеялся, раскроет перед ним свои сокровища. Страсть эта, к его досаде, оставалась неразделенной, ибо науку он помышлял приспособить своим целям, и не удивительно, что никогда по-настоящему не пользовался ее «взаимностью». Внешность его нисколько не соот-

ветствовала традиционному представлению об усидчивом, педантичном и лишенном юмора немецком ученом. Напротив, это был живой, веселый и очень подвижный человек, умевший по достоинству оценить красное словцо, любивший и сам пошутить, а иногда и зло посмеяться над кем-либо. Говорят, характер можно определить по почерку. Характер Распе ни в чем так не проявлялся, как в походке — тоже своего рода «почерке» человека. Современники прозвали Распе «стремительным» не только потому, что такой была его походка и так порывисты движения, словно он то и дело подвергался воздействию налетавшего на него с разных сторон ветра. Он и внутренне был чрезмерно импульсивен, воображение постоянно рождало в его голове новые замыслы и планы, которые он, не задумываясь, бросался осуществлять. Этим объясняется и его разбросанность, многосторонние интересы, стремление к различным знаниям. И не потому ли ему не сиделось на месте и переменчивые ветры носили его парус по городам и весям Германии, карта которой в ту пору напоминала лоскутное одеяло из трехсот мелких самостоятельных княжеств и графств.

Из Лейпцига, где Распе провел три года, почтовая карета мчит его снова в Геттинген. Получив диплом магистра, он возвращается в родной Ганновер — тогда английское владение — и в 1760 году поступает в Королевскую библиотеку. Зарывшись в книги, целыми днями просиживает в ее залах, читает все, что поступает из Лондона и Парижа, Амстердама и Лейпцига. Увлекается наукой и философией, но особенно — поэзией, Гомером, следит за английской литературой и первым в Германии обращает внимание на песни Оссиана — гениальную мистификацию Макферсона, переводит баллады Перси. Он вновь углубляется «в подземное эллинизмо», познает толк в античных резных камнях-геммах и монетах, совершенствует свои знания по архитектуре и искусству, продолжает занятия геологией и горным делом. Не забывает он обзаводиться и полезными знакомствами, переписывается со многими выдающимися людьми своей эпохи: известным археологом Винкельманом, которого считает своим учителем, с уже знаменитым тогда Лессингом, берлинским книгоиздателем Ф. Николаи, философом Якоби, с Гердером, чьи взгляды на народное искусство окажут на него, как и на Гёте, столь большое влияние и, наконец, с американцем Б. Франклином, ученым и видным политическим деятелем.

Семь лет проведет Распе в стенах библиотеки. За это время имя его станет известно в кругах ученых и литераторов, будут

опубликованы его первые произведения — поэма «Весенние мысли», одноактная комедия «Пропавшая крестьянка», роман «Гермин и Гунильда, история из рыцарских времен, случившаяся в Шеферберге между Аделепсеном и Усларом, сопровождаемая прологом о временах рыцарства в виде аллегорий».



В 1766 году открывается вакансия хранителя библиотеки и профессора в кассельском колледже Карла Великого. Поначалу место предлагают Лессингу, но тот отказывается, несмотря на то, что должен получать на сто талеров больше. Тогда в Касселе вспоминают о подающем надежды молодом ганноверском ученом и литераторе Распе. Ландграф, предлагая ему пост при своем дворе, обращается к нему с письмом, начинающимся словами: «Наш верный и любимый Р. Э. Распе...» Конечно, есть в этом на первый взгляд заманчивом предложении и оборотная сторона. Служить меценатствующему князьку — значит поставить свою карьеру ученого в прямую зависимость от произвола деспота, постоянно подвергаться мелкой тирании. Горький кусок хлеба! Но разве он один избирает такой путь? Лессинг и Гердер, и многие другие — разве они, несмотря на то, что понимали, как рискованно сближаться с «просвещенными монархами», не шли на это, чтобы обрести условия и возможность более или менее спокойно заниматься любимым делом, не думая о хлебе насущном. «Не все ль равно что двор, что ад! Там греется много славных ребят!» — распевала в то время молодежь. Были, разумеется, и такие, кто, помня о печальных примерах жизни при дворе и службы у владетельных особ своих собратьев литераторов, предпочитали бедствовать, голодать и умирать, как скажет Гейне, «в нищете в качестве бедных геттингенских докторов».

«Верный и любимый» не хочет умирать в нищете. Он решает испытать судьбу — слишком заманчиво предложение: семьсот талеров не валяются на дороге! И летом следующего года Распе сначала на почтовых, а затем по судоходной Фульде добирается до Касселя.

В середине XVIII века это был уже один из красивейших городов Германии. Самолюбивый Фридрих Второй стремился во всем подражать европейским монархам. Не считаясь с затратами, впадая в долги и обирая свой народ, он украшал город, строил дворцы и разбивал парки, соорудил водяной каскад, в миниатюре повторяющий фонтаны Версаля. Двор содержится

на широкую ногу: свой архитектор, медик, придворные профессор и повара, своя актерская труппа, свой хранитель библиотеки и коллекции древностей — гордости ландграфа, которая, однако, находится в беспорядке. И первая обязанность нового хранителя, помимо чтения лекций в колледже по истории, искусствоведению, нумизматике, геральдике и другим наукам, состоит в том, чтобы привести в порядок эту сокровищницу, составить опись предметов. Энергичный Распе принимается за дело. Коллекция насчитывает 15 тысяч ценных предметов, из них семь тысяч серебряных и около шестисот золотых, он лично несет ответственность за их сохранность. Опись этого собрания древностей, послужившего в будущем основой кассельского музея, занимает более десяти томов.

Кроме этой кропотливой работы, Распе публикует статьи о методах добычи белого мрамора, о вулканическом происхождении базальта, пишет о пользе и употреблении резных камней, печатает опыт древнейшей и естественной истории Гессена, изданный затем в Англии, и другие труды. И вскоре к званиям, которые имел при дворе ландграфа, он с гордостью может добавить звание члена Лондонского Королевского общества, члена Нидерландского общества наук в Гарлеме, а также — члена Германского и исторического институтов в Геттингене, почетного члена Марбургского литературного общества и, наконец, звания секретаря Нового кассельского общества сельского хозяйства и прикладных наук. В голове тайного советника Распе, ибо он теперь повышен в должности при дворе, роятся тщеславные замыслы, он полон надежд...



В этот, казалось бы, безоблачный час своей жизни, когда друзья поздравляют его с успехом и желают новых удач, он, не подозревая, сам готовит свое будущее падение. С непростительным легкомыслием Распе делает долги, не в состоянии их покрыть — погрязает в новых, надеясь потом как-нибудь выпутаться. Между тем, ландграф все больше доверяет ему и в подтверждение этого не раз посылает своим эмиссаром с секретными дипломатическими поручениями. К таланту искусствоведа и археолога, литератора и геолога прибавляется талант дипломата.

В Касселе всячески стремятся поощрять его на этом поприще и предлагают пост посла в Венеции, что пришлось ему по душе: он давно мечтает побывать в Италии. А кроме того,

отъезд на время избавит его от преследований кредиторов, которые становятся все настойчивее. Повинуясь первому порыву, он соглашается. Только потом Распе понимает, что назначение это преследует неблагоприятные цели: его молодая и красивая жена не должна ехать с ним, она остается при дворе ландграфа...

В этот момент с новой силой вспыхивают слухи о его некредитоспособности, и он чувствует, как долговая петля затягивается все туже. Однако по его внешнему виду нельзя догадаться о том, что творится у него на сердце, он же близок к отчаянию — здание благополучия, возведенное им с таким усердием и тщанием, рушилось.

В октябре 1774 года посланник Распе трогается в путь. Но вместо Венеции направляется по берлинской дороге. На первой же остановке к нему присоединяется жена с детьми. Это уже похоже на настоящее бегство. Трудно сказать, предвидел ли он последствия своего поступка. Скорее всего нет, и, видимо, действовал по первому побуждению.

Прибыв в Берлин, Распе еще пытается спасти положение, он мечется в надежде раздобыть денег и заткнуть рты кредиторам, которые, узнав о его отъезде, подняли шум. К тому же поползли слухи о том, что профессор Распе, покинув Кассель, захватил с собой и часть коллекции ландграфа — геммы и монеты, а вырученные от их продажи деньги намерен вложить в добычу фарфоровой глины. Один из друзей Распе свидетельствует, что действительно видел тогда у него эти злополучные монеты, геммы и медали.

В Касселе расследуют все обстоятельства дела, и, убедившись, что недостача в коллекции налицо, приказывают Распе немедленно явиться для отчета. Испугавшись, он возвращается, надеясь, «что лучший из принцев» окажется и самым снисходительным из них. Эту его иллюзию очень скоро опровергают события. Распе забыл слова своего современника поэта, музыканта и журналиста Шубарта, предостерегавшего братьев-писателей не задевать венценосцев, ибо их короны насыщены электричеством и мечут молнии, стоит только к ним прикоснуться. Прикосновение Распе было подобно короткому замыканию — он осмелился нанести материальный ущерб своему князю. Ему предлагают возместить убытки, которые исчисляются по некоторым данным в 4—5 тысяч талеров, но одновременно заявляют, что не могут гарантировать ему безопасности. Что это означало — для него было ясно. На рассвете следующего дня по улицам Касселя проскакал всадник, закутанный в плащ, — Распе покидает город.

Вслед ему полиция рассылает оповещение во все земли Северной Германии с просьбой об аресте исчезнувшего Распе: «Бывшего тайного советника, находившегося на гессенской службе, среднего роста, лицо скорее длинное, чем круглое, глаза небольшие, нос довольно крупный, с горбинкой, острый, под коротким париком рыжие волосы, носит красный мундир с золотым кантом, походка быстрая». Эти несколько строк рисуют нам его внешность, словесное описание которой тем более для нас ценно, что сохранилось очень мало изображений Распе. Одно из них — миниатюра английского художника Тасси, наиболее, пожалуй, верно передает его облик, совпадающий с описанием его в оповещении полиции Касселя.

Четыре дня спустя, 19 ноября 1775 года, Распе арестовывают в Клаустхалле, где он скрывается, и ему вновь приходится возвращаться в Кассель, только теперь уже в сопровождении полицейского чиновника.

Что ожидало его? Позор и презрение? Тюрма? И то и другое — Распе не сомневается. И все же в глубине души он еще надеется на прощение, на милость венценосца; таков был Распе — стяг надежды неизменно реял на мачте его корабля.

По пути в Кассель Распе вместе с сопровождающим останавливается на ночлег в дорожной гостинице. За ужином несчастный профессор рассказывает полицейскому свою печальную историю. И тут происходит неожиданное. Исповедь беглого ученого производит впечатление, полицейский молча подходит к окну в сад и, распахнув его, покидает комнату. Распе прекрасно понимает намек, и, оправдывая свое прозвище «стремительный», мгновенно исчезает в темноте...

На этот раз, как русло потока, теряющегося в пустыне, он пропадает, не оставив на своем пути никаких следов, кроме польской старинной монеты достоинством в 70 дукатов — чудесного образца из коллекции ландграфа, которую позднее обнаружит полиция у гамбургского ростовщика.



Раньше Распе часто признавался в своей симпатии к Англии, поэтому не удивительно, что вскоре он объявился на британской земле.

Первое время ему особенно было трудно. Он кормится тем, что переводит на английский язык дотоле неизвестных здесь немецких авторов, в частности, драму Лессинга «Натан Муд-

рый», появившуюся уже после его бегства. Видимо, у Распе сохранились связи с континентом, ибо только от друзей он мог получать литературные новинки для перевода.

Приблизительно в то же время у него на родине, в 1781 году, в берлинском юмористическом альманахе «Путеводитель для веселых людей» появляются шестнадцать рассказов-анекдотов под общим названием «Истории М-х-з-на». «Возле Г-вера,— говорилось в предисловии к ним,— живет весьма остроумный господин М-х-з-н, пустивший в оборот особый род замысловатых историй, авторство которых приписывается ему».

Через два года, в том же журнале были опубликованы «Еще две небылицы М.». Кто был их автором? Сам барон Мюнхгаузен? Едва ли, если учесть, как он потом реагировал на то, что стал всеобщим посмешищем. Тогда кто же сочинил эти забавные истории, высмеяв в них спесивых немецких юнкеров-помещиков?..

...Лондонский книгоиздатель М. Смит осенью 1785 года был доволен своими делами. Небольшую книжку ценой в один шиллинг «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в Россию» расхватили в один день. Ее автор, пожелавший для читателей остаться неизвестным, этот пройдоха немец Распе, не обманул его надежд. И вскоре выходит дополненное издание с предисловием анонимного автора. В нем Распе утверждает, что книга обязана своим существованием подлинному барону Мюнхгаузену, принадлежащему к одному из первых дворянских родов Германии, человеку «оригинального склада мыслей». Своими рассказами о путешествиях, походах и забавных приключениях барон обличает искусство лжи и дает каждому, кто попадает в компанию завятых хвастунов, в руки средство, которым он мог бы воспользоваться при любом подходящем случае. «А такой случай,— говорит Распе,— всегда может представиться, как только кто-нибудь, под маской правды, с самым серьезным видом начнет преподносить небылицы и, рискуя своей честью, попытается провести за нос тех, кто имеет несчастье оказаться в числе его слушателей». «Наратель лжи» — так определяет Распе морально-воспитательное значение своей сатирической пародии на вралей и хвастунов.

В этом предисловии Распе не раскрыл, однако, своей писательской «кухни». В противном случае, он должен был бы пояснить, что хотя и вывел в книге реального человека, но использовал в ней народные смешные рассказы и истории, в том числе и те, что в свое время были опубликованы в берлинском альма-

нахе. Должен был бы также признать, что подлинный Мюнхгаузен не был до такой степени фантастическим лгуном, он послужил лишь возбудителем творческого воображения Распе, что это только прототип — завязь, почка, которая, раскрывшись под пером писателя, превратилась в пышный цветок легенды.

Несмотря на успех книги Распе и неоднократные переиздания, ее заметила одна лишь газета «Критикел ревью», посвятив всего несколько слов тому, что это сатирическое произведение и что никогда еще фантастическое и смешное не доводилось до такой степени. Да и сам автор не придавал особого значения своему незатейливому рассказу — единственной книге, благодаря которой он не забыт и сегодня, и никак не мог предполагать, что этот томик сохранит его имя потомкам. Иначе разве Распе добровольно отрекся бы от авторства — он, так мечтавший достичь известности. Ведь только тридцать лет спустя после смерти автор «Мюнхгаузена» был случайно «открыт», как когда-то сам открывал забытые памятники старины.

«Приключения барона Мюнхгаузена», рожденные на германской почве, вернулись на родину в 1786 году, через год после выхода их в Англии. И хотя первое немецкое издание, тоже анонимное, было отпечатано в Геттингене, на обложке был указан Лондон. Автор перевода поэт-демократ Г. А. Бюргер, привнесший в книгу существенные добавления, новые эпизоды, основанные также на народных мотивах, не случайно, как и Распе, пожелал остаться неизвестным.

Когда Мюнхгаузен прочитал, какие вытворять чудеса, какие плести небылицы заставил его сочинитель книжонки, престарелый барон был мало сказать обижен и огорчен, он был оскандален. Его засыпают письмами самого неелестного содержания, в маленький городок на Везере стекаются любопытные поглазеть на живого барона-вралю. В имении не стало покоя. Тогда слугам приказывают патрулировать вокруг дома и не допускать посторонних. А в комнатах негодует барон Мюнхгаузен, грозит всеми карами нечестивцу, так позорно и нагло высмеявшему его, немецкого дворянина. Оскорбленный барон пробовал подавать в суд, привлечь к ответу обидчика. Но закон был бессилен перед анонимным титульным листом и фальшивой надписью «Лондон». Храбрецу, вояке, потомку крестоносцев не у кого было даже потребовать, как тогда было принято, сатисфакции, то есть вызвать на дуэль за оскорбление и клевету. Знай Мюнхгаузен в тот майский вечер, когда впервые в его доме появился гость в крас-

ном мундире, какую он сослужит ему службу, поостерегся и не стал бы распространяться при нем о своих подвигах. Но Иероним фон Мюнхгаузен так никогда и не узнал, кто же был истинным виновником его позора. Позора? Напротив — славы. Как это ни парадоксально, но маленькая книжка принесла владельцу поместья в Боденвердере большую популярность. Помимо своей воли он попал в литературу, приобрел известность как прообраз бессмертного литературного типа — вряля и хвастуна Мюнхгаузена.

А что же случилось с тем, кто учинил эту злую шутку над бедным бароном?



Распе не был рожден для жизни, полной приключений. И хотя его подчас называют авантюристом, а то и просто проходимцем, он не являлся им по своей натуре. То, что с ним произошло, угнетало его самого и делало глубоко несчастным. Незадолго до того, как исчезнуть из Германии, он жаловался другу на свою судьбу, и, глядя на портрет жены, не мог сдерживать слез. Распе понимал, что повинен во всем был он сам и как герой Мольера мог воскликнуть: «Ты этого хотел, Жорж Данден!»

Энергичный человек, он полагал, что не останется без работы среди энергичного народа. Вот когда особенно пригодились его знания по геологии и горному делу. Наука, по его словам, перестала быть в его руках игрушкой, он стремится сделать ее источником обогащения. Но для того, чтобы добиться чего-нибудь, нужно было быть расчетливым, практичным, обладать трезвым умом дельца и предпринимателя.

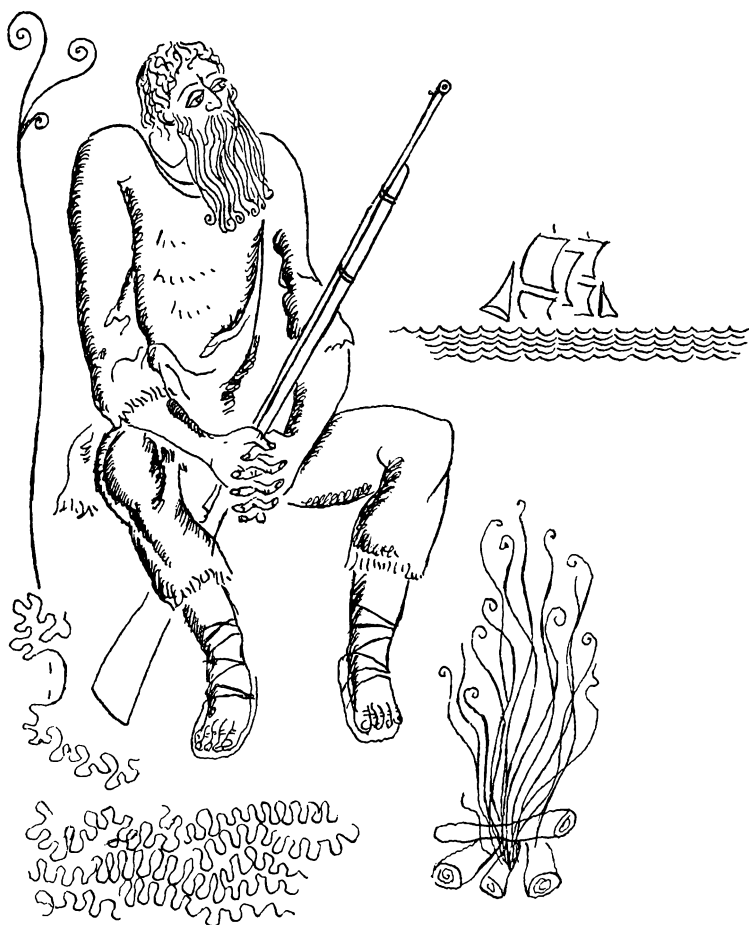
Отсутствие у себя этих качеств Распе пытается возместить знакомством и службой у известного промышленника, «железного короля» Англии Метью Баултона, — человека, который помог Джеймсу Уатту воплотить в жизнь его гениальное изобретение — паровую машину.

Теперь основная работа Распе — разведка и добыча полезных ископаемых. Надежда ведет его по долинам и горам Англии, он все еще мечтает о своем Эльдорадо. Но даже с его энергией и энтузиазмом Распе не мог извлечь ничего более ценного из этой земли, чем торф.

Его видят в шумном Лондоне и ученом Кембридже, в индустриальном Бирмингеме и в сумрачном Эдинбурге, он забирается в самые отдаленные уголки «радушной Шотландии». Может

быть, его скитания — это всего лишь желание заглушить тоску, унять отчаяние — у него не было дома, семьи, он никогда больше не видел своих детей: они остались в Германии. У него не было родины.

Пути изыскателя привели Распе в Дублин. Отсюда он двинулся на запад Ирландии в край Килларнийских озер. Здесь пришел конец его длительным странствиям. Заболев сыпным тифом, он умер в 1794 году пятидесяти восьми лет. Могила его затерялась среди ирландских болот. И только запись в приходской книге церкви Св. Марии напоминает о Рудольфе Распе, авторе «Приключений барона Мюнхгаузена».



КАК ДЕФО ВСТРЕТИЛСЯ
С РОБИНЗОНОМ КРУЗО

В большом старинном кресле сидит человек в парике. Лицо утомленное, осунувшееся, отчего на нем еще больше выделяется крючковатый нос и острый подбородок. В руках у него книга. Серые глаза смотрят внимательно.

Это журналист, памфлетист и писатель Даниель Дефо. Он сидит у окна своего дома в лондонском предместье Сток-Ньюингтон и просматривает только что купленное у букиниста второе издание книги — путевой дневник капитана Вудза Роджера о его кругосветном плавании в 1708—1711 годах.

Ему по душе рассказ морехода о приключениях и походах, о флибустьерах — «свободных мореплавателях», об опасностях, смелости и мужестве. Ведь и сам он когда-то, подобно мореходу, отважно бросился в водоворот жизни. Сын бакалейщика и торговца свечами, он стремился стать промышленником — не получилось. Искал счастья в политике — ничего не добился. Пытался торговать — обанкротился. Был журналистом, издавая газету, подвергался преследованиям за свое острое перо, сидел в тюрьме. Если бы не его энергия, не его вера в жизнь, не одолеть ему превратности и повороты судьбы.

Теперь ему пятьдесят восемь. Он утомлен и измучен интригами врагов, которых у него предостаточно. Друзей же нет. К концу жизни он оказался в одиночестве, подобно Селькирку — моряку, о котором пишет в своем дневнике капитан Вудз Роджерс. Кстати, эта глава, где рассказано о том, как Александр Селькирк прожил один несколько лет на необитаемом острове, представляет несомненный интерес. Дефо припоминает, что и ему самому пришлось однажды беседовать с этим боцманом, лет семь назад, когда тот только что вернулся на родину. Весь Лондон жил тогда сенсацией — человек с необитаемого острова!..

Чем дальше читает Дефо о приключениях Селькирка, тем больше они его захватывают, тем сильнее загорается его воображение...



Доподлинные записи церковных книг, сохранившиеся до наших дней, неопровержимо свидетельствуют о том, что в 1676 году в местечке Ларго, расположенном в одном из уютных приморских уголков Шотландии на берегу Северного моря, в семье башмачника Джона Селькирка родился седьмой сын Александр.

Появление на свет в качестве седьмого ребенка, по местным

поверьям, сулило младенцу исключительную судьбу. Но чего мог добиться сын башмачника, которому предстояло перенять профессию отца. В мастерской, где с ранних лет приходилось помогать старшим, ему было скучно. Зато его неудержимо влекло в харчевню «Красный лев», расположенную неподалеку от их дома. Здесь собирался бывалый народ, «морские волки», повидавшие сказочные страны и наглядевшиеся там разных диковин.

Спрятавшись за бочкой или забившись в темный угол, он слушал рассказы о стране золота Эльдорадо, об отважных моряках и жестоких штормах, о «Летучем голландце» — паруснике с командой из мертвецов. Не раз приходилось ему слышать о дерзких набегах корсаров, поединках кораблей и награбленных богатствах.

Напрасно Джон Селькирк надеялся, что седьмой сын станет достойным продолжателем его дела. Александр избрал иной путь. Восемнадцать лет он покинул дом и отправился в море навстречу своей удивительной судьбе, сделавшей его героем бесмертной книги.

Плавание закончилось для него плачевно: судно подверглось нападению французских пиратов. Молодого матроса взяли в плен и продали в рабство. Но ему удается освободиться и наняться на пиратский корабль. С этого момента для Селькирка начинается полоса злоключений и неудач, из которых он, однако, удивительным образом всегда выходит целым и невредимым.

Видимо, опасный промысел он избрал не напрасно — домой Селькирк вернулся в роскошной одежде, с золотыми серьгами в ушах, кольцами на пальцах и туго набитым кошельком.

Но дома ему не сиделось. Тихая, спокойная жизнь казалась скучной и однообразной. Он решает снова отправиться в плавание. Случай не заставил себя долго ждать. В начале 1703 года в «Лондон газетт» Селькирк прочитал о том, что знаменитый капитан Уильям Дампьер на двух судах готовится предпринять новое плавание в Вест-Индию за золотом. Такая перспектива вполне устраивала молодого, но уже «заболевшего» морем, плаваниями и приключениями шотландца. Вот почему среди первых, кто записался в члены экипажа флотилии Дампьера, был 27-летний Александр Селькирк. Ему предстояло служить боцманом на 16-пушечной галере «Сенк пор». Кроме нее, в флотилию Дампьера входил 26-пушечный бриг «Сент Джордж». Уильям Дампьер — авантюрист и ученый-натуралист, корсар и мореход — успешно продолжал дело знаменитых королевских

пиратов Френсиса Дрейка и Уолтора Рели, положивших в XVI веке начало морскому владычеству Британии.

Незадолго перед этим этот авантюрист вернулся из продолжительного и трудного плавания, во время которого им было сделано немало научных открытий. Таков был этот пират, занимавшийся морским разбоем и одержимый страстью исследования морей и их обитателей, течений и ветров, народностей и обычаев тех стран, где он бывал. Из каждого плавания он привозил массу наблюдений, записей, рисунков. Его произведения, издаваемые отдельными книгами, пользовались большим успехом у современников. С их автором были знакомы многие, в том числе писатели Свифт и Дефо.

Это было время, когда пиратство стало почти узаконенным и морской разбой поощрялся королевскими особами, когда легенды, привезенные еще Христофором Колумбом о «заморских» сокровищах, продолжали разжигать воображение любителей легкой наживы, сорвиголов и авантюристов, когда лихорадка открытий и приключений, сотрясая Старый Свет, рождала новые мифы, в которых даже правда часто казалась неправдоподобной.

Цель похода флотилии Дампьера — нападение на испанские суда в море, захват и ограбление городов на суше. Курс — южные моря, страны Латинской Америки. По существу это была обычная для того времени грабительская экспедиция, прикрывавшаяся лишь лозунгом борьбы с враждебной Англии Испанией.

Дампьер вышел в море на «Сент Джордже» — подарке короля, несколько раньше. Вслед за ним, в мае 1703 года, покинула берега Альбиона и быстроходная галера «Сэнк пор». У берегов Ирландии корабли соединились. Плавание протекало спокойно, если не считать смерти капитана судна, на котором служил Селькирк. Вместо умершего моряка Дампьер назначил нового командира — Томаса Стредлинга, сыгравшего позже неблагодарную роль в судьбе своего ботмана.

С этого момента началось трудное плавание. И не только потому, что характер у нового капитана был крутой и жестокий, но и из-за того, что теперь плыли по почти не исследованным морям, в то время как мореходный инструмент был весьма еще не совершенен, а карты часто вообще отсутствовали. Полтора года галера «Сэнк пор» скиталась по морям, вступала в бордажные схватки, совершала дерзкие набеги, захватывала корабли испанцев. Из Атлантического, следуя путем Магеллана, вышла в Тихий океан. Совершив несколько налетов на города,

расположенные по чилийскому побережью, корабли разошлись в разные стороны. «Сэнк пор» поднялась до широты г. Вальпараисо и взяла курс на пустынные острова архипелага Хуан Фернандес, где команда рассчитывала запастись пресной водой и дровами.

Здесь-то и разыгрались те события, благодаря которым имя Селькирка не было забыто.

Во время плавания между капитаном галеры «Сэнк пор» Томасом Стредлингом и его боцманом Селькирком не раз бывали пререкания, порой даже ссоры. Упрямый шотландец пришелся не ко двору властолюбивому капитану. Дошло до того, что Селькирк решил покинуть корабль, кстати говоря, к тому времени изрядно потрепанный и давший течь. В судовом журнале появилась запись: Александр Селькирк списан с судна «по собственному желанию». В шлюпку погрузили платье и белье, кремневое ружье, фунт пороху, пули и огниво, несколько фунтов табака, топор, нож, котел, не забыли даже Библию. Селькирка ждала вполне «комфортабельная» жизнь на необитаемом острове Мас а Тьерра, входящего в архипелаг Хуан Фернандес и расположенного в шестистах километрах к западу от Чили.

В XVI веке, когда каравеллы испанцев только начинали бороздить воды вдоль западных берегов Южной Америки, районы эти были еще плохо изучены. Немало встречалось на пути мореходов непонятного и загадочного. Почему, например, из Вальпараисо на север в сторону Перу приходилось плыть всего месяц, а обратно тем же путем — целых три. Считали, что дело здесь не обходилось без вмешательства злых сил, видели в этом деяние дьявола. Чем, как не колдовством, можно объяснить такое наваждение. Все, однако, обстояло гораздо проще: на пути мореплавателей, плывущих вдоль западных берегов Южной Америки, вставало неизвестное тогда течение Гумбольта. Раскрыть загадку необычного явления довелось капитану Хуану Фернандесу. В 1574 году он прошел из Перу в Вальпараисо за месяц, изменив несколько обычный маршрут и взяв чуть южнее. По дороге ему встретился небольшой архипелаг из трех островов. В честь капитана этот архипелаг и получил название «Хуан Фернандес».

Селькирк предпочитал ввериться своей судьбе на одном из пустынных островов этого архипелага, чем оставаться на ветхом корабле под началом враждебного ему командира. В душе боцман надеялся, что долго пробыть на острове в положении добровольного узника ему не придется. Ведь корабли довольно часто заходят сюда за пресной водой.

А пока, чтобы не умереть с голоду, надо было заботиться о еде — съестных припасов ему оставили лишь на один день. К счастью, на острове оказалось множество диких коз. Это означало, что при наличии пороха и пуль питание ему обеспечено.

Время шло, а скорое избавление, на которое он так надеялся, не приходило. Волей-неволей пришлось не только заботиться о настоящем, но думать и о будущей жизни на клочке земли, затерянной в океане.

Обследовав свои «владения», Селькирк установил, что остров покрыт густой растительностью и имеет около двадцати километров в длину и пять в ширину. На берегу можно было охотиться на черепаха и собирать в песке их яйца. Во множестве на острове водились птицы, у берегов встречались лангусты и тюлени.

Первые месяцы было особенно трудно. И не столько от того, что приходилось ежечасно вести борьбу за существование, сколько из-за полного одиночества. Все меньше оставалось надежды на скорое избавление и все чаще охватывал Селькирка страх при мысли о том, что ему суждено много лет пробыть в этой добровольной ссылке. Землю, которая его приотпила в океане, он проклинал, как и тот час, когда решился на свой необдуманный поступок. Знай он тогда, что корабль «Сэнк пор» вскоре после того, как он его покинул, потерпел крушение и почти вся команда погибла, благодарил бы свою судьбу.

Как он сам потом рассказывал, восемнадцать месяцев потребовалось для того, чтобы привыкнуть к одиночеству и примириться со своей участью. Но надежда не оставляла его. Каждый день Селькирк взбирался на самую высокую гору и часами вematривался в горизонт...

Немало труда, выдумки и изобретательности потребовалось для того, чтобы наладить «нормальную» жизнь на необитаемом острове. Селькирк построил две хижины из бревен и листьев, оборудовал их. Одна служила ему «кабинетом» и «спальной», в другой он готовил еду. Когда платье его изветшало, он сшил при помощи простого гвоздя, служившего ему иголкой, одежду из козьих шкур. Селькирк плотничал, мастерил, сделал, например, сундучок и разукрасил его искусной резьбой, кокосовый орех превратил в чашу для питья. Подобно первобытным людям он научился добывать огонь трением, а когда у него кончился порох — стал ловить руками диких коз. Быстрота и ловкость, необходимые для этого, дались ему нелегко. Однажды во время такой охоты «вручную», пытаясь поймать козу, он сорвался

вместе с нею в пропасть и трое суток пролежал там без сознания. После этого Селькирк на тот случай, если заболит или почему-либо еще не сможет больше преследовать животных, подрезал у молодых козлят сухожилия ног, отчего те утрачивали резвость.

Настоящим бедствием для него стали крысы, во множестве водившиеся на острове. Они бесстрашно сновали по хижине, грызли все, что могли, несколько раз по ночам принимались даже за ноги хозяина. Чтобы избавиться от них, пришлось приручить одичавших кошек, завезенных на остров кораблями, как и крысы.

Здоровый климат и каждодневный труд укрепили силы и здоровье бывшего боцмана. Он уже не испытывал те муки одиночества, которые одолевали его в начале пребывания на острове. Подобная жизнь, по словам тех, кому довелось слышать рассказы Селькирка после его спасения, стала казаться ему не столь уж неприятной. Он свылся с мыслью о том, что надолго отлучен от людского общества.

Прошло более четырех лет. Тысяча пятьсот восемьдесят дней и ночей один на один с природой! Напряжение всех физических и моральных сил, дабы не впасть в уныние, не поддаться настроению тоски, не дать отчаянию одержать верх.

Работа — лучшее лекарство от болезни одиночества, предпримчивость — все эти качества были присущи Селькирку так же, как в еще большей степени ими будет наделен его литературный собрат.

В начале 1709 года отшельничеству Селькирка пришел конец. Днем избавления для него стало тридцать первое января.

В полдень со своего наблюдательного поста, откуда он каждодневно с тоской вглядывался в даль, Селькирк заметил точку. Парус! Первый раз за столько лет на горизонте появился корабль. Неужели он пройдет мимо?! Скорее подать сигнал, привлечь внимание мореплавателей. Но и без того было видно, что судно держит курс к берегу острова Мас а Тьерра.

Когда корабль подошел достаточно близко и бросил якорь, от него отчалила шлюпка с матросами. Это были первые люди, оказавшиеся к тому же соотечественниками Селькирка, которых он видел после стольких лет.

Можно представить, как были удивлены матросы, встретив на берегу «дикого человека» в звериных шкурах, обросшего, не умевшего поначалу произнести ни единого слова. Только оказавшись на борту «Дьюка» — так называлось судно, избавившее

боцмана от «неволи», он обрел дар речи и рассказал о том, что с ним произошло.

Случилось так, что «Дьюком» командовал Вудз Роджерс — один из сподвижников знакомого Селькирку «морского разбойника» Уильяма Дампьера. В числе прочих кораблей его флотилии «Дьюк» совершал длительный и опасный рейд по семи морям. Поэтому сразу отправиться домой Селькирку не удалось. На «Дьюке» после того, как 14 февраля судно снялось с якоря у острова Мас а Тьерра, ему пришлось объехать вокруг света. И только спустя тридцать три месяца, 14 октября 1711 года, он вернулся в Англию, став к этому времени капитаном захваченного во время похода парусника «Инкриз».

Когда лондонцы узнали о похождениях их земляка, Селькирк стал популярной личностью английской столицы. С ним искали встреч, его приглашали в богатые дома, где демонстрировали аристократам. Газетчики не давали ему прохода. В печати появились статьи, рассказывающие о его приключениях. Один из таких очерков, опубликованный в журнале «Инглишмен», принадлежал перу английского писателя Ричарда Стиля. «Человек, о котором я собираюсь рассказать, зовется Александром Селькирком, — писал Р. Стиль. — Имя его знакомо людям любопытствующим... Я имел удовольствие часто беседовать с ним тотчас по его приезде в Англию...» В своей очерке Ричард Стиль вкратце излагал историю Селькирка.

Существует предание о том, что и Дефо встретился с боцманом в портовом кабачке с тем, чтобы взять у него интервью. По другой версии они увиделись в доме некоей миссис Даниель, где Селькирк будто бы передал будущему автору «Робинзона Крузо» свои записки. Нам неизвестно, как протекала беседа между моряком и писателем и было ли вообще после этого написано Д. Дефо интервью. Что касается записок, якобы полученных писателем от Селькирка, о чем миссис Даниель поведала перед смертью своему сыну, то спор вокруг этого не затихал более двух столетий. Некоторые особенно упорные исследователи до сих пор считают, что факт этот имел место.

Как бы то ни было, но история Селькирка оставила след в памяти Дефо.

Нежитья в лучах всеобщего внимания Селькирку пришлось недолго. Немногословный, не умевший красочно и ярко рассказывать о пережитом, он быстро наскучил публике, перестал быть для нее забавой. Тогда он уехал в свой родной Ларго. Встретили его здесь поначалу радушно. Потом отношение изменилось. Пробывание на острове не прошло бесследно. Мрачный вид и

угрюмый взгляд Селькирка отпугивал людей, молчаливость и замкнутость раздражала.

Спустя несколько лет Селькирк вернулся на флот, стал лейтенантом на службе его величества короля Великобритании. Ему поручили командовать кораблем «Уэймаус». Во время очередного плавания к берегам Западной Африки в 1720 году Селькирк умер от тропической лихорадки и был похоронен с воинскими почестями.



...Дефо закрывает последнюю страницу истории Селькирка, рассказанную капитаном Вудсом Роджерсом. Некоторое время

сидит задумавшись. Человек на необитаемом острове! Пират-литератор подал ему великолепную мысль. В голове, пока еще смутно и нечетко, зарождается литературный замысел, всплывают контуры будущего повествования.

В этот раз он возьмется за перо не для того, чтобы написать очередной острый памфлет или статью. Нет, он переплавит в своей творческой лаборатории одиссею Селькирка, использует его историю как основу сюжета для романа, в котором расскажет о приключениях человека, оказавшегося на необитаемом острове. Героя своего он назовет Робинзон Крузо, по имени старого школьного товарища.

Его цель — заставить читателей поверить в реальность Робинзона Крузо, в подлинность того, что с ним произошло. А для



Фронтиспис первого издания «Приключений Робинзона Крузо».

этого он пойдет на небольшую хитрость и издаст книгу анонимно, выдав повествование за рассказ самого героя.

Успех романа был небывалый. Не успела 25 апреля 1719 года книга выйти в свет, как одно за другим в том же году последовали новые четыре издания.

Издатель Тейлор положил в карман тысячу фунтов — сумму немалую по тому времени. Неизвестно только, нашлись ли у самого Селькирка, который был тогда в Лондоне, пять шиллингов, чтобы купить книгу, написанную «про него».

Мастерство писателя победило — люди, читая книгу Дефо, искренне верили в «удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устья реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб».

В этом заглавии, необычайно длинном, как было тогда принято, обращает на себя внимание следующее. Во-первых, то, что герой Дефо оказался на острове близ устья реки Ориноко. Что же касается лет, проведенных героем книги на острове, то Дефо просто-напросто увеличил их число, желая, видимо, поставить своего Робинзона в наитяжелейшие условия.



Памятник Александру Селькирку, установленный в г. Ларго, в нише дома, где он родился.

Иначе обстоит дело с причинами, побудившими автора перенести место действия романа.

Писатель переместил своего героя из Тихого океана с острова Мас а Тьерра в Атлантический, в устье реки Ориноко. Но какой именно остров имел в виду автор книги? Ведь в ней ни разу не упоминается его название. Тем не менее Дефо подражывал вполне реальную землю. Помните начало романа: Робинзон Крузо отплывает из Бразилии. Едва корабль пересек экватор, как разразилась буря, ветер относит его все дальше на север. Экипаж пытается держать курс на остров Барбадос в Карибском море. Но ураган бросает судно на мель около необитаемого острова. Что же это за земля? Ее географические координаты, которые сообщает Дефо, почти совпадают с координатами острова Тобаго.

Дефо избрал этот район потому, что он был довольно подробно описан в тогдашней литературе. Сам писатель никогда здесь не бывал. Он довольствовался фактами, взятыми в таких книгах, как «Открытие Гвианы» Уолтера Рели, «Путешествия вокруг света», «Дневник» Уильяма Дампьера и других. Сведения, почерпнутые у этих мореплавателей, помогли Дефо вести достоверный рассказ.

Из трехсот произведений, написанных Даниелем Дефо, лишь «Робинзон Крузо» принес автору подлинную славу, правда, как это часто бывает, уже после смерти автора. Его книга — зеркало эпохи, а Робинзон, в образе которого писатель воспел мужество человека, его энергию и трудолюбие, — герой великой эпопеи труда.

...Три точки на земном шаре связаны с именем Робинзона Крузо. Для того чтобы посетить их, надо совершить долгое путешествие, объехать почти полсвета. В шотландском городке Ларго в нише старинного дома, в котором жил Селькирк, вы увидите памятник ему, сооруженный в 1885 году одним из потомков моряка, послужившего прототипом знаменитого литературного героя. На Мас а Тьерра — «Острове Робинзона Крузо» вам предложат подняться на вершину Эль-Юнке, где находился наблюдательный пост Селькирка, и укажут на бронзовую мемориальную доску, установленную английскими моряками в 1868 году в память об их земляке. На Тобаго покажут отель «Робинзон Крузо», «Пещеру Робинзона» и другие достопримечательности. Впрочем, за право называться «Островом Робинзона Крузо» оба эти острова — Мас а Тьерра и Тобаго — с равным успехом боролись долго и упорно. Дискуссия эта не столь отвлечена, как это может показаться вначале. В причинах, породив-

ших ее, нетрудно разглядеть вполне матерьяльную основу. Речь идет о туризме и приносимых им доходах. О том, какую, скажем, роль он играет на о. Тобаго, можно себе представить, если учесть, что на 36 тысяч жителей этого острова в год приходится 30 тысяч туристов.

В наши дни спор между островами получил юридическое завершение. Чилийское правительство официально переименовало о. Мас а Тьерра в остров Робинзона Крузо, а соседний с ним — назван в честь шотландского моряка — островом Александра Селькирка.



ДВЕ ЖИЗНИ
ШАРЛЯ Д'АРТАНЬЯНА

Многие события занимали парижан в середине сороковых годов прошлого века. Но, пожалуй, никто не интересовал их так, как господин Дюма. Его успех, говорил В. Гюго, больше, чем успех, это — триумф. Его слава гремела подобно трубным звукам фанфар.

Какой новый исторический роман собирается подарить читателям волшебник слова, этот «Александр Великий», как называли его друзья? Чем порадует их неутомимый труженик? А он действительно трудился в поте лица. И если бы не завидное здоровье, а главное, если бы не увлечение, с каким Дюма выполнял свою титаническую работу, даря читателям по несколько романов в год, — он давно бы иссох от непосильного труда. Дюма умел отдаваться работе весь, писал по двенадцать часов в сутки. Казалось, день и ночь в нем горит неугасимый огонь творчества. Бывало так, что, едва проснувшись, еще в постели, он хватался за перо: необходимо было тут же записать возникшую в его воображении сцену. А взяв перо в руки, он уже не мог его отложить — оно словно само скользило по бумаге. Один за другим большие голубые листы покрывались размашистым, красивым почерком. На глазах таяла бумажная стопа на столике с письменными принадлежностями, стоявшем около кровати. Киша голубой бумаги — на ней он писал романы, розовая — для пьес, желтая — для стихов.

В ночной рубашке, с гривой нерасчесанных после сна курчавых волос, Дюма напоминал в эти минуты могучего льва. Он не любил, когда ему мешали во время работы. Но коль скоро кто-нибудь из друзей оказывался рядом, писатель, поздоровавшись, продолжал трудиться, умудряясь при этом вести беседу. Или просил: «Посидите минутку, — у меня как раз с визитом моя муза, но она сейчас уйдет!» — и продолжал работать, громко разговаривая с самим собою. То же можно было наблюдать и в кабинете, где он обычно писал за простым деревянным столом.

Смеющийся, гневный, плачущий, сверкающий глазами, размахивающий как шпагой пером, Александр Дюма в момент работы являл собой живописное зрелище. Но вот последний росчерк, и с возгласом «Vivat!» Дюма вскакивал из-за стола. Это означало, что закончена очередная глава и что писатель доволен собой — он славно поработал. А потом небольшая передежка, наспех проглоченный обед, и снова за стол. Дюма не мог себе позволить долгих перерывов в работе не только потому, что от этого зависело его материальное положение — он вечно нуждался в деньгах, но из-за того, что читатели с нетерпением ждали его новых книг.

Откуда Дюма брал сюжеты для своих многочисленных произведений? Отовсюду, где только мог. Отчет об уголовном процессе, попавший ему в руки, превращался в великолепный роман, под его пером оживали исторические хроники, он умел вдохнуть жизнь в старинные легенды, часто использовал воспоминания современников разных эпох.

Однажды — это было в 1843 году — Дюма рылся в книгах Королевской библиотеки, подыскивал материал по эпохе Людовика XIV. Не спеша перебирал книгу за книгой, снимал с полок пыльные тома, бегло просматривал, откладывал в сторону те, что могли ему пригодиться. Случайно в руках у него оказались три тома «Воспоминаний господина д'Артаньяна». Заглавие соблазнило писателя. Раньше ему не приходилось слышать о такой книге. Любопытство заставило раскрыть ее. Устроившись здесь же, около полок, Дюма начал перелистывать страницы мемуаров, изданных в 1704 году в Амстердаме знаменитым типографом того времени Пьером Ружем. Это было третье издание, снабженное портретом д'Артаньяна.

На старинной гравюре был изображен незнакомец в военных доспехах. Небольшое энергичное лицо обрамляли волнистые, ниспадающие до плеч волосы. Может быть поэтому наружностью он походил чем-то на женщину. Но это только при первом беглом взгляде. Присмотревшись внимательнее, в его облике нельзя было не заметить особого одухотворения, силы характера. Производительные и умные глаза казались необыкновенными. С лукавым прищуром они глядели на читателя, как бы говоря: «Познакомьтесь с моим правдивым жизнеописанием и вы убедитесь в моей исключительности». Это выражение усиливала усмешка тонких губ, над которыми, словно два острых лезвия, в разные стороны торчали маленькие элегантные усики любимца женщин и отчаянного дуэлянта.

Писатель решил более тщательно изучить показавшиеся ему интересными записи. С разрешения хранителя библиотеки — своего приятеля — он унес их домой и жадно на них набросился. Это оказались беглые зарисовки событий и нравов минувшей эпохи — середины семнадцатого столетия, сделанные несомненно очевидцем, хотя многие картины прошлого и были представлены в них односторонне. Полностью название книги звучало так: «Воспоминания господина д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, содержащие множество частных и секретных вещей, которые произошли в царствование Людовика Великолепного».

Кто же был этот очевидец — автор мемуаров? Судя по назва-

нию — д'Артаньян. Однако в этих «собственных мемуарах» не было ни слова, написанного самим мушкетером. Они оказались сочинением некоего Гасьена де Куртиля де Сандра. И хотя он знал д'Артаньяна лично, это отнюдь не давало ему права выступать от имени мушкетера. Но Гасьен де Куртиль не гнушался брать слово за своих современников, издавая под их именами подложные мемуары. Он был плодовитым и довольно ловким мистификатором. Его бойкому перу принадлежит более дюжины поддельных воспоминаний различных знаменитостей — баснописца Лафонтена, графа де Рошфора, маркизы де Френе, военачальника де Монбрена и других. В 1715 году, уже после смерти Гасьена де Куртиля, под псевдонимом Константэн де Ренвиль вышла написанная им «Французская инквизиция или история Бастилии» — книга, в которой автор использовал и личные впечатления: некоторое время он провел в одном из казематов этой тюрьмы.

Тайна мемуаров д'Артаньяна сохранялась недолго. Очень скоро ее разоблачили. Уже современники догадывались об обмане и не стеснялись говорить об этом автору подделки. Но Гасьен де Куртиль продолжал настаивать на своем. Не отрицая того, что имеет некоторое отношение к выходу в свет записок мушкетера, он заявлял, что мемуары написаны д'Артаньяном, а он, Куртиль, лишь отредактировал их. Упорство, с каким мистификатор отстаивал подлинность мемуаров, породило легенду об оставшихся после смерти д'Артаньяна его собственных записках.

Согласно этой легенде, как только до Людовика XIV дошла весть о смерти его прославленного мушкетера, он тотчас же при-



Портрет д'Артаньяна

казал конфисковать его личные вещи. С этой целью из Парижа были посланы двое офицеров. День и ночь скакали они, не щадя лошадей, по дороге во Фландрию, туда, где французские войска осаждали крепость Маастрихт.

На вторые сутки офицеры добрались до городка и тут же, нигде не задерживаясь, направили коней на окраину к старой таверне. Без лишних слов, отстранив хозяина, они поднялись на второй этаж в комнату, где накануне сражения остановился д'Артаньян. Но странное дело, их нисколько не интересовали вещи мушкетера. Не обращая на них внимания, они перерыли тем не менее всю комнату и покинули ее лишь после того, как в их руках оказалась небольшая шкатулка — предмет их интереса. В ней хранились листки исписанной бумаги. Это будто бы и была знаменитая рукопись д'Артаньяна. Зная о ее существовании, король решил принять меры предосторожности. Д'Артаньян хранил в своей памяти слишком много тайн, был посвящен во многие интриги двора и в его записках могла быть раскрыта поднаготная многих неприглядных фактов, разглашать которые было не в интересах короля и его приближенных, их обнародование грозило нежелательными разоблачениями, а возможно, и скандалом.

И все же избежать огласки не удалось. Через тридцать лет мемуары д'Артаньяна увидели свет. Тогда-то некоторые, в том числе и сам Гасьен де Куртиль, стали утверждать, что это именно те самые подлинные записки, найденные в таверне на окраине Маастрихта и каким-то образом выскользнувшие из рук тех, кто так стремился сохранить их содержание в тайне.

Понятна и причина, почему подлинный автор этих мемуаров не захотел поставить под ними свое имя. Этим же объясняется и издание записок за пределами Франции. В случае разоблачения, де Куртиля, как автора, ждала Бастилия. Вторичное посещение застенков этого замка его явно не устраивало.



На страницах этих мемуаров и произошла встреча Александра Дюма с д'Артаньяном. Правда, это был еще далеко не тот герой, которого все мы знаем и любим. Даже напротив, это была скорее его противоположность. Писателю предстояло приложить много усилий, помножить труд на талант, чтобы создать обаятельный образ мушкетера д'Артаньяна, превратить авантюриста, служаку-солдата, каким его нарисовал де Куртиль, в легендарного героя, «который по своему поразительному мужеству был ра-

вен храбрейшим воинам, а своей хитростью и умом превосходил всех дипломатов».

Приключения мушкетера, о которых рассказывал де Куртиль, оказались А. Дюма прекрасным материалом для романтического повествования. Надо только исправить погрешности, найти дополнительные сведения о героях и эпохе. И Дюма погружается в источники, изучает исторический материал, читает мемуары других свидетелей минувшего времени.

И вскоре под его пером история ожила, наполнилась плотью. Он не только перенес на страницы своей книги ее героев, но главное одухотворил их, сделал полнокровными, жизненными.

На сцене появляются три славных мушкетера, три храбреца, три друга — Атос, Портос и Арамис. Они служат под начальством благородного командира де Трувиля.

Все это были подлинные персонажи. Когда-то, совсем еще юными, они скакали на конях по дорогам Франции, вступали в отчаянные схватки, бились на дуэлях, слыли весельчаками и остроловами. Они жили, сражались, любили. Имена их А. Дюма встретил в книге де Куртиля. Но там они лишь бегло упоминались и отнюдь не были героями повествования. Зато в других исторических источниках писатель нашел более подробные сведения о них. Он узнал, что де Трувиль, ранее известный просто как Арно де Пейре, был всего-навсего сыном торговца из Оролона, где и родился в 1598 г. Откуда же у него появилось пышное имя — граф де Трувиль?

Около Оролона, над зелеными равнинами, покрытыми бескрайними полями кукурузы, то здесь то там поднимаются похожие одна на другую деревенские колокольни: стена, увенчанная треугольной крышей с коньком, как символ Святой Троицы. Цифра «три» встречается здесь буквально повсюду. Из трех частей состоит и городок Труа-Виль — Три города. По воле случая, он разделен на три равные части. Чуть поодаль стоит роскошный замок, сооруженный знаменитым архитектором Мансаром.

После того как сын торговца из Оролона купил этот замок, он стал называть себя граф де Трувиль. Но его честолюбие не было удовлетворено. Мечтой его стало служить в роте королевских гвардейцев. Для этого требовалось немного — подправить документы о дворянстве. Этот небольшой подлог позволил ему вскоре занять, по выражению всесильного королевского министра Кольбера, «самую завидную должность в королевстве» — командира мушкетеров.

Трувиль действительно пользовался большим влиянием.

Славился он и способностью с одного взгляда распознавать искусного фехтовальщика и вербовать в свою роту самых храбрых офицеров. Благодаря его покровительству в число мушкетеров был принят в 1640 году Арман де Селлек. Этот юноша, являвшийся племянником де Трувиля, носил имя сенора д'Атоса — по названию небольшого местечка, когда-то греческой колонии, около города Советтр-де-Беарн. Однако он никогда не был участником приключений, героем которых сделал его А. Дюма. Известно, что он был смертельно ранен во время стычки у рынка Пре-о-Клерк и умер некоторое время спустя — 21 декабря 1643 года...

Родственником де Трувиля был и Анри Арамиц, тоже гасконец. Вторая жена командира мушкетеров была урожденной д'Арамиц. Писатель переделал эту фамилию на — Арамис. Вопреки А. Дюма он никогда не был епископом, а являлся светским аббатом. До наших дней от его аббатства сохранился серый каменный портал, увенчанный стрелой свода. Сюда близкий друг д'Артаньяна, неизменный его соратник по битвам и дуэлям, удалился в 1655 году, после пятнадцати лет военной службы. Жил он и в долине Бартон, где неподалеку от Ларена в Пиринеях, на скале громоздился великолепный его замок.

Что касается третьего мушкетера — Портоса, то и его прототип был родом из этих мест. Резиденцией мессира Исаака де Порто, которого романист перекрестил в Портоса, должно быть из-за рифмы, служил массивный замок в Ланне — одном из плато, возвышающемся над долиной Барету.

Исаак де Порто, совсем не такой бедняк, каким его сделал А. Дюма, был знаком с д'Артаньяном во время службы в гвардии. Мушкетером он стал в год смерти Атоса — в 1643. А это значит, что они вряд ли сражались рука об руку. Да и все четверо мушкетеров могли быть вместе всего лишь на протяжении нескольких месяцев 1643 года.

Соединил их на много лет в своем романе Александр Дюма.

Исторические факты служили писателю лишь канвой, на которую он наносил узор своего собственного вымысла. Когда же его упрекали в том, что он извращает историческую достоверность, А. Дюма отвечал: «Возможно, но история для меня — только гвоздь, на который я вешаю свою картину». Впрочем, что касается д'Артаньяна, то, по утверждению его земляков-гасконцев, он был еще более героической личностью, чем смог себе вообразить романист. Факты его необычной биографии, насыщенной приключениями и подвигами, и известные нам сегодня благодаря розыскам историков и литературоведов, действительно

свидетельствуют об исключительной судьбе этого человека. Его история, говорят в Гаскони, правдива, как вымысел, и невероятна, как сама жизнь.



Близ Пиринейских гор расположена столица древней Гаскони — Ош. Некогда здесь находилось эберийское поселение. В первом веке до нашей эры легионы римского полководца Красса, сподвижника Цезаря, прошли с огнем и мечом по этим землям, подчинив непокорные территории. И поныне о тех далеких днях напоминает дорога, построенная римскими воинами.

Со временем город Ош, возникший на бойком месте — пути в соседнюю Испанию, стал форпостом на южных границах Франции. Не случайно, видимо, на его гербе изображены ягненок и лев: первый — это покорность, второй — мужество и отвага в борьбе с врагами. И еще славится город Ош великолепным органом. Этот действительно удивительный музыкальный инструмент был сооружен в конце семнадцатого века. Вот и все достопримечательности, которыми знаменит небольшой городок. И вполне вероятно он пребывал бы в забвении, если бы не одно обстоятельство.

Неподалеку от города Ош в местечке Люпиак родился человек, послуживший прообразом знаменитого литературного героя — д'Артаньяна. Поныне существует, построенный в XI веке, замок Капельмор, где он жил. Здание сейчас находится в частном владении и, к большой досаде туристов, закрыто для посетителей. А надо сказать, что в последних нет недостатка. В городок, насчитывающий в наши дни всего лишь немногим более десяти тысяч жителей, стекается множество любопытных.

И сегодня дорожные указатели напоминают о том, что когда-то здесь жили прототипы героев А. Дюма.



Они приезжают сюда, чтобы увидеть памятные места, связанные с именем д'Артаньяна. Правда, к их сожалению, кроме замка, где он родился и рос, мало что сохранилось от тех времен.

Строгий по формам замок Капельмор стоит на берегу Тенарезы. Четыре башни — две круглые, более древние, и две квадратные, возвышаются над кронами дубов и вязов, охватывающих здание кольцом. Старые его камни прячутся под зеленым плащом из плюща, отчего стены сливаются с листвою деревьев и издали с залитых солнцем холмов едва заметны.

Предание гласит, что в кухне этого замка году этак в 1620-м родился Шарль де Батц Капельмор д'Артаньян. Более точную дату, несмотря на все попытки, установить оказалось невозможным. И хотя сохранилась приходская книга, где есть запись о его рождении, но как на грех именно в том месте, где должны стоять год и месяц рождения, — страница надорвана.

Отец Шарля не был дворянином, но происходил из старинной и уважаемой фамилии. Он успешно торговал с Испанией и был достаточно богат. Следуя семейным традициям, которые принесла в дом его жена, Бертран де Батц, отец будущего мушкетера, готовил своих сыновей к службе в королевской гвардии. Судьба солдата ожидала и Шарля — младшего сына в семье, имевшего право наследовать лишь имя родителя.



Покинем замок Капельмор — гордое обиталище доблестных рыцарей и отправимся по направлению к горам. Через несколько километров вы заметите огромный вяз. Словно букет из листвы, он раскинулся над крышами маленькой деревушки Артаньян.

Могучее дерево, в тени которого спасается от полуденного зноя целое стадо коров, так велико, что, пожалуй, и четверо, взявшись за руки, не смогут обхватить его.

Много повидал на своем веку старый вяз, многое помнит.

...Это было давно, лет пятьсот назад. Но и тогда уже он был как Геркулес, покрытый зеленой листвою. Была и деревушка. Земли, расположенные вокруг нее, входили в баронат дворянского рода Монтеस्कю — одного из старейших в королевстве. Во всяком случае они принадлежали этой семье с тех пор, как Полон де Монтеस्कю — конюший Анри д'Альбрета, короля Наваррского, женился на Жакметте д'Эстен — даме из Артаньяна.

После свадьбы молодые пожаловали в свою гасконскую усадьбу. Поездка эта не столько входила в маршрут их свадебного путешествия, сколько была продиктована деловой необхо-

димостью. Молодой супруг должен был вступить в права владельца усадьбой. Для этого требовалось его присутствие на церемонии «клятвы верности».

Под гигантским зеленым зонтиком, раскрытым высоко в небе, собралась вся деревня. Старики в широких темно-синих берегах тихо переговаривались меж собой на беарнском наречии.

Феодал появился верхом в сопровождении небольшой свиты. Толпа молча смотрела на нового хозяина. Что принесет он: горе, несчастье или (на что надежды было мало) будет великодушным и благородным. Когда же слуга развернул пергамент, стало так тихо, что слышно было, как трепещут над головами листья вяза. Синьор и его вассалы, сняв береты и преклонив колени, приготовились слушать. «Отныне Полон де Монтеस्कью, — читал слуга, — клянется, что будет вести себя как подлинный феодальный сеньор, остальные должны помнить о том, что они являются вассалами и в свою очередь клянутся вести себя подобающим их положению образом...». Так конюший короля Наваррского стал синьором д'Артаньяном. Его сын Жан был первым из этого рода, кто служил под именем д'Артаньяна в гвардии Генриха IV.

Шли годы. На краю деревни вырос замок. Поколение сменялось поколением. Но неизменно мужчины из замка уходили служить в гвардию — это стало семейной традицией. А женщины выходили замуж и тоже покидали замок, чтобы принести супругу приданое, а сыновьям дать право на новое пышное имя. Когда в 1608 году Франсуазу де Монтеस्कью выдали за Бертрана де Батц Кастельмор — богатого купца из Люпиака, она принесла мужу пять тысяч ливров приданого, а дети получили право на имя — д'Артаньян.

Сегодня от замка в Артаньяне мало что сохранилось. Честно говоря, замком эти каменные руины трудно даже назвать. Время, стихии, пожар сделали свое дело. Остались лишь часть стены, полуразвалившаяся башня, старинная беседка во дворе да колонны на месте бывших ворот. А ведь еще сто лет назад здесь все было по-иному. Один из «прямых потомков» знаменитого д'Артаньяна собрал в небольшой гасконской усадьбе целый музей. Портреты предков, знамена, «отнятые у врага», гербы, оружие. Но культ прославленного предка не принес богатства тогдашнему хозяину замка графу Роберу де Монтеस्कью. Он же полагал, что славу можно наследовать как и камни старинного замка и посвятил своему предку восторженные строки:

Благородный солдат, погибший за дело чести,
Я чувствую, что твой благосклонный взгляд склоняется
На лютию, которая наследует твоему высокому мушкету.

Удар шпаги — брат рифмы;
У них одинаковый звук, а поэт и воин
Делят между собой ветви одного лаврового венка.

Но, увы, «старый граф» (так его звали в селении) не унаследовал и малой толики той известности, которой благосклонная судьба наградила д'Артаньяна. Робер де Монтеस्कью умер, как говорят, без гроша в кармане.

После смерти графа дом не раз продавался. Новые владельцы без священного трепета отнесли к реликвиям, собранным в замке. Коллекция пошла с молотка. А вскоре огромный пожар охватил здание с четырех сторон. Жители деревни говорят с тех пор, что злой рок ожесточился против усадьбы. Теперь охотников приобрести развалины (а они постоянно продаются) найти еще труднее. Крестьянская семья, которая ныне поселилась среди руин, занимается тем, что разводит салат на землях около ручья — притока Ардура. О прошлых владельцах им напоминает лишь мраморный бюст отважного д'Артаньяна — единственный экспонат, сохранившийся из всего собрания Робера де Монтеस्कью.

По этому скульптурному портрету, довольно сильно пострадавшему от времени, трудно представить подлинный облик знаменитого мушкетера. Да, видимо, и сделан он был не с оригинала, а много позже.



Настал день, и кончились ребячьи забавы. Шарлю предстояло стать воином. Но до этого ему, никогда не покидавшему родное гнездо, надо было добраться до Парижа. Путешествие небезопасное в ту пору. Что ожидало его потом? Об этом он, по правде говоря, мало задумывался. В кармане у него лежало рекомендательное письмо — этот волшебный ключ и должен был открыть путь к его карьере. Но д'Артаньян не был настолько наивен, чтобы всецело поверить в магическую силу этого листка бумаги. Он знал и другое. Только мужеством можно пробить себе путь. Кто дрогнет хоть на мгновение, возможно уцелит случай, который именно в этот миг ему предоставила фортуна. Не опасаться случайностей и искать приключений. Этими словами в романе отец напутствует героя книги. Эти же слова мог бы произнести и подлинный отец д'Артаньяна, отправляя сына в Париж, где юноша должен был проходить военную службу.

Совету этому д'Артаньян оставался верен всегда. Храбрости

и мужества ему занимать не приходилось, робость и нерешительность были чужды ему, равно как и трусость. Что касается умения пользоваться случаем и извлекать для себя пользу, то, как увидим, и в этом он показал себя большим мастером, и здесь он, как говорится, был малый не промах.

Молодой всадник, отправляясь на поиски воинской славы, бросил последний взгляд на отцовский дом с дороги, построенной легионерами Цезаря. В Париж он ехал не на жалкой пегой лошаденке, не на кляче, как рассказывает А. Дюма, а на прекрасном скакуне, купленном незадолго до этого на ярмарке в Мансье.

Долгий путь от Оша до Парижа остался позади. Но столица встретила гасконца неприветливо. Рекомендательное письмо было потеряно во время дорожных приключений. Из старших братьев, служивших мушкетерами, один к тому времени погиб, другой — Поль — сражался где-то на полях Италии. Тем не менее, д'Артаньяну удалось через Трувиля поступить кадетом в гвардию.

Не сразу сбылась его мечта о плаще мушкетера. Пройдет еще четыре года, прежде чем его зачислят в личную гвардию короля. А пока что его посылают в действующую армию — лучшую школу для новичка.

Д'Артаньяну не было еще и двадцати, когда весной 1640 года во Фландрии его шпага принесла ему первую славу. Остроумный гасконец оставался верен себе даже на поле битвы. На воротах осажденного Арраса, за стенами которого укрылись испанцы, было написано: «Когда французы возьмут Аррас, мыши съедят кошек». Д'Артаньян умудрился написать поверх «возьмут» — слово «сдадут». Прodelал он это, как говорят, за неимением кисти перьями своей собственной шляпы, обмакнув их в краску.

Отныне гвардейца д'Артаньяна видят всюду, — там, где гремят пушки, раздается звон клинков и бой барабанов, там, где французские войска ведут битвы Тридцатилетней войны. Он сражается под стенами крепостей Эр и ла Байет, первым врывается в форт Сан-Филипп, его видят в рядах штурмующих Перпиньян. Имя д'Артаньяна мелькает на страницах газет того времени.

В конце 1642 году умер всемогущий кардинал Ришелье. Не на много пережил его и Людовик XIII. Место кардинала занимает ловкий итальянец Мазарини, фаворит регентши королевы-матери Анны Австрийской. Он решает распустить мушкетеров.

Д'Артаньян, к тому времени удостоенный чести быть мушкетером, то есть солдатом личной гвардии короля, оказался не у

дел, правда, временно. Каким-то способом, для нас оставшимся неизвестным, ему удастся добиться назначения специальным курьером Мазарини. С этого момента гасконец надолго связывает свою судьбу с новым кардиналом, служит ему верой и правдой не один год. Мазарини нужен именно такой человек — храбрый и преданный, готовый выполнить любое поручение, умеющий хранить тайну.

Отважный курьер скачет во Фландрию, мчится в противоположном направлении — в Нормандию, возвращается галопом в Париж. В дождь, холод и снег, не щадя ни себя ни коня, должен скакать личный курьер кардинала по дорогам Франции. Мазарини плетет интриги и нуждается в людях, которые оповещали бы его о настроениях, были бы ушами и глазами кардинала.

Но политика кардинала одинаково вызывает недовольство как у горожан, так и у знати. Все меньше вокруг Мазарини преданных ему людей. И только д'Артаньян неизменно оказывает важные услуги своему господину. Он остается преданным слугой даже во время вооруженного восстания парижан в августе 1648 года, вызванного жестоким правлением Мазарини.

В эти тревожные дни, когда парижские мостовые покрылись баррикадами, д'Артаньян предпринимает дерзкий поступок.

Помните те главы из второго тома эпопеи А. Дюма «Двадцать лет спустя», в которых описан бунт парижской черни. Д'Артаньяну удалось в карете, где сидел бледный от страха кардинал, прорваться сквозь заслон вооруженных горожан. А затем повторение операции только с другими пассажирами — ничего не понимавшим спросонья юным королем и перепуганной до смерти его матерью Анной Австрийской. Так рассказывает об этом А. Дюма. И в основном он несколько не исказил подлинные события. Простой солдат оказался в минуту опасности сообразительнее многих.

Недовольство политикой кардинала продолжало оставаться глубоким. Восстание ширилось. К старым бунтовщикам присоединялись новые. Парламент под давлением народа требует изгнания Мазарини. Его объявляют вне закона и лишают всего имущества.

И снова кардинал тайком вынужден покинуть Париж. Вместе с ним в изгнание отправляется и его верный курьер, его слуга и шага д'Артаньян.

Опальный кардинал поселился в небольшом городке Брюле близ Кельна. Здесь его часто видят в саду, он ухаживает за цветами, и кажется, что бывший всемогущий министр отошел от дел,

утратил интерес к интригам, забыл вкус власти. На самом деле кардинал и не помышляет складывать оружия. В тайне он вербует новых сторонников, подкупает противников, собирает солдат. У него много дел, много их и у его доверенного курьера, посвященного в замыслы кардинала-изгнанника. Д'Артаньян вновь проводит дни и ночи в седле: колесит по дорогам Германии и Бельгии. Так проходит несколько лет.

Однажды, в начале 1653 года, в Брюль прискакал на взмыленной лошади гонец короля. Людовик XIV, достигший совершеннолетия, приглашает кардинала обратно в столицу. Король задумал сосредоточить всю власть в своих руках. Для этого необходимо сломить сопротивление знати. Человек, которого еще Ришелье назначил своим преемником, должен помочь в этом королю. Мазарини возвращается. Вместе с ним вернулся в Париж и д'Артаньян. Опережая его, летит о нем молва не только как об искусном воине, но и как о тонком дипломате и мудром политике.



На некоторое время д'Артаньян задержался в Париже. Затем он в Реймсе на церемонии коронации короля. А вскоре под стенами осажденного Бордо — последнего очага сопротивления феодальной знати.

Осада занятого мятежниками города, видно по всему, будет долгой. Только хитростью можно вынудить к сдаче его защитников. И д'Артаньян должен сыграть в этом деле главную роль. Здесь он впервые продемонстрирует свои незаурядные актерские способности. Ему поручают доставить в осажденный Бордо письмо кардинала с обещанием помиловать всех, кто прекратит сопротивление. Но как пронести письмо в город, чтобы его не перехватили главари мятежников? Пришлось прибегнуть к маскараду. Д'Артаньян нарядился нищим. Солдаты разыграли сцену, будто гонятся за ним. А он бежал прямо к стенам осажденного города. Его заметили. Ворота на миг приоткрылись. Нищий прошмыгнул в них. Бледный от только что пережитого страха, он бухнулся в ноги, униженно целовал руки своим спасителям. И никто из них не догадывался, что под лохмотьями нищего спрятано письмо кардинала.

В еще более сложной роли ему довелось выступить во время осады испанцами города Ардра. В документах тех лет имеется описание этого дерзкого предприятия д'Артаньяна.

Ему поручили в одиночку пробраться в осажденный испанцами Ардр и сообщить его защитникам, что на помощь им спешит

французский маршал Тюренн. Необходимо продержаться до подхода французских войск.

Между тем положение осажденных с каждым часом становилось все труднее. В городе свирепствовал голод, иссякли не только запасы продовольствия, были съедены все лошади. Солдаты едва могли отбивать атаки настойчивых испанцев. Положение было настолько критическим, что город, не выдержав осады, с часа на час мог выкинуть белый флаг. Необходимо было предупредить осажденных, что помощь близка. И сделать это поручили д'Артаньяну.

Но как прорваться сквозь кольцо испанских солдат, как проникнуть в город?

Д'Артаньян разработал смелый и как всегда хитроумный план.

Для его осуществления ему пришлось одному разыграть спектакль во многих лицах — переодеться купцом, выдавать себя за слугу, притворяться немощным старцем. Ловко обманув с помощью такого маскарада испанских солдат, действуя как всегда смело и решительно, он пробрался в город к осажденным соотечественникам. Прибыл он, надо сказать, весьма кстати. Губернатор намеревался вот-вот выбросить белый флаг.

Что произошло с д'Артаньяном дальше? Нетерпеливый гасконец вместо того, чтобы дожидаться под надежной защитой крепостных стен подхода французских полков, несмотря на уговоры губернатора остаться, покинул в тот же день город.

Обратный путь сложился для него менее благоприятно. На этот раз он решил изображать роль дезертира. Однако первый же испанский солдат, встретившийся ему на пути, заподозрил неладное. Мнимого дезертира доставили к командующему испанцев. Здесь в нем опознали французского офицера. Решение было скорое, а приказ лаконичный — казнить. Но счастье и на сей раз улыбнулось д'Артаньяну. Ему удалось бежать.



Ускользнув от, казалось бы, неминуемой смерти, храбрый гасконец снова появился в Париже для того, чтобы вновь надеть широкополую шляпу с перьями и нарядный костюм королевского мушкетера: к тому времени Людовик XIV решил восстановить свою личную гвардию. Слова эти требуют некоторого пояснения. Шляпа с перьями, действительно, украшала мушкетеров и прежде. Что же касается общей для всех формы, то раньше ее не существовало. Во времена Генриха IV, который, собственно,

и учредил придворную роту из дворян, да и позже, уже при Людовике XIII, когда эта личная гвардия короля, насчитывающая тогда сто человек, получила название мушкетеров, формы как таковой у них не было. Мушкетеры того времени одевались кто во что горазд, сообразно своему собственному вкусу, моде, а главное кошельку. Одинаковым у всех был один только короткий плащ. Поэтому Портос в романе Дюма мог появиться в отличающемся от остальных костюме, что не вызвало ни у кого недоумения, а у командира гнева.

После восстановления в 1657 году Людовиком XIV роты мушкетеров число их было увеличено до ста пятидесяти человек. Тогда же ввели и обязательную для них форму. Но по-прежнему это была личная гвардия короля, которая состояла, как правило, из знатных дворян, известных своей доблестью и храбростью.

Капитаном роты считался сам король. Фактическим же ее командиром был капитан-лейтенант. Кроме того, в роте числился лейтенант, корнет, два сержант-майора, квартирмейстер-сержант, трубач и кузнец. Последний играл немаловажную роль, если учесть, что мушкетеры были конным войском. Обычно они несли службу внутри дворца, сопровождали короля во время его выездов. По двое, голова в голову, эскорт из мушкетеров скакал впереди королевского кортежа. «Поистине это прекрасные воины,— писала газета того времени,— великолепно одетые. На каждом — синий плащ с серебряной перевязью и такими же галунами. Только дворянин, человек исключительной храбрости допускается в их ряды...» К этому описанию следует добавить, что камзолы на мушкетерах были алые, а масть лошадей серая. Их так и называли — Серые мушкетеры. Позже была создана вторая рота, получившая название Черных мушкетеров.

Сначала мушкетеры жили рядом с королевским дворцом. Но потом те, что были побогаче, стали селиться и в других частях города, нанимая жилье за свой счет. Были среди мушкетеров и такие, кто, кроме длинного дворянского имени и шпаги, не имел за душой ни гроша. Этим приходилось довольствоваться жалованьем — 35 су в день. Мушкетеры, правда, пользовались особыми привилегиями, в частности они не платили налогов.

Выход из бедности многие из них находили в женитьбе. Решился, наконец, на этот шаг и д'Артаньян. До сих пор он слыл заядлым сердцем, славился своими победами не только над врагами, но и над слабым полом, взяв в плен не одно женское сердце. Однако весьма скромный достаток не позволял ему подражать богатым друзьям, владельцам поместий и солидных доходов. Стоит ли говорить, что самолюбие прославленного муш-

кетера было уязвлено. Особенно нехватка средств сказывалась теперь, когда он стал лейтенантом. А по обычаю, заведенному издавна, мушкетер сам должен был заботиться о своем наряде, лошади, сбруе и прочем снаряжении. Казна выдавала ему лишь мушкет. Помните, как Атос, Портос и Арамис были озадачены, когда им понадобилось немедленно приобрести все принадлежности экипировки мушкетера. Для этого требовалась изрядная сумма, а ее-то у них и не было. Друзья слонялись по улицам и разглядывали каждый булыжник на мостовой, словно искали, не обронил ли кто-нибудь из прохожих свой кошелек. Но все было тщетно до тех пор, пока одному из них не пришла мысль обратиться к помощи своих богатых возлюбленных. И дело быстро устроилось. В ту эпоху это не считалось позорным, а, напротив, казалось простым и вполне естественным, говорит Дюма, и юноши из лучших семей бывали обычно на содержании у своих любовниц.

Нечто подобное произошло и с д'Артаньяном. Он тоже нуждался в экипировке и ему тоже помогла женщина.

Как-то у палатки д'Артаньяна остановилась великолепная коляска. Из нее вышла дама, лицо ее скрывала густая вуаль. В таинственной незнакомке мушкетер узнал свою возлюбленную — богатую вдову. Прослышав о затруднении, которое испытывает ее избранник, она, не желая, чтобы он подвергался унижению, решила полностью экипировать своего кавалера. Напрасно д'Артаньян протестовал, энергичная вдова не только не слушала его, она лично примеряла на нем камзол, давая указания портному. Благодаря ее заботам, на ближайшем смотре д'Артаньян своим блестящим видом обратил на себя внимание самого короля.

Понятно, что женитьбе д'Артаньян придавал особое значение. Ему, не имевшему права на долю в отцовском наследстве, приходилось, как и всем младшим сыновьям в знатных семьях, самому добиваться богатства.

Избранницей д'Артаньяна стала Шарлотта-Анн де Шанлеси, дама из Сен-Круа. На церемонии бракосочетания 5 марта 1659 года присутствовал сам Луи Бурбон, король Французский и Наваррский, кардинал Мазарини, маршал де Грамон и многие придворные, их жены и дочери.

Наконец-то Шарль д'Артаньян разбогател — около ста тысяч ливров годового дохода принесла ему женитьба на знатной девице. Походную палатку заменил роскошный двухэтажный особняк на улице Бак. А вместо резвого скакуна появилась громоздкая карета с сиденьем, обитым, согласно моде, зеленым вельве-

том в цветочек и с такими же зелеными занавесками. Подобные неуклюжие машины, без рессор и поворотного круга, отчего на ухабах пассажиров то и дело подбрасывало, были еще в диковишку. Приобрести такую новинку могли позволить себе немногие. Но чета д'Артаньянов не стеснялась в средствах.

И все же, несмотря на достаток и даже роскошь, жизнь супругов после свадьбы сложилась неудачно. Ремеслом д'Артаньяна была война. Ему недолго пришлось оставаться в своем особняке. Очень скоро он покинул дом для новых ратных дел. С тех пор видеть жену ему приходилось редко. За шесть лет лишь два раза побывал он дома. В письмах к ней он оправдывался: «...война, моя милая, долг превыше всего». Такая жизнь стала невмоготу его супруге. Она покинула дом на улице Бак и вместе с двумя детьми уехала в свое родовое поместье.



Тем временем д'Артаньян выполнял важное и ответственное поручение короля. Он сопровождал его во время поездки в замок Во — владение всесильного министра финансов господина Фуке.

Роскошь и великолепие в сочетании с тонким вкусом и изяществом отличали это необыкновенное по тому времени поместье.

На воротах замка красовался герб хозяина — белка и был высечен девиз: «Quo non ascendam» — «Куда я только не влезу». Слова эти как нельзя лучше характеризовали министра. Фуке действительно достиг многого. Но особым его вниманием пользовался государственный карман. Необыкновенно ловкий, умный и хитрый, Никола Фуке, поставленный при Мазарини во главе финансов, частенько запускал руку в казну. Не удивительно, что жил он на широкую ногу. На его замок, сооруженный в 1653 году, было затрачено 15 миллионов, строили его лучшие мастера — архитектор Лево, художник Лебрен, планировщик парков Ленотр, называемый великим садовником. Хозяин разыгрывал из себя мецената, и здесь частыми гостями были известные писатели Расин, де Севинье, Лафонтен, Мольер, по долгу гостили знаменитые актеры и мастера кисти. Стены замка украшали ценные картины, а в библиотеке, насчитывающей более десяти тысяч томов, хранилось немало уникальных изданий. Но чудом из чудес были парк и сады замка Во, возникшие задолго до красот Версаля. Мраморные гроты, зеркальные пруды и каналы, шумные каскады и фонтаны, в ту пору вещи весьма редкие, бронзовые и мраморные скульптуры — словом, такая

роскошь, такое богатство, какого не мог себе позволить даже король, украшали замок Во. Здесь «столы спускались с потолков; слышалась подземная, таинственная музыка и, что наиболее поразило гостей, — десерт явился в виде движущейся горы конфет, которая сама собою остановилась посреди пирующих, так что невозможно было видеть механизма, приведившего ее в движение», — пишет А. Дюма в своей книге «Людовик XIV и его век».

Вся эта пышность, сказочное богатство, которое не могло не поразить, вызвали у Людовика лишь зависть и ненависть. Как мог Фуке дерзнуть превзойти короля, того, кто считал, что, как одно солнце в небе, так и один король во Франции. Участь министра была решена. Зарвавшегося вельможу ждала темница. Арестовать Фуке король поручил д'Артаньяну. Ордер на арест был собственноручно вручен им мушкетеру, человеку исполнительному и преданному долгу.

Д'Артаньяну помогали пятнадцать мушкетеров и вся операция обошлась без осложнений. Правда, Фуке, заметивший недоброе, попытался бежать в чужой карете. Но д'Артаньян, не спускавший с него глаз, разгадал его план. Не долго думая, он ринулся за каретой, в которую сел Фуке, догнал ее, арестовал министра и предложил ему пересест в заблаговременно приготовленную карету с железными решетками. Весь этот эпизод, описанный в последней части романа «Виконт де Бражелон», приобрел под пером писателя несколько иной вид. С волнением мы следим за погоней, скачками и борьбой, занимающей несколько страниц книжного текста.

Под охраной мушкетеров, в той же самой карете с решетками опальный министр был доставлен д'Артаньяном в крепость Пигнероль. За удачно проведенную операцию король предложил д'Артаньяну должность коменданта этой крепости. На что мушкетер ответил: «Я предпочитаю быть последним солдатом Франции, чем ее первым тюремщиком».



Дерзкая смелость и находчивость, но еще более счастливая удачливость возвели отчаянного искателя приключений на самую вершину лестницы, именуемой придворным успехом. По ней д'Артаньян взлетел, шагая через три ступеньки.

Должность тюремщика была не по нем. Но получить пышный придворный титул и отныне к своему имени добавлять слова — «смотритель королевского птичьего двора» — это вполне отвеча-



Мушкетеры во главе с д'Артаньяном штурмуют город Маастрихт.

ло самолюбию мушкетера. Тем более, что должность «смотрителя королевского птичьего двора» была чисто номинальной и не требовала ровным счетом никаких трудов и знаний, зато доход приносила изрядный. Но, как видно, этого было мало тщеславному царедворцу. Пользуясь благосклонностью самого короля, д'Артаньян отважился самовольно присвоить себе титул графа. Как ни странно, это сошло ему с рук. При дворе сделали вид, что не заметили наглости королевского любимца. Да и кто посмел бы возмущаться поступком д'Артаньяна, когда со дня на день ожидали назначения его командиром личной гвардии короля, когда сам Людовик обращался к своему мушкетеру не иначе, как со словами «любимый д'Артаньян», и заверял своего любимца: «я сделаю все возможное как для тебя лично, так и для твоих мушкетеров».

И, наконец, как венчание пути д'Артаньяна наверх, его назначают командиром мушкетеров. Это был едва ли не беспример-



Памятник, в котором слились черты отважного мушкетера и литературного героя, пережившего в веках своего прототипа.

ный случай, когда рядовой солдат дослужился до командира гвардии короля.

А вскоре новая война с испанцами призвала д'Артаньяна на поле боя. Командир мушкетеров отличился при взятии города Лилля летом 1667 года. За это его назначают губернатором этого города. Как справлялся наш герой с новыми, не привычными для него обязанностями? По свидетельству современников, он правил справедливо и честно. Правда, пробыл он в должности губернатора всего лишь год. А затем снова война. И снова д'Артаньян в седле.

Вместе с армией, которой командовал маршал Тюренн, обе роты мушкетеров выступили во Фландрию. Летом 1673 года 40-тысячная французская армия начала осаду крепости Маастрихт на Мозеле. Участвовали в осаде и мушкетеры д'Артаньяна. Не раз пробивались они к самым стенам города, успешно сражаясь за форты, прикрывавшие подходы к нему.

Особенно жарко было вечером 24 июня. Пятьдесят французских орудий осветили небо сильнейшим фейерверком. И сразу же триста гренадеров, две роты мушкетеров и четыре батальона регулярных войск ринулись в атаку. Несмотря на плотный огонь, мушкетерам д'Артаньяна удалось ворваться в траншеи противника и занять один из фортов.

На рассвете командир мушкетеров обходил своих солдат, шутил, говорил отряд к контратаке противника. Но удержаться не удалось. Мушкетерам пришлось отступить под ураганным огнем. Восемьдесят человек было убито, полсотни ранено. Этот бой стал последним и для их командира.

На поиски его тела отправилось несколько добровольцев. Под огнем они поползли к форту, где еще недавно кипел бой. Д'Артаньян лежал среди груды тел, он был мертв. Пуля от мушкетера пробила ему горлань. С большим риском удалось отбить его тело и доставить в расположение своих войск.

О смерти «храбрейшего из храбрейших» писали газеты, поэты посвящали ему стихи, его оплакивали солдаты и дамы, простолюдины и вельможи. Многие отдали дань уважения отважному воину, но лучше всех, пожалуй, сказал о нем Сен-Блез: «Д'Артаньян и слава покоятся под одним саваном».



Если сопоставить события, описанные в книге де Куртиля, с повествованием А. Дюма, то легко убедиться, какие исторические факты служили писателю «гвоздем» для его «картины».

Сама же «картина» была исполнена в свободной манере. Писатель достаточно вольно обошелся с подлинной историей знаменитого мушкетера. Его рассказ следует за историей, но и развивает и дополняет ее. Скрупулезная достоверность ученого, точное следование исторической правде мало занимали автора приключенческого повествования. Но мы не только прощаем писателю игру его воображения, свободное обращение с событиями из жизни д'Артаньяна: вопреки известным фактам, под пером А. Дюма герой превратился из помощника и доверенного лица Мазарини в его ненавистного врага, не отправился в изгнание за кардиналом, а вернулся на страницы книги, чтобы участвовать во множестве новых приключений, получил чин лейтенанта намного раньше, чем это было на самом деле и т. д. и т. п. Напротив, мы благодарны автору за то, что он дал ему вторую жизнь и что среди наших любимых литературных героев есть д'Артаньян, именно такой, каким создала его гениальная фантазия писателя — храбрый, умный, справедливый, верный слову и дружбе, находчивый в бою, благородный в любви, умевший защитить слабого и наказать обидчика.

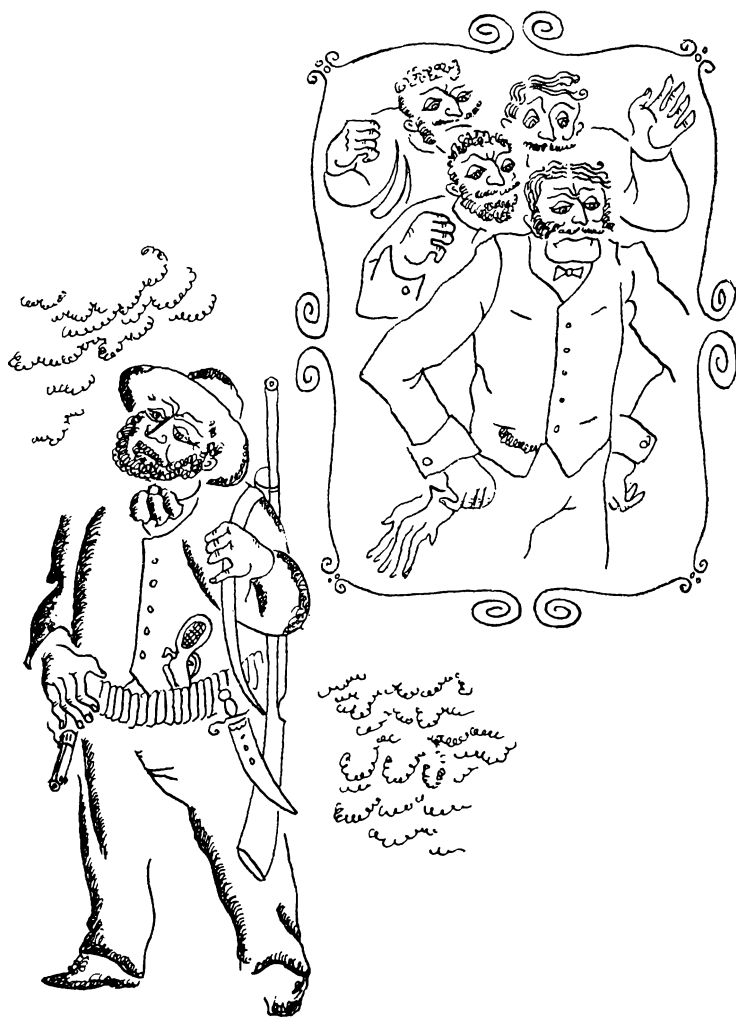
Вопреки А. Дюма, д'Артаньян так и не стал маршалом Франции. Этой чести вскоре после гибели мушкетера был удостоен его двоюродный брат граф Пьер де Монтеस्कью. Что касается родных братьев д'Артаньяна, то они принимали участие почти во всех войнах, которые вела Франция во второй половине XVII века. Один из них — Пьер — носил титул «сеньор д'Артаньян», то есть владел родовым поместьем. Про него Сен-Симон в своих мемуарах говорит, что он умер, когда ему было далеко за сто лет. Младший брат Жан был известен под именем капитана Кастельмор.

Род этот до сих пор существует во Франции — последний его отпрыск герцог де Монтеस्कью выпустил не так давно книгу «Подлинный д'Артаньян». В ней он пытается поставить историю с ног на голову и доказать, что единственный, кто заслуживает памяти потомков, — это маршал Пьер де Монтеस्कью — самый будто бы знаменитый предок в роде д'Артаньянов-Монтеस्कью.

В наше время появились и другие исследования, посвященные герою трилогии А. Дюма. Книги такого рода выходят не только во Франции, но и в других странах. Образ д'Артаньяна привлекает историков и литературоведов. Одни видят в нем типичного представителя своей эпохи, ту драгоценную каплю, в которой сфокусированы наиболее характерные ее черты. Других занимает вопрос о соотношении правды и вымысла в романах

А. Дюма, они пытаются проникнуть в психологию творчества знаменитого писателя.

Издавна образ д'Артаньяна привлекает и художников. Поклонники мушкетера не раз встречались со своим любимым героем не только на страницах книг А. Дюма. Они видели его в пьесах и опереттах, на экране кино. А те из них, кто побывал на его родине в городе Ош, могли любоваться величественной фигурой доблестного гасконца, отлитой в бронзе. Точнее говоря, они могут видеть здесь воздвигнутую в 1931 году статую, в которой слились черты отважного мушкетера и литературного героя, пережившего в веках своего прототипа.



УСКОРБЛЕННЫЕ ПРОТОТИПЫ ТАРТАРЕНА

— Тараскон! Поезд стоит пять минут... Пересадка на Ним, Монпелье, Сет,— голос кондуктора, прозвучавший раскатисто и победно, точно воинственный клич индейцев, заглушил лязганье вагонов, резкие удары буферов.

Тараскон! Еще подъезжая к старинному городу в устье Роны, в тот момент, когда в полевой дали возникли четыре величественные башни замка короля Рене, Доде охватило чувство щемящей тоски. Его постоянно тянуло на юг, в Прованс. В памяти навсегда сохранился образ южной страны, щедро одариваемой яркими лучами солнца; ее лазурное небо, горячий аромат полей, порывы мистрала, приносящего с гор запахи лаванды, мирты и розмарина, бледные оливки и холмы, поросшие соснами, золотистая смола которых напоминала ему слезы. Песни, серенады под окнами, танцующая молодежь, огневая фарандола на деревенских площадях и непреременный участник всех гуляний — тамбуринер со своим тамбурином. Вспомнились веселые прогулки всей семьей за город, когда дети карабкались по склонам обожженных солнцем холмов, тем временем, как отец на поле люцерны охотился с зеркалом на жаворонков...

Он любил приезжать в солнечный край своего детства, по долгу, бывало, гостил у родственников неподалеку от Арля, в семнадцати километрах от Тараскона. Здесь обитали его герои, его дети, как он любил говорить, те, кого ему доводилось встречать в ту пору, когда он жил на мельнице, стоявшей среди сосен на холме за монашеским аббатством. Что касается Тараскона, то в нем он не смел появиться. С некоторых пор у него с тарасконцами весьма осложнились отношения. И, странствуя по Югу, он всегда старался объезжать этот город, впечатлительнее которого не было в целом свете.

«Попробуй только проехать через Тараскон!» — припоминались угрожающие строки анонимных писем, полученных в свое время от свирепых тарасконцев. Он знал: они умели шутить, но умели и ненавидеть. Ему же совсем не улыбалось, чтобы его искупали в Роне. А именно так чуть было не поступили расщепленные граждане, когда один парижский коммивояжер, то ли в шутку, то ли желая втереть очки, расписался в гостиничной книге: Альфонс Доде. Что тут началось! Город всполошился. Наконец-то представился долгожданный случай свести счеты с ненавистным Доде! И несчастный коммивояжер еле уберется от разгневанных тарасконцев.

Как ни обидно, но лучше проехать мимо. Въезд в Тараскон для него закрыт. Его имя, если верить путешественникам, здесь ежедневно предается анафеме, и каждый тарасконец желает

отомстить «этому Доде». Что и говорить, не легко переносить ненависть целого города. А еще считается, что путь романиста усеян розами.

Даже книги этого «опарижевшегося» провансальца изгнаны из тарасконских библиотек.

Книги! Именно они и были причиной ненависти тарасконцев к писателю Доде. Точнее говоря, одна из них, та, которая ославила на весь свет тихий провинциальный городок, высмелв героическое племя тарасконцев.

Жители городка на берегу Роны не могли простить Доде того, что он вывел их на страницах своего знаменитого романа «Тартарен из Тараскона». Так, по крайней мере, казалось каждому тарасконцу, он усваивал это еще в детстве, слушая проклятия, которыми раздражались старшие, стоило лишь кому-либо упомянуть ненавистное имя Доде. Владельцам беленьких домиков отнюдь не льстили слова, которые автор предпослал своей книге: «Во Франции все немножко тарасконцы». Они не желали утешаться этим, равно как и знать о том, что писатель, выбирая название для города, где поселил своих героев, исходил лишь из того, что название «Тараскон» прекрасно звучит при выкрикивании станций, словно боевой клич воина. Впрочем, и такое объяснение вряд ли успокоило бы самолюбивых тарасконцев. Ничего, кроме нового прилива ярости, это не могло вызвать с их стороны. А между тем Тараскон был для Доде только псевдонимом, подхваченным на пути из Парижа в Марсель. Настоящая же родина Тартарена и его земляков — охотников за фуражками, признавался писатель, лежит несколько дальше, в пяти или шести милях от Тараскона, по ту сторону Роны.

Городок, на который намекал Доде, был Ним, где, как и во всех южных городах, много солнца, достаточно пыли, непременно имеется кармелитский монастырь и два или три римских памятника.

Маленький Ним помнил императора Августа, пережил нашествие варваров, набеги сарацин, хозяйничанье тулузских графов. От тех давних времен в городе сохранились знаменитый Квадратный дом — античный храм, похожий на миниатюрный Парфенон, которым так восхищался Стендаль, античные арены и бани — «Нимфей», ворота Августа, развалины романской башни Мань, крепостные стены и замок у подножья горы. Здесь, в этом городишке, начинали свой путь протестантский проповедник Жак Сорен, знаменитый политик и историк Гизо, здесь прожил всю жизнь прекрасный поэт Ребуль, который, по словам Гауса Христиана Андерсена, однажды посетившего его, предпочитал

быть замечательным булочником в Ниме, нежели одним из сотен малоизвестных поэтов в Париже.

На главной улице этого городка, обсаженной двумя рядами платанов с пыльной листвой, родился и Альфонс Доде.

Из впечатлений раннего детства, сохранившихся благодаря удивительной памяти (можно забыть число, в которое произошло то или иное событие, забыть лицо, которое видел еще недавно, но невозможно забыть рисунок обоев комнаты, где ты спал, будучи ребенком, имя, мелодию, которую довелось слышать в то время, когда ты не умел еще читать), Доде черпал материал для своих романов и, как он любил повторять, в силу непобедимого чувства реальности неизменно брал действительную жизнь за основу своих вымыслов.

Часто случайный, отдаленный намек, какая-нибудь смутная ассоциация с порою дня, с цветом неба, звоном колокола, запахом лавок вызывала в его памяти воспоминания о темных, прохладных, узких, благоухающих прятностями улицах Нима, аптекарском магазине дяди Давида... Помогала ему воскрешать образы былого и небольшая зеленая тетрадь с измятыми уголками, постоянно лежавшая на его рабочем столе и готовая в любую минуту поделиться с писателем своим богатством. В этой поистине бесценной тетради, заполненной сжатыми заметками под общим названием «Юг», были сосредоточены многолетние наблюдения над его родным краем, климатом, нравами, над самим собой, родными и собственной семьей. Из этой тетради Доде извлек многих своих героев, с ее страниц вышел в жизнь и бесстрашный Тартарен.



Жизнь все дальше уводила его от родного Прованса. Сначала Лион, где семья, когда ему было девять лет, тщетно пыталась поправить свои дела, затем, в 16 лет, работа в качестве школьного надзирателя в Алэ, потом бегство из этой тюрьмы в Париж, начальные шаги на тернистом литературном пути. Он хорошо помнил тот день, когда писал свою первую репортерскую хронику, озабоченный даже каллиграфической стороной работы. Суэта большого города все больше захватывала его, вовлекала в свой круговорот. Первые, еще робкие литературные успехи кружили голову.

У него была натура истинного импровизатора, трубадура. С детства он отличался необычайно живым воображением. «Я в сущности фантазер», — говорил он о себе. Его голова всегда была

полна замыслами. В кругу друзей он охотно делился ими, поражая мастерством рассказчика. В парижских гостиных он обращал на себя внимание не только внешним видом — бледное красивое лицо, обрамленное длинными волосами в крошечной провансальской шапочке, — но и своими талантливыми устными рассказами о жизни среди зеленых холмов в устье Роны. Причем, Доде обладал, как многие отмечали, способностью перенести в Париж частичку синего неба Прованса, погрузить слушателей в чарующую атмосферу Юга. Всякий раз, когда Доде, охваченный радостным возбуждением, начинал повествование, слушателей ожидал фейерверк забавных анекдотов, тонких наблюдений, милых шуток. Уж так создан каждый южанин, житель Прованса, шутил Доде, его воображение воспламеняется быстро, точно фитиль, а наслаждение от рассказа он испытывает только тогда, когда получает возможность поделиться с другими своими ощущениями.

Когда ему надоела шумная парижская жизнь, он отправлялся подышать свежим деревенским воздухом, вдохнуть бодрящий аромат провансальских сосен. Обычно эти поездки он совершал зимой. Парижский климат в это время года не способствовал его слабому здоровью, и врачи рекомендовали съездить на юг.

Особенно они настаивали на этом в конце 1861 года. Здоровье его в ту пору было изрядно расстроено пятилетними литературными занятиями. Необходимо была, как считали доктора, поездка в Алжир, чтобы восстановить под лучами африканского солнца его слегка подпорченные легкие. Пришлось ехать, несмотря на то, что в день отъезда из Парижа он получил известие о принятии театром «Одеон» его первой пьесы.

Направляясь в Алжир, Доде, которому было тогда всего лишь 21 год, по пути заехал в родной Ним. И здесь он неожиданно для себя обрел необычного попутчика. Вместе с ним решил отправиться в путешествие его сорокалетний кузен Рейно. Это был коренной житель Нима, мечтатель и фантазер. Любимым его писателем был Джеймс Фенимор Купер, запах пороха он ценил больше всех ароматов земли, из деревьев безоговорочно предпочитал баобаб и тайком мечтал походить на Вильгельма Телля. Словом, это был живой прототип будущего Таргарена. Следует добавить, что он, как и бесстрашный тарасконец, помимо любви ко всякого рода описаниям путешествий, был страстным охотником за фуражками и обладал такой силой, что земляки вполне серьезно утверждали, будто у него «двойные мускулы».

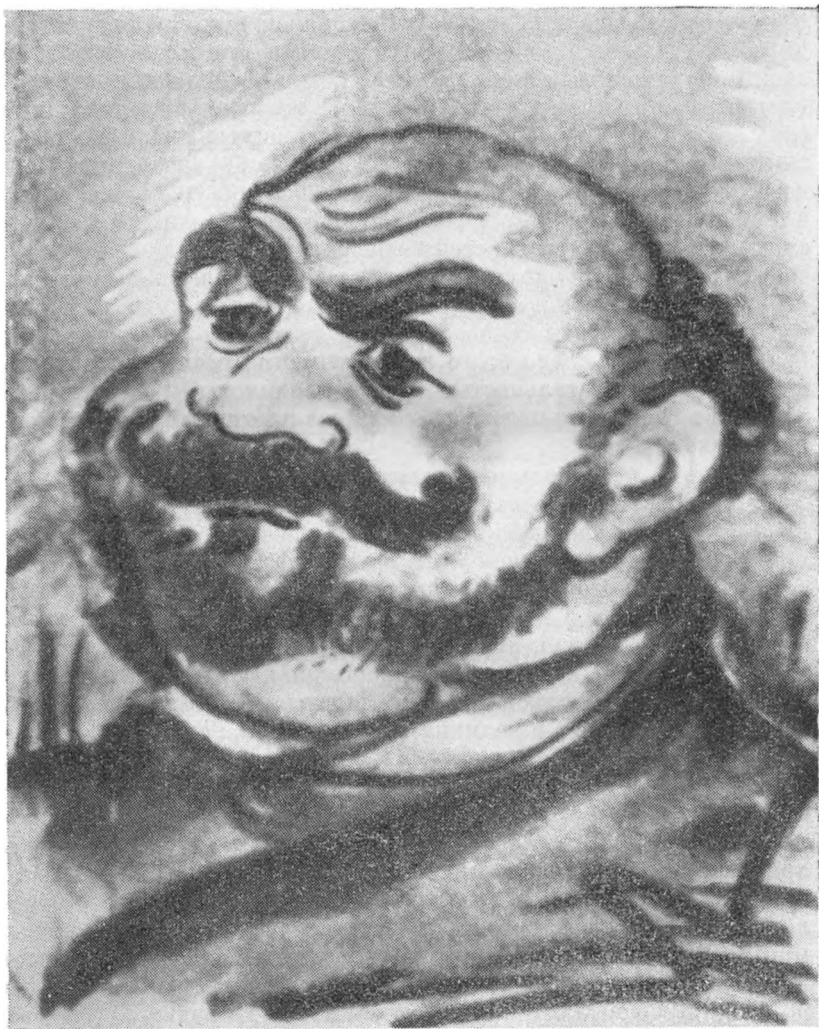
Кузен Рейно жил в беленьком домике с зелеными ставнями.

Впереди был разбит садик, сзади — балкон, у калитки, как водится в тех местах, постоянно дежурила стайка савояров со своими неизменными ящиками для чистки обуви. Одним словом, снаружи домик кузена Рейно ничем не отличался от других немских домишек. Но стоило лишь заглянуть внутрь... Нам же легче заглянуть на страницы романа А. Доде, ибо внутренний вид дома кузена Рейно почти в точности воспроизведен писателем в первой главе. Кабинет кузена Рейно считался одной из городских достопримечательностей: «Вообразите большую комнату, сверху донизу увешанную ружьями и саблями; все виды оружия всех стран мира были здесь налицо». Солнечные лучи зловещными бликами отражались на стальных лезвиях и посетители невольно затихали среди этого воинственного арсенала. Не меньшей достопримечательностью был и карликовый баобаб, чахнувший в горшке из-под резеды как раз против стеклянной двери кабинета в сад.

А теперь, полагаясь на привычку А. Доде пользоваться живыми прототипами, писать «с натуры», представим себе внешний вид достославного кузена Рейно. О его «двойных мускулах» уже упоминалось, об отважной и пылкой душе, бредившей битвами, грандиозной охотой и подвигами, свидетельствовало редчайшее собрание оружия, о его внешности говорится так: «Человек лет сорока — сорока пяти, низенький, толстый, коренастый, краснотелый, в жилете и фланелевых кальсонах, с густой, коротко подстриженной бородкой и горящими глазами». Таков был кузен Рейно, таким станет и великий, бесстрашный Тартарен. Сходство внешнее Рейно-Тартарен (впрочем, не только внешнее) на страницах будущего романа, оказалось, видимо, настолько близким, что не на шутку оскорбило немского кузена, и у него вышла из-за этого с писателем крупная ссора. Еще бы! Не очень приятно, когда каждый мальчишка при встрече с тобой начинает прозитительно вопить: «Тартарен! Тартарен!» Прозвище прилипло к бедному кузену Рейно, что доставляло ему немало горьких минут. Впрочем, это произошло значительно позже, несколько лет спустя после возвращения обоих кузенов из путешествия по Алжиру. А пока что им предстояло туда съездить.

В один прекрасный ноябрьский день 1861 года Доде и Рейно отправились охотиться на львов в Алжир, тогдашнюю французскую колонию. Видимо, уговорил Доде на это Рейно, голова которого была забита всевозможными книгами об охоте и охотниках. Не давал покоя и ветер дальних странствий, что шелестел в ветвях баобаба.

Доде, по правде говоря, предстоящая охота на грозных хищ-



Таргарен из Тараскона. Рисунок французского художника Легрена.

ников не очень прельщала. Его интересовали нравы и жизнь колонии, положение населения этой страны, некогда называемой житницей римлян. Но смешно было ехать истреблять львов, ему, всю жизнь страдающему близорукостью. Внутренне он прогивился затее своего кузена. Но так уж устроено воображение провансальцев — «оно загорается мгновенно, словно трут, даже в семь часов утра». Уроженец Прованса, Доде тоже был пемного Тартареном, во всяком случае по части воображения. Стоило ему вступить в марсельской гавани на палубу красавца пакетбота «Зуав», как он серьезно вообразил, что истребит всех зверей в Алжире.

Кузены-путешественники являли собой красочное зрелище. Головы отбывающих в страну львов венчали огромные огненные шапки — шесши, талии перетянуты красными поясами, из-за которых грозно торчали огромные охотничьи ножи; на плече — ружья, у пояса — патронташи, револьверы в кобуре. Ни то корсары, ни то какие-то воинственные турки. Можно представить, какой страх охватывал встречаемых. Впрочем, страх ли? Наши путешественники действительно находились в центре внимания, на них пялили глаза, но испуга в них не было видно. Скорее наоборот — на двух вооруженных до зубов охотников глазели с удивлением и любопытством. И ему, признавался Доде, стало стыдно: а что, если здесь нет никаких львов?

Вскоре Доде окончательно понял, в каком нелепом и смешном положении они оказались. Львов здесь действительно не было и в помине, попадались лишь газели да страусы. Что касается его кузена, то он был непоколебим в своей вере и пребывал в каком-то героическом сне: грезил львами, пантерами, верблюдами, одним словом, всем, о чем читал в книгах и что попадало в сферу его южного воображения.

Сомнения, перешедшие почти в уверенность в том, что напрасно ждать встречи с грозным хищником, не мешали, однако, Доде надеяться на это. С наступлением ночи не раз он трепетал, стоя на коленях под олеандровым кустом и вглядывался, с очками на носу, в окружающий мрак. «В воздухе высоко взвивались ястребы, шакалы бродили вокруг меня и я чувствовал, что ствол моего ружья дрожит, ударяясь о рукоятку охотничьего ножа, воткнутого в землю», — вспоминал писатель в «Истории моих книг». Доде наделил Тартарена этим страхом, этой дрожью перед встречей с царем зверей.

...Засаду на льва, рычание которого он явственно слышал в ночной тьме, Тартарен устроил по всем правилам в полном соответствии с хорошо известными ему руководствами по охо-

те — у самого водопоя хищников. У бедняги зуб на зуб не попадал! Нарезной ствол карабина выбивал о рукоять охотничьего ножа, воткнутого в землю, дробь кастаньет... Ничего не поделаешь! Иной раз трудно бывает взять себя в руки, да и потом, если бы герои никогда не испытывали страха, в чем же тогда была бы их заслуга?..

Доде искренне радовался и жаркому солнцу, и ласковому морю, и иссиня-белым алжирским домикам, так похожим на уютные виллы Нима и Тараскона, и главное — путешествию по незнакомой стране. Правда, это был совсем не тот Алжир, каким рисовал его себе кузен Рейно — страна чудес, куда он, словно Синдбад Мореход, заброшен счастливой судьбой. Теперь здесь к «ароматам древнего Востока», благодаря вмешательству европейских «цивилизаторов», присоединился «резкий запах абсента и казармы».

Еще недавно Доде казалось, что, живя в холодном и мрачном Париже, он утратил способность смеха. Поездка в Алжир разубедила его в этом.

Доде, умевшего наблюдать за собой со стороны, потешал собственный вид, как и столь же воинственный облик попутчика. И вообще, кузен Рейно доставил ему немало веселых минут. Нельзя было не смеяться над его простодушной потребностью лгать, без конца хвастаться, то и дело преувеличивать, что объяснялось избытком воображения. Впрочем, южанин, поправлялся Доде, не лжет — он заблуждается. Если же есть на юге лгуны, то только один — солнце!.. Солнце все преображает и все увеличивает в размерах.

Неутомимый собиратель и исследователь человеческих характеров, Альфонс Доде прекрасно видел, что у его спутника под маской жаждущего подвигов искателя приключений скрывается натура обыкновенного мещанина, который лишь пытался прикрыть жалкую фигуру охотника за фуражками грозной тенью истребителя львов. В зеленой тетради появляются наброски контуров будущего образа тарасконского буржуа: «великого» и смешного, «величественного» и ничтожного. С этого времени писатель становится как бы летописцем, историком «непревзойденного тарасконца», провансальского Дон Кихота,— так одно время думал Доде назвать свой роман.

Этот близорукий человек, про которого иные склонны были говорить, что он бредет по жизни словно слепец, обладал особым внутренним зрением. Близорукость физическая восполнялась зоркими глазами души, писательской наблюдательностью.

Записи Доде подчас касаются самых неожиданных сторон

характера прототипа, он фиксирует все, что может ему потом пригодиться, вплоть до жестов и особенностей голоса. И все же это была только предпосылка; образ, в котором был бы трансформирован весь накопленный материал, пропущенный сквозь «фильтр» вымысла, — еще предстояло создать.

Три месяца колесили по Алжиру Доде и его кузен. Забыв предписания врачей о покое (из их наставлений он выполнял лишь одно — всюду возил с собой бутылку рыбьего жира), писатель следовал за своим неугомонным спутником, «преданный ему, как верблюд из моей повести». Отважных путешественников не поглотил песок пустыни, не растерзали смертоносные клыки атласских хищников. Доде запомнились базары Алжира с запахом мускуса, амбры, розового масла и теплой шерсти; караван-сарай, лай собак в нищих деревушках, вой шакалов в долине, стада и перекличка пастухов. Запомнился ему и другой Алжир — страна, где народу прививают пороки «цивилизованного общества», где царит произвол чиновников колониальной администрации и арабские шейхи торгуют интересами населения, где одни живут в довольстве и изобилии, в то время как другие мрут с голода и вырывают у собак объедки с господского стола.



Низко склонившись над письменным столом, Доде как всегда быстро набрасывает первый вариант, не заботясь об отделке фраз, стиля. Этому он посвящал вторую часть работы над рукописью. И хотя не любил этап переписки, противный его натуре импровизатора, тем не менее уделял ему много времени и старания. Но главным для него было набросать вчерне главы, окружить себя живыми образами, разместить их, установить фундамент будущей книги.

Окна кабинета закрыты темными шторами. В комнате шкафы с книгами. На видном месте любимые хозяином — Шекспир, Вольтер, Гюго. У окна — большое бюро — рабочий стол писателя. Так выглядит его кабинет сегодня. По всему видно — это жилище человека, не знающего недостатка, человека, познавшего жизненный успех. А ведь когда-то ему не на что было приобрести свечу, при свете которой он мог бы работать ночью, делать наброски на больших листах белой бумаги. В те годы он трудился неистово, целые ночи напролет, в том лихорадочном возбуждении, которое обыкновенно сопровождает вдохновение. И в последующие годы Доде отличался поразительной работоспособностью. Его трудовой день начинался в четыре часа утра и длил

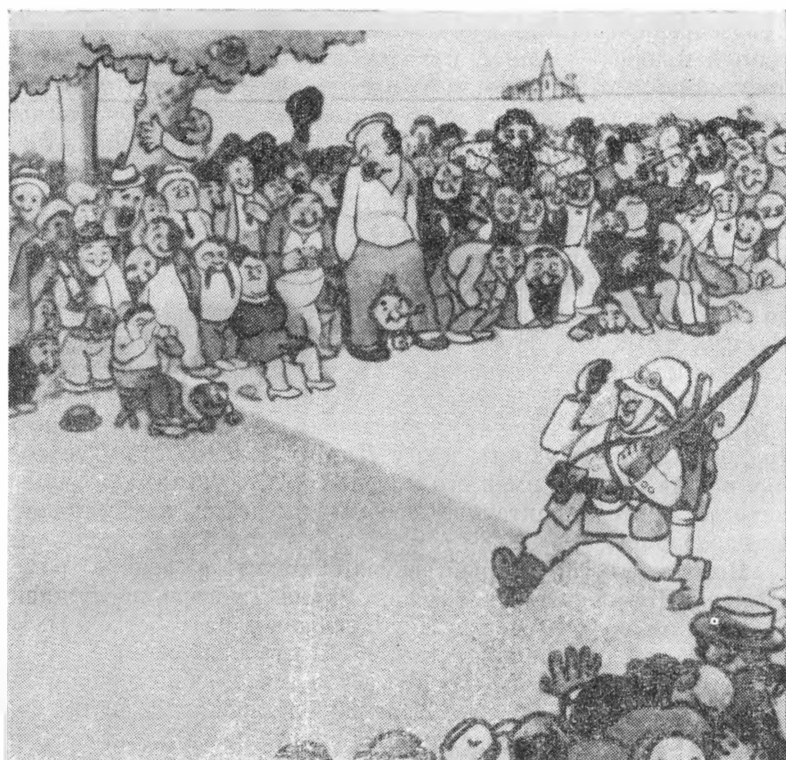
ся с некоторыми перерывами до полуночи. В общем, он был «прикован к своей тачке» двадцать часов в сутки.

Было время, когда кабинетом ему служила крошечная коммодатка. В ней стоял соломенный стул и маленький столик на высоких, похожих на ходули, ножках. Столик доходил Доде до подбородка, чтобы ему, при его близорукости, было удобно работать. Однажды кабинетом для него стала прозрачная заводь в тени старой ивы, а скрещенные весла — письменным столом. В ту пору он еще не болел ревматизмом и мог работать в лодке в десяти километрах от Парижа, вверх по течению Сены. Уже тогда у него родилась привычка делать заметки, записывать свои наблюдения, вплоть до собственных снов. В те счастливые дни он только начинал свой путь и ему еще предстояло создать большинство из своих книг — их потом назовут «чудом искусства», а его самого «одним из отважнейших», ибо творения Доде громче многих возвышали голос сострадания и справедливости — книг мрачных, жестоких, полных горечи, но книг и веселых, преисполненных веры в человека, в силу его разума. Пожалуй, точнее всех скажет о нем Э. Золя: «В его распоряжении две великие силы: слезы и ирония, — писал он. — Тем и живы его книги: они рыдают над малыми сими и хлещут бичом злых и глупцов».

Мало кому, однако, известно, как тяжело ему дается каждая из этих книг — ведь он пишет, преодолевая страшную физическую боль. Временами отказывает правая рука — дает себя знать застарелый ревматизм; большой желудок валит его в постель; невыносимые мучения доставляет болезнь спинного мозга. В эти моменты самое лучшее отвлечься, забыться. И тогда, пересиливая боль, он старался поработать над тем, что повеселее, позабавиться своей иронией над Тартареном.

Тридцать лет Доде не расставался со своим героем. За это время Тартарен совершил путешествие не только в Африку, он побывал в Альпах («Тартарен на Альпах»), а потом переселился вместе со всеми своими земляками тарасконцами на один из островов далекой Полинезии («Порт-Тараскон») и превратился в его превосходительство Тартарена, губернатора, кавалера ордена Первой степени.

Среди листов бумаги и книг, громоздящихся на рабочем столе Доде, лежит уже знакомая нам старая зеленая тетрадь. В ней собран настоящий гербарий жизненных типов. Тартарен — один из них. Роман о нем появился отнюдь не сразу по возвращении писателя из Алжира. В начале, на основе записей в своей тетради, Доде создал несколько очерков о поездке. А вскоре в середи-



Триумфальное возвращение Тартарена в Тараскон. Рисунок французского судожника Дюбу.

не июня 1863 года, газета «Фигаро» напечатала его новеллу «Шапатен — истребитель львов» — о приключениях тарасконского мещанина, фанфарона и бахвала в Африке. В этом небольшом, остроумном рассказе кузен Рейно уже приобрел черты будущего Тартарена. Однако писатель увидел, что веселый сюжет его рассказа можно развить дальше и что у него для этого предостаточно материала.

Писалось ему легко, весело. Часто из кабинета доносился напев какой-нибудь народной провансальской песенки, слышался смех.

Мастер импровизации, Доде считал и своего «Тартарена» книгой-импровизацией. Ее особенность он видел прежде всего

в своеобразной манере, в ее молодости, в том, что она полна жизненной правды — южной правды, уточнял писатель, — которая преувеличивает, но никогда не лжет. Доде стремился к точному, почти документальному изображению жизни. Роман — это история людей, говорил он. Писать о тех, кто никогда не найдет себе историка — это ли не долг художника. И признавался друзьям, что без стеснения начинает свои книги всем, что дают ему жизненные наблюдения. Из-за этого с ним повздорили не только кузен Рейно, но и вся родня. Зная эту его склонность, репортеры с особым старанием разыскивали прототипов его героев. Дошло до того, что были изданы даже «ключи» к романам Доде — списки известных лиц, якобы изображенных в них. Впрочем, нередко и сами «герои», обиженные тем, что их вывели на страницах книги, поднимали буквально вой, сбывая автора в преднамеренном оскорблении. Причем, прототипам часто действительно нетрудно было себя узнать, ибо у Доде была слабость — сохранение в ряде случаев имен его моделей. В собственных именах он находил нечто характерное, особый отпечаток, напоминающий их владельцев.

Подлинный печальный случай лежит в основе романа «Джек». Историю тяжелой жизни Рауля Дюбьера, послужившего прообразом Джека, писатель услышал из собственных его уст. Простой крестьянин, наживший огромный капитал, Франсуа Браве, по прозвищу «Набоб», стал героем одноименной книги, по поводу которой, как и предвидел Доде, был поднят большой шум. Скандал, разразившийся вокруг известного академика Мишеля Шаля, ставшего жертвой мошенника-мистификатора, Доде положил в основу романа «Бессмертный», где маститый ученый был выведен под именем Астье-Рею. Многие типы книги «Фромон-младший и Рислер-старший» — «жили, живут, может быть, и теперь». К ним относился и безжалостный, эгоистический старик Гардинуа, хороший знакомый писателя, которого он не мог не срисовать, несмотря на то, что сердечно любил его; и Рислер — рисовальщик на фабрике отца, и бывший актер Делобель — все они были списаны «прямо с натуры». Иные образы, созданные Доде, слагались из отдельных черт, взятых у разных лиц. Формула их создания включала в себя тонкую дозировку правды и вымысла.

Но и в этих случаях находились читатели, которые усматривали сходство между собой и героями Доде.

Нума Руместан — образ, который, как п Тартарен, был извлечен из знаменитой зеленой тетради, сложился из черт, принадлежащих разным людям. Однако Нума Бараньон, земляк



Отважный Тартарен встречает гостей при въезде в город: «Добро пожаловать в Тараскон».

писателя, бывший едва ли не министром, обманутый сходством имен, узнал себя в Нуме и поспешил выразить свой протест. Грозил неприятностями и родственники к тому времени умершего герцога де Морни, обнаружившие довольно точно сходство с ним в образе де Мора на страницах того же романа «Набоб».

Чуть было не дошло до суда и в случае с романом «Тартарен из Тараскона».

Подыскивая имя для своего героя, Доде последовал совету одного приятеля и нарек истребителя львов Барбареном. Книга так в начале и должна была называться «Барбарен из Тараскона». Автора, как он признавался,

привлекло в этом имени два раскатистых «р», что делало его очень запоминающимся. Под этим именем герой появился и на страницах газеты «Фигаро», где с февраля по март 1870 года публиковалась вторая часть романа (первая, без подписи автора, появилась годом раньше в газете «Пти Монитор»).

Каково же было удивление автора, когда он получил угрожающее послание от проживающего в Тарасконе почтенного семейства Барбаренов! Надо же было случиться такому!

Доде знал людей с такой фамилией в Эксе и Тулоне, но то, что их однофамильцы окажутся и в Тарасконе, — это, что ни говори, предвидеть было трудно.

Тарасконские Барбарены угрожали Доде судом, если он не вычеркнет их имени из этого оскорбительного фарса. Питая инстинктивный страх к судам и правосудию, шутил Доде, он согласился заменить имя Барбарен Тартареном. Делать это пришлось срочно, уже по корректуре первого книжного издания, увидевшего свет в 1872 году.

Строчка за строчкой писатель просматривал листы верстки, изгоняя букву «б». И все же в спешке некоторые из букв тогда так и остались неисправленными.



Целое столетие минуло с тех пор, как герой Доде начал свою жизнь на страницах знаменитой книги. Но и пришел он сюда из жизни, будучи народным типом, которого, как говорил Анатоль Франс, все знают и который всем близок, ибо он потомок героев веселых народных легенд.

Память о Тартарене, как о некогда действительно существовавшем провансальце, до сих пор живет среди его соотечественников. Такова сила подлинного искусства.

Рожденный гениальной фантазией писателя рыцарь печального образа Дон Кихот и терзаемый сомнениями Отелло, мятежный Карл Моор и благородный Жан Вальжан, вкрадчивый Чичиков и решительный Павел Бласов — со временем перестают быть книжными персонажами, они становятся для будущих поколений реальными людьми, которые некогда жили на земле.

Доде в полной мере обладал волшебным даром — творить живые существа. Он мог силой своего литературного могущества, силой правды, силой своего воображения создавать типы, которые потом бродят среди людей независимо от творца. Их встречают на улице, сталкиваются с ними в домах, их узнают всюду и называют по имени.

В таких случаях, признавался Доде, его охватывал трепет, трепет гордости, какую испытывает спрятавшийся в толпе отец, когда аплодируют его сыну и когда каждую минуту хочется крикнуть: «Это мой мальчик!»

В наши дни тарасконцы, давно позабыв о своей вражде к автору книги, некогда ослабившей их городок, ревностно чтят память своего земляка Тартарена. Бесславие в прошлом ныне для них обернулось славой, а с ней вместе и неожиданными доходами — туристы народ щедрый, в особенности если уметь подсунуть им сувенир в виде статуэтки знаменитого охотника за фуражками, предложить «меню а ля Тартарен» или место в кемпинге «Тартарен-пляж».

Можно ли встретить среди сегодняшних тарасконцев потомков их прославленного земляка? Вполне возможно. Только ныне он предстанет перед вами в облике автомеханика в клетчатой кепке и расстегнутой рубашке, или это будет аккуратно одетый продавец из соседней лавочки, а возможно, наряженный в униформу служащий из отеля «Терминус». Сегодняшний Тартарен не охотится на львов, он торгует, заправляет машины, обслуживает клиентов. По субботам он не грезит о дикарях, а идет в кино, следит по телевизору за мотогонками или смотрит футбол. Он не поет больше романсов, он слушает пластинки Шарля Аз-

навура. Словом, Тартарен больше не Тартарен. И все же он еще жив. В характере провансальцев, в сочетании у них фантазерства и здравого смысла, доверчивости и самоуверенности, добродушия и себялюбия.

Сегодня возможно и другое: встреча с самим Тартареном. В честь его тарасконцы каждое лето проводят праздник. Впрочем, праздник существовал издавна и был посвящен деве Марте, по преданию, победившей страшное чудовище Тараска (отсюда и название городка), похищавшее местных красавиц.

Во время праздника можно встретить на улице и Тартарена. Это один из горожан, наряженный и загримированный под книжного героя. Говорят, чаще других в этой роли выступает местный мороженщик. В окружении веселой толпы он шествует по Тараскону, направляясь к футбольному полю, где демонстрирует свое мастерство стрелка по фуражкам. А вечером, когда тарасконцы соберутся в кафе, будут пить вино и танцевать, вы опять встретите Тартарена. Вокруг него снова народ, слышится смех — оказывается, наш герой, верный себе, хвастает победой над Тараской. Ничего не поделаешь, таков уж характер у этого тарасконца.



ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ
ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ

Вот уже более полувека на лондонский почтамт поступают письма, которые никогда не доходят до адресата. И хотя на конвертах четко обозначен адрес: Бейкер-стрит, 221-б, а содержание писем говорит о том, что их авторы обращаются, как им кажется, к вполне реальному лицу, вручить корреспонденцию, тем не менее, не удастся. Человек, которому адресованы многочисленные эти послания с просьбой помочь в беде, распутать сложное уголовное дело, найти виновника — никогда не существовал. Но таковы традиции старой Англии — письма регулярно доставляются исполнительными лондонскими почтальонами по указанному адресу на имя... Шерлока Холмса.

Говорят, то, что может придумать жизнь, не в состоянии вообразить ни одна даже самая пылкая фантазия. Однако иная выдумка оказывается долговечнее правды. Таков Шерлок Холмс — сыщик, созданный в конце прошлого века воображением писателя Конан Дойля.

Следует, впрочем, заметить, что ни одно письмо, адресованное литературному герою на Бейкер-стрит, где по воле писателя он якобы жил, не остается без внимания: английская вежливость требует соблюдения правила — «всякое письмо заслуживает ответа». Обязанность отвечать на почту «великого сыщика» взяла на себя страховая компания, разместившаяся в доме на Бейкер-стрит. Ни швейцар, принимающий почту, ни курьер, доставляющий ее в отдел писем компании, нисколько не бывают удивлены столь необычной корреспонденцией. Возможно, они, как и авторы писем, в глубине души даже верят, что знаменитый Шерлок Холмс жил в этом доме и отсюда отправлялся на поиски преступников. Скажете нет? А почта? Столько лет люди, много людей, верят в реального сыщика! Может быть, он и сейчас вынужден скрываться от какого-нибудь коварного и страшного преследователя? И ответы отдела писем страховой компании: «При всем уважении к вам мы более не в состоянии передать г-ну Холмсу ваше письмо», или «Полагаем, что вам следует узнать: г-на Холмса уже нет среди нас», — это всего лишь уловка, очередной трюк изобретательного детектива. Словом, как пишет английский журнал «Зис уорлд», «убедить поклонников Шерлока Холмса в том, что их героя никогда не существовало, невозможно», для них он самый что ни на есть реальный персонаж.

Попробуйте доказать им, что Шерлок Холмс — вымышленный образ. В ответ поклонники Холмса приведут столько аргументов, что невольно встанешь в тупик. И действительно, возможно ли, чтобы о литературном герое появились, скажем, такие исследования, как «Частная жизнь Шерлока Холмса»,

«Шерлок Холмс и музыка» или «Шерлок Холмс и химия»? Разве есть музеи, посвященные книжным героям? А между тем, в одном только Лондоне существует несколько таких мемориальных комнат-музеев, где вам вполне серьезно будут доказывать, что здесь обитал прославленный сыщик.

Приходилось ли кому-нибудь слышать о том, что в честь литературного персонажа создавались журналы и даже целые организации его имени. Однако в Лондоне есть «Общество Шерлока Холмса», выходит журнал «Бейкер-стрит джорнел», в Америке — общество «Добровольцы Бейкер-стрит», «Клуб Пестрой ленты» и еще множество других союзов и клубов, носящих имя великого сыщика или названия его рассказов.

Нашлись современные «холмсоведы», которые утверждают, будто автором всех приключений Шерлока Холмса был не Конан Дойль, а не кто иной, как сам доктор Уотсон. Две же новеллы якобы принадлежат самому Холмсу, так же как и многочисленные труды по криминалистике, музыковедению и пчеловодству. Дотошные «холмсоведы» сделали не одно подобное сенсационное открытие, раскопали множество «фактов» биографии сыщика. О том, например, что он был знаком с известным писателем Льюисом Кароллом, автором знаменитой сказки «Алиса в Стране Чудес», что он встречался со многими другими выдающимися людьми своего времени и что умер сравнительно недавно, прожив более ста лет. Известна будто бы даже точная дата, когда это случилось, — шестого января 1957 года.

А вот еще один пример. Газеты швейцарского города Лозанна сообщили, что 29 апреля 1968 года в местном университете состоится семинар на тему: «Вклад знаменитого сыщика Шерлока Холмса в развитие криминалистики». Из тех же газет можно было узнать, что в семинаре примет участие и сам знаменитый детектив.

Впрочем то, что это всего лишь шутка, не отрицали и самые пылкие поклонники Холмса. Тем не менее знакомую фигуру — высокого человека в крылатке и клетчатой каскетке с двумя козырьками — сзади и спереди — можно было часто видеть в те дни на дорогах Швейцарии. А если бы мы проследовали за ним в горы, то стали бы свидетелями отчаянной схватки над пропастью, борьбы не на жизнь, а на смерть двух заклятых врагов — Холмса и профессора Мориарти. Сцена, описанная в рассказе «Последнее дело Холмса», была воспроизведена с точностью до мельчайших деталей, даже человеческая фигура (кукла) была сброшена в пропасть Рейхенбах...

В этой веселой костюмированной игре, организованной Лоя-

донским обществом Шерлока Холмса и приуроченной к открытию очередного туристского сезона в Швейцарии, приняло участие около ста членов общества, наряженных в костюмы героев рассказов Конан Дойля. Роль самого Холмса, как сообщили газеты, была доверена председателю общества английскому дипломату сэру Полю Гор-Буту. Его жена выступила в образе Ирен Адлер, единственной, как известно, женщины, которая сумела смугить покой детектива. В его свите были и благородный доктор Уотсон и коварный Мориарти и многие другие. В эти же дни состоялась встреча Холмса с сыном писателя Конан Дойля тоже писателем Адрианом Конан Дойлем, который живет в замке Люсено, где им организован музей в честь «великого сыщика». Лондонский туман не проникает здесь в ваши легкие, но таинственная тишина, царящая вокруг, старые камни Люсено, его башни и глубокие лестницы пробуждают воображение и оживляют тени героев всевозможных приключений. Здесь, в горах, Шерлок Холмс бывал «при жизни». И теперь в замке ему отведена отдельная комната. В ней тщательно воспроизведены все «опознавательные знаки» знаменитой комнаты на Бейкер-стрит, где жил детектив. Она настолько точно воспроизводит обстановку и детали жилья Холмса, что если бы знаменитый сыщик мог бы, скажем, внезапно оказаться в этом своем кабинете, то вполне мог бы подумать, что очнулся, немного задремав над газетой. Продолжив осмотр комнаты со свойственной ему тщательностью и проницательностью, он нашел бы некоторые детали, которые отсутствовали в его кабинете. Например, стенд с первыми рукописями Конан Дойля. Из них он узнал бы, что первоначально автор дал ему совсем иное имя. В большом количестве тут представлены и письма на его имя, репродукции мемориальных досок, установленных в его честь в разных местах.

Попробуем пройти по местам литературного героя Шерлока Холмса. Для этого переене-



Шерлок Холмс. Одно из первых изображений знаменитого литературного персонажа. Рисунок Сиднея Пейджета.

семся в Лондон и совершим по нему небольшое путешествие. Начнем, пожалуй, с самого знаменитого — квартиры сыщика на Бейкер-стрит.

Полицейский квартала Бейкерлоо нисколько не удивится вашим словам: «Где находится дом Шерлока Холмса?» Он привык к подобным вопросам — множество людей отправляется на поиски знаменитого детектива. Но когда вы окажетесь на Бейкер-стрит, в двух шагах от музея восковых фигур мадам Тюссо, ваше положение несколько осложнится. Кирпичные дома как один похожи друг на друга. На помощь их жильцов не очень рассчитывайте. Все они решительно станут уверять, что именно в их доме Шерлок Холмс открыл свою контору. Доказательства? Всякий раз, пояснят вам одни, когда делают очередную экранизацию приключений сыщика, съемки происходят «у нашего дома». «Чепуха, — возразит владелец другого здания. — Вы читали рассказ «Пустой дом»? Тогда вспомните. Холмс и Уотсон оказываются в этих местах, и сыщик спрашивает своего спутника: «Знаете ли вы, где мы находимся?» — «Разумеется, на Бейкер-стрит», — отвечает Уотсон. «Совершенно верно. Мы находимся у Кэмден Хауз' То есть как раз напротив нашего дома». «Как раз напротив» это и есть, мол, дом, где жил Шерлок Холмс. Если же обратиться к швейцару дома № 221-б, то он вполне авторитетно заявит, что именно в этом доме протекала деятельность детектива. А вот и доказательство: в 1954 году здесь была восстановлена квартира двух приятелей и на стене дома укреплена мемориальная доска, которая подтверждает, что здесь с 1881 по 1903 год жил и работал знаменитый частный сыщик Шерлок Холмс.

Семнадцать ступенек (еще одно подтверждение того, что Шерлок Холмс жил здесь — однажды он поставил в тупик Уотсона, задав ему вопрос о количестве ступенек в их доме; по его подсчетам их было семнадцать) пройдены, и вы в кабинете господина Холмса и его друга доктора Уотсона. Представим себе, что на дворе зима, за окнами навис густой лондонский туман, едва пробиваемый газовыми фонарями. Доносится гул Сити, цокот лошади проезжающего мимо кабриолета, крики разносчика, звуки шарманки — шум, характерный для английской столицы конца прошлого столетия (сегодня этот шум воспроизводится с помощью магнитофона). Пять часов дня — время обычного чаепития — традиции столь же древней, как и сама Англия. Видимо, этим как раз и были заняты хозяева накануне нашего прихода. Об этом говорят чашки с недопитым чаем на столе, сахарница, молочник. Тут же на столе — отмычки, две револьверные пули.

Словом, тот беспорядок, который всегда вызывал неудовольствие у доктора Уотсона. По всему, однако, видно, что Шерлок Холмс и его друг вынуждены были в спешке покинуть свою квартиру. Причем, настолько быстро, что аккуратист Уотсон даже забыл положить свой стетоскоп в самшитовый футляр, тот самый, из-за которого шляпа доктора всегда торчала горбом (в те времена врачи носили свои стетоскопы под головным убором). Воспользуемся отсутствием хозяев и продолжим осмотр.

Тысяча и один предмет загромождает комнату. Всюду — в каждом углу и уголке можно обнаружить вещи, которые напоят внимательным читателям о приключениях, пережитых знаменитым детективом.

На великолепном викторианском камине, среди трубок, кистей с табаком, перочинных ножичков, луп и наручников можно увидеть небольшую безобидную на вид коробочку из слоновой кости. Однако именно она чуть было не убила Шерлока Холмса, о чем рассказано в «Умирающем детективе». В коробочке находилась иголка с ядом, которая выскакивала оттуда, стоило лишь приоткрыть крышку. Нельзя не обратить внимания и на персидскую тувлю, в которой «великий сыщик» хранил табак. А если заглянете в ведро с углем, то там, как вы и ожидали, обнаружите сигары. Прямо на полу разложена карта района Дортмунда — с ее помощью Холмс распутывал дело Баскервильской собаки. А вот и пистолет, найденный на краю пропасти Рейхенбах, потерянный во время схватки с хитрым профессором Мориарти. Рядом любимица Холмса «страдивари» — скрипка, на которой он так любил играть. Возле окна бюст Шерлока Холмса. Это копия того самого бюста, что описан в рассказе «Пустой дом». Оригинал, как вы помните, был разбит пулей полковника Морана. Хитроумный сыщик как всегда предугадал ход событий. Свой гипсовый бюст он поставил таким образом, что тень его была видна сквозь окно с улицы. Полагая, что это силуэт живого Холмса, Морап, спрятавшийся в пустом доме напротив, выстрелил и попал... в гипсовый бюст. Холмс и на этот раз счастливо избежал смерти.

Покнем уютный кабинет на Бейкер-стрит и отправимся дальше «по следам Шерлока Холмса». От Бейкер-стрит до Трафальгарской площади не так уж далеко. Цель нашего путешествия — соседняя с площадью узкая тихая улочка, в конце которой стоит четырехэтажное здание. Еще издали замечаешь вывеску со знакомым изображением сыщика. Сегодня здесь расположен бар Шерлока Холмса. Описание этого места не раз встречается в рассказах о нем. В гостинице, когда-то находившейся

в этом доме, Холмс часто останавливался со своим другом. Здесь висят портреты всех киноактеров, которые, начиная с 1908 года, играли роль сыщика в многочисленных фильмах о его приключениях (более ста двадцати). Представлена внушительная коллекция пистолетов Холмса и один, огромный, доктора Уотсона. Зловещие апельсиновые зернышки вызывают в памяти страшные события, описанные в рассказе «Пять апельсиновых зернышек». Пара наручников, принадлежавших инспектору Лестарду, образцы сигарного пепла, о чем Холмс написал целое исследование. Маска-морда собаки Баскервильей со светящимися зеленоватыми глазами. На втором этаже бара, за стеклянной перегородкой, в точности воссоздана обстановка комнаты на Бейкер-стрит. Тусклый свет керосиновой лампы. Плетеное кресло словно дожидается своего хозяина: домашние туфли, халат, трубки — словом, все «доспехи», без которых невозможно представить нашего героя. И когда смотришь на серую в клетку крылатку и каскетку, висящие за дверью, на забытый стетоскоп Уотсона, на все эти вещественные «доказательства» и «улики», кажется, что дверь вот-вот откроется и на пороге возникнут друзья, уставшие после изнурительных поисков убийцы, и миссис Хадсон бросится накрывать на стол.

И действительно, дверь открывается, и в бар входят детективы, любители пропустить стаканчик-другой после дежурства, которое они несут в расположенном неподалеку старом здании Скотланд-Ярда.

Говорят, что вступающие на службу полисмены считают своим долгом прийти сюда на поклон к Шерлоку Холмсу, великому литературному шефу их профессии.



Поистине удивительная судьба у иных литературных героев. Читатели свято верят в их реальное существование. К этим персонажам, как мы убедились, относится и бессмертный Шерлок Холмс. А это значит, что Артур Конан Дойль, создатель образа знаменитого сыщика, обладал редким даром творить живые существа, которые со временем перестают быть книжными персонажами, а становятся людьми, как говорил французский писатель Эдмон Гонкур, некогда действительно жившими на земле, отчего многим захочется поискать зримые следы их пребывания в этом мире.

Продолжим и мы поиски этих «зримых следов» пребывания Шерлока Холмса «в этом мире». И зададимся вопросом: кто был

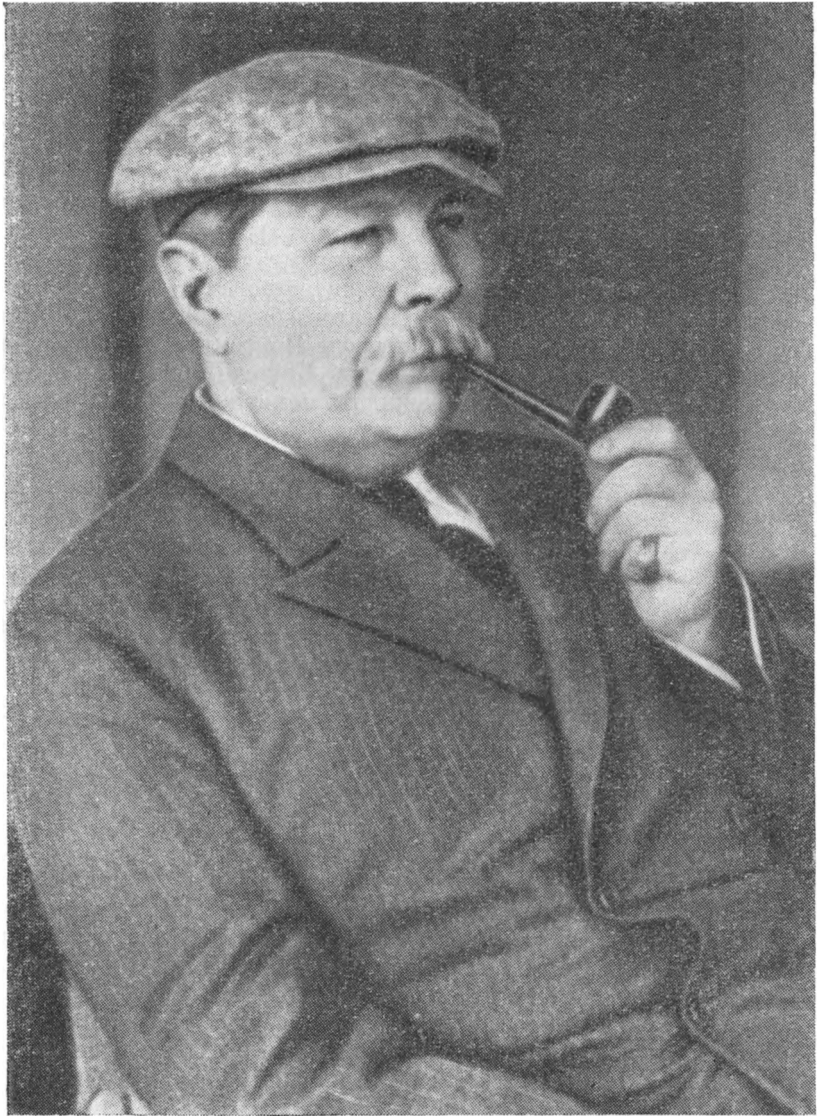
он? Существовал ли, как и его друг доктор Уотсон, в действительности?

Для этого надо обратиться к тому времени, когда молодой Конан Дойль, в будущем создатель столь популярного персонажа, жил в Эдинбурге, был студентом и думать не думал о том, что когда-то станет известным писателем, автором чуть ли не семидесяти томов романов, повестей и рассказов.

Среди выпускников медицинского факультета Эдинбургского университета 1881 года значилось и имя Артура Конан Дойля. Получив диплом врача, Артур, которому тогда было едва за двадцать, решил продолжать совершенствоваться на поприще медицины. Первым условием для этого была практика. И вот вскоре на одной из дверей в пригороде Портсмута появилась до блеска начищенная медная табличка: Конан Дойль, врач и хирург. Молодой доктор стал поджидать пациентов. Однако время шло, а посетителей можно было пересчитать буквально по пальцам. Напрасно начинающий медик с укором и мольбой поглядывал на фотографию своего учителя доктора Джозефа Белла, стоявшую у него на камине. Его учитель профессор Королевского госпиталя в Эдинбурге, пользовавшийся у студентов огромной популярностью, не в силах был ему помочь. И все же старый учитель пришел на помощь своему питомцу. Правда, помог он ему не в обеспечении клиентурой, а несколько в другом.

Все чаще в дни, когда на лестнице не раздавался стук башмаков поднимающегося пациента и стетоскоп одиноко лежал в сторонке на столе, Конан Дойля можно было застать с пером в руке. Предположение, что доктор выписывает рецепт, оказалось бы ошибочным. Конан Дойль пробовал силу своего пера в ином — в литературе.

Еще в университете он увлекся рассказами американского писателя Эдгара По, родоначальника детективного жанра. Герой Э. По сыщик Дюпен с его методом дедуктивного мышления и логическим анализом напоминал чем-то Джозефа Белла, его метод изучения личности пациента. В этом смысле профессор был феноменальной личностью, во многом превосходя героя Э. По. Он часто поражал студентов, в том числе и своего любимого ученика Конан Дойля, необыкновенной проницательностью, умением исключительно по внешнему виду человека не только поставить диагноз, но и прочитать по выражению лица, глаз, по одежде и обуви его биографию, рассказать о нем то, чего, казалось бы, никак нельзя было предугадать при первом взгляде. Что касается взгляда Белла, то он словно рентгеновские лучи



Артур Конан Дойль.

проникал внутрь пациента. Профессор с непроницаемым лицом ставил диагноз еще до того, как больной успевал раскрыть рот. Это производило ошеломляющее впечатление, вспоминал позже Конан Дойль. Казалось чем-то сверхъестественным. А между тем, уверял Белл, все дело было лишь в наблюдательности, в умении анализировать и делать логические выводы. «Пускайте в ход силу дедукции», — часто повторял он. И демонстрировал свой метод «расшифровки» на примере. Однажды его пациентом оказался отставной военный. Внешне ни что не говорило об этом. Напротив, больной выглядел вполне обычно, никаких особых бросающихся в глаза признаков, которые помогли бы сказать о нем что-либо определенное. «Но это совсем не так, — восклицал Д. Белл. — Всмотритесь внимательнее. Разве вы не видите, что это сержант шотландского полка, недавно, впрочем, демобилизовавшийся. До этого он служил на Барбадосе...» И, как бы отвечая на недоуменные взгляды учеников, пояснил: «Войдя в кабинет и весьма любезно поздоровавшись, этот человек, тем не менее, не снял шляпу. Это говорит об армейской привычке. Далее, у него явное шотландское произношение и манера держаться низшего чина. К тому же он страдает элефантизмом — болезнью, распространенной в Вест-Индии...»

Это было поразительно, вспоминал писатель, и как ни странно, Д. Белл редко ошибался.

Свой дедуктивный метод Белл старался привить и ученикам. Для многих из них сравнительно молодой еще тогда профессор был кумиром и беспрекословным авторитетом. Эту его репутацию укрепляли и другие качества характера Белла, а также его скромный образ жизни и поступки. Было известно, что Белл был потомком пяти поколений шотландских хирургов. Начинал он простым санитаром, в двадцать один год, едва окончив университет, имел медицинскую степень, а в двадцать шесть читал уже лекции, не забывая, однако, и о практике. Как врач он отличался глубокими знаниями и смелостью. Не раздумывая, он высосал однажды пленки из горла у ребенка, больного дифтеритом. Болезни ему избежать удалось, но голос после этого был поврежден на всю жизнь.

Самое же, пожалуй, удивительное состояло в том, что молва о способности Джозефа Белла разгадывать тайны человеческих заболеваний приводила к нему пациентов совсем по другим поводам. К нему стали обращаться при сложной ситуации, искали его совета, просили помочь распутать жизненный клубок, проникнуть в ту или иную загадку. Нередко к его помощи прибега-

ла и местная полиция, где Д. Белл значился как сыщик-консультант. Это давало возможность проверить его метод в другой области — в криминалистике. Однако несмотря на то, что Белл почти двадцать лет сотрудничал с полицией и помогал в расследованиях своему приятелю профессору судебной медицины и полицейскому врачу Генри Литтлджону, он оставался всего-навсего лишь бескорыстным сыщиком-любителем. Что касается его метода, то и в уголовном деле он принес блестящие результаты — на счету Белла было не одно раскрытое преступление, а память хранила множество случаев из уголовной хроники.

Не удивительно, что молодой ассистент Конан Дойль запомнил своего любимого учителя на всю жизнь, стал поклонником и последователем его метода.

В дни вынужденного бездействия, когда не было пациентов, Конан Дойль трудился над листом бумаги. Начал он с коротких записей — поиска имен и отрывочных набросков. «Ормонд Сэкер из Судана». После недолгого раздумья Конан Дойль зачеркивает последнее слово и пишет: «Из Афганистана. Живет на Бейкер-стрит, 221-б». Нет, имя не подходит. «Шеринфорд Холмс...» — пожалуй лучше, так зовут известного игрока в крокет. «Законы логического доказательства. Замкнутый молодой человек с мечтательными глазами — философ — собиратель редких скрипок», «химическая лаборатория», «я — детектив-консультант». Это должен быть сыщик иного, можно сказать, высшего типа, более умный и талантливый, чем Дюпен, обладающий острой наблюдательностью, умеющий видеть и при помощи анализа и дедукции делать единственно верный вывод. О преступлениях, раскрытых этим вымышленным сыщиком, он и будет рассказывать. Вернее, не о раскрытых преступлениях — не это будет главным в его повествовании; а о приключениях человеческой мысли, которая раскрывает преступления. Задача Конан Дойля облегчалась тем, что в его памяти сохранялась почти готовая живая модель его будущего героя.

С фотографии на камине смотрели пронизательные глаза худощавого, казавшегося немного угрюмым, человека с ястребиным профилем и угловатыми острыми плечами. Незаурядная внешность Джозефа Белла, его резкая походка и высокий пронзительный голос напомнили Конан Дойлю о сыщике Дюпене. Она пользовались одним и тем же методом дедукции при раскрытии преступлений. Но в образе Дюпена, как казалось Конан Дойлю, далеко не исчерпаны все возможности. Более того, в одном из своих будущих рассказов он скажет о Дюпене, что

это сыщик, наделенный аналитическим талантом, но отнюдь не такой гений, каким воображал его творец Э. По. Это только набросок образа, а сами рассказы, где действует этот герой, — лишь предвестники целого жанра в художественной литературе, которая получит название детективной.

Конан Дойль не отрицал, что старый учитель Джозеф Белл послужил прототипом его героя. Напротив, считал, что ему здорово повезло, ибо в жизни нашелся прообраз его будущего героя. Правда, вскоре после смерти писателя, сын Адриан решил опровергнуть слова отца. Он полагал, что наличие прототипа умаляет заслугу автора в создании знаменитого литературного персонажа. Тогда дочь Д. Белла представила письма писателя ее отцу. В них черным по белому говорилось о том, что Холмс во многом списан с профессора Белла.

После этого Адриану Конан Дойлю ничего не оставалось, как признать на страницах эдинбургской газеты «Ивнинг ньюс», что «Шерлок Холмс только литературный слепок доктора Белла».

Даже внешне Конан Дойль сделал своего героя похожим на бывшего учителя. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на фотографию эдинбургского профессора: очень худой, с острым, пронизывающим взглядом серых глаз, тонкий орлиный нос, энергичное выражение лица.

Однако, чтобы создать образ сыщика, мало было описать его внешность. Требовалось показать его в действии, продемонстрировать силу метода, которым он пользовался при раскрытии преступлений. А для этого нужны были не только познания в технике полицейского розыска, но и знакомство с материалом, то есть с фактами уголовной хроники, которые питали бы фантазию автора. И в этом Джозеф Белл оказал писателю немалую услугу. Еще во время учебы в Эдинбурге, Конан Дойль не раз слышал рассказы Д. Белла о тех преступлениях, в раскрытии которых ему доводилось участвовать. Одна из таких историй, вспомнившаяся ему, собственно, и навела его на мысль о создании образа сыщика, наделенного необычным талантом анализа и дедукции. Но и после того, как Конан Дойль стал уже писателем, он нередко обращался к Д. Беллу с просьбой «подбросить» материал для рассказов, прислать что-нибудь «шерлокхолмсовское». И Джозеф Белл никогда не отказывал в помощи своему ученику. Он подробно излагал обстоятельства какого-либо дела, давал ценные советы, иногда подсказывал сюжет.

В Эдинбурге были уверены, что Джозеф Белл — прообраз ставшего очень скоро знаменитым сыщика — творения Конан

Дойля. Сходство это уловил и Р. Л. Стивенсон. С далекого острова Самоа, где он тогда жил, автор «Острова сокровищ», сам уроженец Эдинбурга, спрашивал в письме у Конан Дойля по поводу образа сыщика: «Уж не старый ли это мой приятель Джо Белл?» На что получил утвердительный ответ.

Скромный, застенчивый профессор в душе гордился тем, что послужил моделью для литературного собрата. Радовало и то, что благодаря Шерлоку Холмсу его метод получил такую широкую популярность.

Джозеф Белл не отрицал сходства между ним и Шерлоком Холмсом и даже высказывался на этот счет в печати, признавая в методе книжного героя своего последователя. Но тот же Джозеф Белл указывал еще на одного прототипа знаменитого сыщика.

Кого же подразумевал Д. Белл в качестве прообраза Шерлока Холмса? С присущей ему наблюдательностью он усматривал глубокое родство между литературным персонажем и самим автором. «Вы и есть настоящий Шерлок Холмс!» — писал он своему ученику. И это была истинная правда. Чем же походил на своего героя его создатель? Отнюдь не внешним видом. Напротив, в этом, можно сказать, он был полной противоположностью. Высокого роста, плечистый, с широким лицом и добрыми усами — лицо скорее добродушного папаши, чем человека с острым умом и необыкновенной наблюдательностью. А между тем именно эти качества прежде всего роднили Конан Дойля со своим созданием — Шерлоком Холмсом.

«Его мозг, — пишет о писателе его сын Адриан, — был огромным складом знаний и фактов», он как никто владел методом дедукции и обладал способностью увязывать причину со следствием, точно ставил диагноз болезни по симптомам, умел видеть то, что ускользало от зрения других, словом, это был прирожденный детектив. Не отрицал этого и сам писатель. Он часто говорил о том, что внутри него живет «умный, зоркий детектив».

Чем больше Конан Дойль писал о Шерлоке Холмсе, тем больше развивались и его собственные способности к дедукции и тем сильнее становилось его косвенное и прямое влияние на криминалистику. К этому выводу приходят Майкл и Молли Хардвик — авторы недавно изданной в Лондоне книги о Конан Дойле (некоторые факты из нее использованы в этом очерке). Они считают, что образ знаменитого сыщика вобрал в себя многие черты характера самого автора. «Перелистывая страницы рассказов о Шерлоке Холмсе, — пишут они, — и просматривая

всю жизнь Конан Дойля, мы все больше убеждались в глубоком сходстве между автором и его героем». Сходство это можно обнаружить не только в привычке, скажем, работать в одиночестве, закутавшись в старый халат, не в курении трубки, наконец, даже не в том, что оба проводили химические опыты, держали в беспорядке бумаги и у обоих на столе лежали лупа и пистолет. Самое главное состояло в том, что оба они, и Конан Дойль и Шерлок Холмс были выдающимися криминалистами, оба, как и Джозеф Белл, блестяще пользовались методом дедукции, умели логически мыслить и обладали острой наблюдательностью. Писатель сам признавался, что не однажды ему удавалось методом Холмса решить проблемы, которые ставили в тупик полицию. Это случалось всякий раз, когда профессиональная полиция оказывалась не в силах распутать какое-либо сложное дело и вынуждена была прибегать к его помощи, как обращались за помощью к Джозефу Беллу и Шерлоку Холмсу. И тогда всемирно известному писателю приходилось откладывать перо литератора и брать в руки лупу сыщика. Метод его героя действовал безотказно — Конан Дойлю удалось раскрыть не одно запутанное преступление. Его репутация в этом смысле приобрела такую известность, что к нему стала обращаться с просьбами полиция других стран. Египетские, американские и французские детективы изучали его метод, систему поисков мельчайших улик. Известный криминалист Э. Локар считал Конан Дойля «поразительным ученым-исследователем».

Походил Конан Дойль на своего героя и еще в одном. Подобно «отшельнику с Бейкер-стрит», Конан Дойль — сыщик-любитель, действовал, как правило, бескорыстно, лишь из благородных побуждений. «Великий детектив» руководствовался, как правило, одним — желанием помочь в беде, восстановить справедливость. Он никогда не употреблял свои способности в защиту неправого дела. А со злом он вступал обычно в опасную и часто неравную борьбу даже тогда, когда шанс добиться успеха равнялся нулю. И нередко, благодаря настойчивости и неутомимости, оказывался победителем.



Трудный 1906 год подходил к концу. Конан Дойль, недавно похоронивший жену, вот уже несколько месяцев не притрагивался к перу. Раньше он мог работать в любое время дня и где придется. Некоторые рассказы о приключениях Шерлока Холмса были, например, записаны во время дождя в павильоне около



*Майор Вуд, послуживший прототипом
доктора Уотсона.*

крокетной площадки. Теперь у него есть свой роскошный кабинет, все располагает к творчеству — тишина, уютный стол, стопа бумаги... Но отсутствовало главное — вдохновение. Напрасно его бессменный секретарь майор Вуд, сорок лет проводивший рядом с ним и послуживший прототипом доктора Уотсона (в его обязанности входило просматривать корреспонденцию), с тревогой поглядывал на писателя. Казалось, источник могучего вдохновения в нем иссяк. Молчаливый, угрюмый, Конан Дойль шагал по комнатам и дымил трубкой.

По сложившейся привычке, майор Вуд сортировал письма: наиболее важ-

ные, те, что могли заинтересовать писателя, откладывал в сторону. В тот день почта не принесла ничего особенно ценного. Лишь на одно письмо обратил внимание майор Вуд. В конверт был вложен газетный отчет о деле некоего Джорджа Эдалджи и его письмо.

Прочитав письмо с мольбой о помощи, Конан Дойль, подобно его герою, «вынул трубку изо рта и выпрямился в кресле, встрепенувшись, точно борзая при звуках охотничьего рога». С этого момента целых восемь месяцев писатель занимался исключительно делом Эдалджи. В чем же оно состояло? И с кем пришлось бороться писателю, защищая невинного и отстаивая справедливость?

Когда Конан Дойль брался распутывать какое-либо дело, он обычно, как и его герой, на два-три дня исчезал в своем кабинете: только в обстановке полного одиночества он способен был размышлять, взвешивать, сопоставлять, анализировать. Одним словом, искать ключ к той или иной загадке. И в этот раз, ознакомившись с «делом близорукого индуса», как его иногда назы-

вают, писатель скрылся в кабинете, отбросив все другие мысли и заботы.

Молодой юрист из Бирмингама Джордж Эдалджи (отец его был индусом, то есть «цветным») обвинялся в том, что он регулярно с помощью бритвы убивал по ночам на полях скот. Улик оказалось достаточно, и Эдалджи был арестован, судим и приговорен к семи годам каторжных работ.

Напрасно друзья требовали пересмотра дела. Ничто не помогало — ни выступление газеты, ни петиция, подписанная десятью тысячами людей.

Правосудие оставалось глухим. И, не вникая в суть дела, довольствовались версией полиции. Расследование, произведенное ею, показало следующее.

С некоторых пор в шахтерском поселке близ Бирмингама повторялись странные случаи убийства животных. Анонимные письма, поступавшие в полицию, прямо указывали на преступника — Джорджа Эдалджи. Дождавшись очередного убийства, полиция, не раздумывая долго, арестовала виновника. При обыске у него нашли футляр с бритвами, сапоги и брюки, выпачканные свежей грязью, и старую куртку. На ней обнаружили несколько конских волосков (несомненно от убитого накануне пони) и два пятнышка крови животного.

Во время допроса Эдалджи заявил, что вечером в день преступления навещал знакомых, живущих неподалеку от района, где было совершено убийство.

Все, казалось, было против Эдалджи. И когда несчастного юношу везли в суд, толпа чуть было не растерзала его, напав на полицейскую карету.

Почти год Конан Дойль занимался расследованием, которое вел, кстати сказать, на свои собственные деньги. И когда ему стало ясно, что судим и приговорен был невинный человек, когда в его руках оказалось достаточно материала, опровергающего заключения полиции и решения суда, тогда он выступил в печати.

В начале января 1907 года в газете «Дейли телеграф» появилась первая статья Конан Дойля. Она вызвала сенсацию. Писатель клеймил позором действия местной полиции, обвинял ее начальника в расизме, обмане и бездарности. Мало того, опровергая пункт за пунктом доводы обвинения, он обрушивался в своих статьях на министерство внутренних дел, доказывал на примере с делом Эдалджи необходимость вести в Англии кассационный суд.

«Кто же истинный преступник? Назовите его, если вы знае-

те?» — проницески спрашивали писателя те, кто был уверен в правильности своих действий. И Конан Дойль с блеском, присущим его литературному герою, ответил на этот вопрос. Впрочем, помог ему в этом сам убийца. Он начал угрожать писателю. А тому только того и надо было. Запугать анонимными письмами было его нелегко, но то, что эти письма наведут рано или поздно на след, в этом он был убежден. Оставалось ждать. Наконец, пришло еще одно письмо. Оно-то и дало ключ к разгадке.

В этом письме убийца неосторожно упомянул имя директора одной местной школы. Не долго думая, Конан Дойль сел в кэб и отправился к нему с визитом. И здесь он выяснил, что у школьного директора тоже есть одно старое анонимное письмо, содержащее угрозы по его адресу. Оно-то, это письмо, и стало последним звеном в цепи улик, собранных Конан Дойлем. Оставалось выяснить, кто из учеников школы ненавидел директора, был известен своей подлостью и после школы служил на флоте (намекы на это содержались в анонимных письмах).

Сделать это было не так уж трудно. Выяснилось, что некий Питер Хадсон еще в школе был известен умением подделывать письма. Он же отличался тем, что вспарывал ножом диваны. После того как его исключили из школы, работал в мясной лавке, а потом плавал на судах, перевозивших скот.

Дальнейший ход рассуждений Конан Дойля достоин лучших логических заключений Шерлока Холмса. Писатель обратил внимание на то, что все раны, нанесенные животным, обладали одной особенностью. Это были поверхностные разрезы; они пересекали кожу и мышцы, но нигде не проникали во внутренние органы, что неизбежно при заостренном кончике ножа. Лезвие же ланцета имеет круглый выступ, оно очень острое и им можно делать лишь поверхностный надрез. «И я утверждаю, — заявлял Конан Дойль, — что большой ланцет для разделки туши, добытый Питером Хадсоном на корабле, перевозившем скот, — единственное оружие, которым могли быть совершены все эти преступления». Писатель мог с такой уверенностью говорить об этом, так как большой ланцет попал в его руки и был потом предъявлен в качестве улики.

А как же с доказательствами полиции? Откуда взялись ее улики, все эти конские волосы, бритвы, пятна крови на куртке и т. д.?

Ответ был прост. На бритвах не оказалось никаких следов крови, пятна на куртке были от недожаренного бифштекса. Что же касается конских волос, то они появились на куртке

ке после того, как полицейский завернул в нее шкуру убитого пони.

Логика рассуждений и система доказательства Конан Дойля, блестящий анализ событий, точность его дедукции помогли ему одержать победу. Министерство вынуждено было признать, что совершена ошибка. И три года спустя после ареста и заключения невинный был освобожден.

«Дело близорукого индуса» было прекращено (он был действительно очень близорук и это обстоятельство тоже стало аргументом в руках писателя), его реабилитировали, правда втихомолку, и даже восстановили в звании юриста.



Летом 1968 года на знаменитом лондонском аукционе Соутби было объявлено о продаже пяти писем Конан Дойля, посвященных так называемому делу Слэйтера. В связи с этим история полувековой давности вновь всплыла на страницах газет — на них замелькали старые потускневшие фотографии. И снова воздавалось должное Конан Дойлю — «рыцарю проигранных процессов» и «воскресителю разбитых надежд», как назвал в свое время писателя знаменитый криминалист Уильям Рафед.

Снова приводились слова благодарности невинно осужденного за то, что Конан Дойль разбил его оковы и выступил поборником истины и справедливости.

В этот раз, однако, для того, чтобы справедливость восторжествовала, Конан Дойлю потребовалось почти два десятка лет. Двадцать лет он вел борьбу с ложью за то, чтобы правда победила! И добился своего.

Оскар Слэйтер, осужденный по делу, как назвал бы его доктор Уотсон, «о бриллиантовом полумесяце» и обвиненный в убийстве, был реабилитирован и освобожден из тюрьмы после 19 лет заключения.

Это было, пожалуй, одно из самых трудных дел, которым пришлось заниматься Конан Дойлю. Причем, трудность его состояла не столько в доказательстве невинности осужденного, сколько в том, чтобы заставить блюстителей закона пересмотреть дело. На все требования о пересмотре неизменно следовал ничем не мотивированный отказ.

А между тем, стоило лишь вникнуть в аргументы, выдвигаемые Конан Дойлем, чтобы тотчас же убедиться в том, что Верховный суд на своем заседании в Эдинбурге в мае

1909 года допустил непростительную ошибку, осудив невиновного.

Писателю это стало ясно сразу же, как только он познакомился с делом.

Рассказ о нем доктор Уотсон начал бы приблизительно так: «Преступление, впоследствии названное делом о бриллиантовом полумесяце, было совершено в Глазго. Богатую вдову мисс Марион Гилкрайст нашли мертвой в своей квартире. Убийство было совершено вечером в то время, как служанка выходила купить газету. Когда спустя 15 минут она вернулась, то у дверей спальни хозяйки встретила незнакомца, который с улыбкой произнес: «Добрый вечер», — и спокойно удалился»...

Полиция установила, что убийство совершено было с целью ограбления, хотя все драгоценности остались нетронутыми. Убийца захватил с собой одну только бриллиантовую брошь в форме полумесяца. На то, что была вскрыта и шкатулка с документами, не обратили должного внимания.

Сыщики бросились на поиски «улыбающегося убийцы». И вскоре был задержан некий Оскар Слэйтер. Служанка опознала в нем таинственного незнакомца. Одной из улик против него послужило то, что он заложил какую-то брошь и спешно куда-то уехал. То, что его брошь ничуть не походила на брошь убитой, а также и то, что он отдал ее в заклад накануне убийства, отнюдь не смутило полицейского инспектора, ведущего расследование, умственные и профессиональные данные которого, видимо, были на том же уровне, что и у антагонистов Шерлока Холмса, бездарных полицейских инспекторов Лестарда и Грегсона.

Словом, стоило, как говорится, копнуть это дело поглубже, как здание, возведенное полицией, с треском рушилось.

Тем не менее следствие было подтасовано, свидетели запуганы, и суд больше походил на комедию, закончившуюся, правда, трагически — Слэйтера приговорили к смертной казни. Впрочем, позже ее заменили пожизненным заточением.

«Это страшная история, — писал Конан Дойль, — и, когда я прочел ее и понял всю ее чудовищность, я решил сделать для этого человека все, что в моих силах».

В ход пришлось пустить все средства, чтобы привлечь внимание общественности к позорному делу.

И вот в августе 1912 года появилась небольшая книжка Конан Дойля «Дело Оскара Слэйтера». В нем писатель приводил свои доказательства невиновности осужденного. Железная логика и точный анализ Конан Дойля с блеском опровергали доводы обвинения.

«Почему из всех драгоценностей была взята одна лишь брошь?» — задал бы вопрос доктор Уотсон. «Потому, — ответил бы ему Конан Дойль, — что преступника интересовали не бриллианты, а иные ценности. Их он и искал в шкатулке с бумагами. Брошь же была взята для того, чтобы сбить с толку полицию». Но какой документ пытался найти преступник?

На этот вопрос последовал ответ: завещание. Ведь мисс Гилкрайст была далеко не молода. Если так, то убийцу надо искать среди родственников жертвы.

Кстати, в этом случае становилось понятным и то, как преступник попал в дом, не имея ключа и не взломав двери. Старая мисс, у которой была привычка смотреть в глазок на посетителей, не задумываясь, пустила гостя. Был знаком он и служанке. Позже выяснилось, что она назвала его имя, но полиция предпочла замолчать это важное показание. Больше того, много лет спустя служанка призналась репортерам, что ее принудили дать ложные показания и даже специально репетировали то, как вести себя на суде.

Вывод Конан Дойля о том, что преступник был родственником убитой, подтвердился спустя несколько лет. Незадолго до смерти Конан Дойля в 1930 году настоящий убийца открылся сыну писателя.

Знаменитому автору приключений Шерлока Холмса, так же как и Джозефу Беллу, приходилось участвовать как детектив-любителю в расследовании и многих других дел. Однако раскрытие преступлений было далеко не единственным занятием, отвлекавшим Конан Дойля от письменного стола.

Писатель охотно направлял свою энергию, ум и талант криминалиста на раскрытие всевозможных иных тайн. Конан Дойль любил поломать голову над какой-либо загадкой, любил проникать среди бела дня сквозь «таинственную дверь» в странный, скрытый от глаз мир романтики. Как и его герой, он питал страсти ко всему необычному, ко всему, что выходило за пределы привычного и банального течения повседневной жизни. Сегодня писатель выступал в защиту ирландского патриота, обвиняемого в государственной измене, завтра, по просьбе Скогланд-Ярда, разгадывал загадку исчезновения среди бела дня Брикстонского экспресса — события, взволновавшего многие умы. Принимал участие в поисках так называемого клада лорда Морреская, оцениваемого в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Ломал голову над завещанием лорда, составленным весьма туманным образом и требовавшим изощренной дешифровки. Но ни Конан Дойль, ни Алан Пинкертон — глава

американского сыска, ни писатель, автор детективных историй Эдгар Уоллес, ни многие другие так и не смогли проникнуть в тайну завещания лорда Морреская.

С увлечением Конан Дойль следил за поисками другого сокровища — знаменитого «Павлиньего трона». Впрочем, не только следил, но и давал советы, высказывал предположения, направлял поиски.

Судьба «Павлиньего трона» и по сей день одна из самых загадочных историй.

...В конце июня 1782 года английский парусник «Гроусви-нер» покинул Бомбей и взял курс к берегам Англии. О грузе, который был в трюмах судна, знали немногие. Погрузка производилась в глубокой тайне, экипаж не был посвящен в суть дела. А оно, между тем, заключалось в том, что наряду с другими награбленными сокровищами англичане пытались на «Гроусви-нере» вывезти знаменитый «Павлиньи трон» — попавшую в алчные руки колонизаторов бесценную реликвию могольских царей.

По преданию, индийский правитель Шах-Джехан приказал своим придворным мастерам изготовить трон из драгоценных камней и золота. Как говорится в древней летописи, «ему пришла в голову мысль, что огромное количество редких драгоценностей, имевшихся в сокровищнице, лучше всего использовать на сооружение трона, на котором император восседал бы во все возрастающем сиянии».

Лучшие умельцы страны, привлеченные по распоряжению шаха к работе, семь лет трудились над созданием этого трона. На украшение его пошло множество бриллиантов и других драгоценных камней. Трон стоял на двенадцати опорах из изумрудов. Два павлина, усыпанные драгоценностями, как бы венчали спинку трона, а между ними — дерево с листьями из рубинов и жемчуга. В спинку был вделан огромный бриллиант, подаренный персидским владыкой Шах-Аббасом. По словам французского ювелира Тавернье, которому довелось осмотреть этот чудотрон в середине XVII века, он стоил не менее 6 миллионов фунтов стерлингов.

Долго восседать на роскошном троне Шах-Джехану не пришлось. Власть вместе с троном вскоре перешла к его сыну. А позднее, когда могущественный властелин персов Надир-Шах захватил Кабул — центр провинции империи Моголов, он направил в Индию Мохаммед-Шаху ультиматум. В нем, помимо требования о присоединении к Персии двух провинций, говорилось и о троне: «Я пришел, — заявлял Надир-Шах, — чтобы взять также из Индии в Персию известный трон Моголов».

С возмущением Мохаммед-Шах отверг притязания персов. Судьбу трона решило сражение, происшедшее спустя несколько недель на пенджабской равнине. Персы одержали победу. И первым их условием мира было требование о выдаче им «Павлиньего трона». Так трон Моголов попал к персам. Во время одного из походов Надир-Шах погиб в схватке с курдами. В этом бою ими был захвачен и трон. Что стало с троном потом? Об этом сообщил английский путешественник Фрейзер. Ему удалось узнать от одного старого курда, принимавшего участие в стычке с персами, что курды разбили трон, а части разделили между собой. Впрочем, существует и другая версия. Согласно ей, курды захватили не «Павлиний трон», а его искусную имитацию. Подлинный же трон якобы остался в полной сохранности. Целым и невредимым он попал к англичанам, которые и поспешили его переправить в Лондон.

Однако до места назначения паруснику «Гроувинер» дойти не было суждено. У скалистых берегов Восточной Африки судно попало в жестокий шторм и затонуло.

И по сей день находятся охотники достать затонувшие сокровища со дна морского. Но пока что все попытки были тщетными. Напрасными оказались и усилия Конан Дойля, проявлявшего большой интерес к этим поискам.



О Конан Дойле написано множество книг, но до сих пор нет полной его биографии. Может быть потому, что никому из исследователей не удалось получить доступ к архиву писателя. Литературное его наследство хранится в специальной комнате замка Льюсено. Здесь — рукописи, в том числе две обширные — «История великой войны» и «Великая англо-бурская война»; первые наброски, где герой-детектив еще носит имя Шерринфорд Холмс; шесть тысяч писем, из них полторы тысячи — к матери; различные документы, фотографии. Все эти материалы, оцениваемые в один миллион долларов, находятся под ревнивым наблюдением сына Конан Дойля. Ключ от комнаты с рукописями он всегда носит с собой.

Но если об авторе приключений Шерлока Холмса известно еще не все, то его герою в некотором смысле повезло гораздо больше. О нем известно буквально все. Исследования о Шерлоке Холмсе, как о вполне реальном лице, заняли бы целую полку.

Существует не одна полная «биография» сыщика, есть даже работы о его гонорах, отношении к природе и т. д.

Демократичность героя Конан Дойля во многом способствовала его популярности. Вынужденные жить в несправедливом мире насилия и зла, люди хотели верить в то, что благородный герой, всегда готовый прийти на помощь простым труженикам, живет где-то рядом, на Бейкер-стрит... И Шерлок Холмс стал для многих читателей живым, вполне реальным человеком. А может ли быть что-либо более лестное для писателя, чем то, что его книжный персонаж обрел живые черты, шагнул со страниц книги в мир и зажил самостоятельной жизнью.



Разыскания
и разгадки



ПО СЛЕДАМ
ГАМЕЛЬНСКОГО
КРЫСОЛОВА

Невдалеке от автострады, между Вюрцбургом и Ашаффенбургом, при раскопках фундамента старинного дома был найден обгоревший женский скелет. Профессор Альберт Вермелен, директор института антропологии Лейденского университета, осмотрев скелет, пришел к заключению, что женщина была сначала убита, а потом брошена в печь. По мнению профессора, это была динарского типа женщина, тридцати пяти лет, ростом 167 см, особых признаков и физических недостатков не имела...

Что это — выписка из полицейского протокола? Или отрывок из детективного романа? Ни то и ни другое.

В своей книге «Правда о Ганзеле и Гретель», изданной западногерманским издательством «Бармейер унд Никель», Г. Тракслер сообщил о сенсационном открытии. Оказывается, храбрый Ганзель и его сестренка Гретель из знаменитой сказки братьев Grimm, попавшие в руки злой ведьмы, не были невинными детьми. Напротив, отныне их следует считать жестокими и хладнокровными убийцами. Ибо, как рассказывает Г. Тракслер, это они триста с лишним лет назад умертвили бедную женщину, скелет которой был исследован профессором Вермеленом.

Кто была эта женщина и зачем ребятам понадобилось ее убивать? Но в том-то и дело, что это были вовсе не ребята, а злой и завистливый нюрнбергский кондитер Ганс Метцлер со своей сестрой Гретель. А женщина, останки которой были обнаружены при раскопках, — та самая ведьма из сказки, которая жила в пряничном домике. Таким образом, братья Grimm взяли подлинную историю, правда, несколько изменив ее.

Как удалось раскрыть давнее страшное преступление?

Отыскивать следы действительных событий, положенных в основу знаменитой сказки, отправился энергичный и упорный частный сыщик по имени Георг Осег. Розыск шел в нескольких направлениях: архивы, изучение предапий, раскопки. Тракслер оснастил свою книгу фотоснимками, планами местности, топографическими картами.

Частный сыщик установил, что «ведьму», жившую в пряничном домике, звали Катарина Шрадерин. Она родилась в 1618 году, мастерство изготовления пряников постигла на кухне Кведлинбургского аббатства. В колдовстве ее обвинил все тот же завистливый Ганс Метцлер, мечтавший завладеть рецептом изготовления медовых пряников. После того как процесс по обвинению Катарини в колдовстве закончился оправданием, она поселилась в домике на опушке леса. Рядом поставила четыре большие печи и продолжала выпекать свои пряники, не дававшие спокойно спать Гансу Метцлеру. Однажды ночью вместе

с сестрой он ворвался в дом и убил своего ненавистного конкурента...

Таков ход рассуждений автора. И по сей день, например, существует, по его словам, в округе «Ведьмин лес». На том месте, где, по предположению, должен был находиться дом Катаринны, обнаружили остатки колодца. Начав здесь раскопки, очень скоро наткнулись на фундамент дома, затем откопали четыре печи, а возле одной из них — скелет. Удачливому «археологу» удалось даже найти кусочки медовых пряников трехсотлетней давности, а в каменной кладке — злосчастный рецепт, послуживший причиной преступления. Тут же был подобран погнутый железный засов от двери, что неопровержимо свидетельствует, по убеждению автора книги, о насильственных действиях нюрнбергского кондитера и его сестрицы...

Впрочем, погнув железный засов, автор, пожалуй, уже перегнул палку. Неизбежно возникает вопрос: а не мистификация ли это? Нет, возразит Г. Тракслер, не мистификация, а только пародия. Учитывая интерес читателей к книгам о литературных разысканиях, издательство прибегло к трюку и выпустило эту забавную сказку о сказке, тем более что это сулило явную коммерческую выгоду.

Значит ли это, что вопрос о географически достоверном месте, где происходят события того или иного художественного произведения, не заслуживает внимания литературоведов? Нет, не значит. Сведения такого рода представляют интерес, поскольку нередко связаны с историей возникновения книги, рождения ее сюжета, «зерном» которого послужил реальный факт.

Существовала ли в действительности Белогорская крепость, описанная А. Пушкиным в «Капитанской дочке»? И если она не плод фантазии автора, то где находилась?

В том, что Пушкин описал подлинный городок времен Пугачевского восстания, убеждают многие факты. Увлечшись историей народного бунта, Пушкин, как известно, отправился в поездку по району, где за полвека до этого разыгрались драматические события пугачевщины. Поэт посетил многие места, прошел, как говорят, по следам минувшего. Побывал в Оренбурге, рылся в здешних архивах, расспрашивал очевидцев. Часть собранного материала была использована им при написании «Истории Пугачева». Другая часть, в том числе один эпизод героической эпопеи, «известный в Оренбургском крае», и особенно взволновавший Пушкина, был положен в основу «Капитанской дочки». «Роман мой,— писал он,— основан на предании, некогда слышанном мною...» Во время этой поездки, осенью 1833 года,

А. Пушкин посетил Уральск, который ранее именовался Яицким городком. Он-то и послужил прототипом Белогорской крепости. Подтверждение этому мы находим при сопоставлении текстов «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки».

Так определяются границы места действия пушкинской повести, географические координаты крепости, где происходят события, рассказанные автором «Капитанской дочки».

...На одной из площадей Мадрида на гранитном постаменте возвышается длинная, несуразная фигура рыцаря печального образа. Кажется, что Дон Кихот на своем верном Россинанте в сопровождении славного Санчо Пансо странствует по полям и равнинам Ла Манчи — края, где происходят его приключения. Почему же в таком случае памятник Дон Кихоту Ламанчскому установлен только в Мадриде? Эту неточность решили исправить. На страницах испанской печати появились статьи с предложением поставить, наконец, монумент героям Сервантеса в районе Ла Манчи — месте действия романа. Но где именно? Конечно, там, где Дон Кихот родился.

И закипел великий спор. Деревня встала на деревню. Вооружившись цитатами и привлекая аргументы ученых знатоков Сервантеса, деревни района Ла Манчи вступили в битву за право называться родиной бессмертного идальго. Каждый поселок силится доказать, что именно его имел в виду автор книги о хитроумном Дон Кихоте, когда, почему-то не пожелав точно определить место рождения своего героя, написал: «В некоем селе ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать...»

Пока длился этот спор, в городке Тобосо, о котором писатель оставил более точные сведения, ибо здесь, по его словам, жила Дульсьинея, обнаружили «дворец», где будто бы обитала эта прекрасная дама Дон Кихота. В окрестностях местечка нашлась и полуразвалившаяся мельница — одна якобы из тех, с которыми сражался странствующий рыцарь. А недалеко от «дороги Дон Кихота», по которой ежедневно проезжают тысячи туристов, отыскался и по сей день сохранившийся постоялый двор, где, как уверяют, Дон Кихот был посвящен в рыцари.

Сюжет гоголевского «Ревизора», как мы знаем, основан на подлинном факте. Но где, в каком городе России шелкопера приняли за столичного ревизора? Случай этот произошел в Новгородской губернии в маленьком городишке Устюжне. Именно сюда из Петербурга в 1829 году, как сообщают документы, обнаруженные в архивах, прибыл «на собственных лошадях и в карете некто в партикулярном платье...», принятый местными ротозеями за важного чиновника.

В Москве еще недавно стоял «дом Фамусова», — принадлежавший прообразу героя комедии А. Грибоедова. В английской столице, на Портсмут-стрит, показывают небольшой домишко, построенный в 1567 году, о чем сообщает надпись на его стене. Лондонцы утверждают, что этот дом описан Диккенсом в его романе «Лавка древностей», и верят, что здесь ютились старик Трент и его внучка Нелли. Существует палаццо Дездемоны, дом, где жила Адельфина Деламар, послужившая прототипом мадам Бовари, есть здание, в котором обитали Будденброки — герои Томаса Манна, домик мадам Баттерфляй в Нагасаки, гостиница «Белая лошадь», где встретился мистер Пиквик с друзьями.

В немецком городе Гамельне, расположенном на реке Везер, многое напоминает старинную легенду о Крысолове, или, как его еще называют, Флейтисте из Гамельна. Здесь есть «дом Крысолова», «Бесшумная улица», на которой с давних пор запрещено играть на музыкальных инструментах. Восстановлены разрушенные во время войны городские часы, воспроизводящие две сцены из легенды. Несколько раз в день под звон двадцати девяти колокольников оживают персонажи сказки: по кругу в три яруса двигаются деревянные фигурки — флейтист, дети, крысы, горожане... В гамельнском музее многочисленные экспонаты говорят о том, что история Крысолова волновала умы и вдохновляла поэтов и художников разных эпох. На ее сюжет создавали поэмы и стихи, оперы и драмы, картины и гравюры. Уличная песня о Крысолове, не лишенная, по словам Гете, изящества, увлекла поэта, и он сочинил одноименную балладу о «певце, любимом повсеместно...». Легенда привлекла внимание Генриха Гейне и Проспера Мериме, композитора Фридриха Гоффмана и английского поэта Роберта Браунинга, поэма которого «Флейтист из Гамельна» известна у нас в прекрасном переводе С. Маршак; по мотивам немецкой легенды Валерий Брюсов в начале века написал своего «Крысолова», чехословацкий поэт Виктор Дыка создал на эту же тему сказку, а Марина Цветаева — поэму.

...Много веков назад около Гамельна родилось предание. В виде устного сказания и в форме народной песни оно обошло всю Германию, неизменно включалось во все сборники народных баллад. С детства ребятам запомнились строки печальной истории:

Большая в Гамельне тревога.
Крыс развелось там — страсть как много.
Уже в домах не счесть утрат.
Перепугался магистрат...

В этот момент на улицах Гамельна, к счастью «отцов города» и всех его жителей,

...вдруг волшебник — плут отпетый —
Явился, в пестрый плащ одетый,
На дивной дудке марш сыграл
И прямо в Везер крыс согнал.

Но скаредный и вероломный гамельнский совет бесчестно нарушил обещание и отказался платить за избавление от крыс. Тогда обманутый и разгневанный флейтист вновь пустил в дело свою дудку:

И только издал его гладкий тростник
Тройной переливчатый, ласковый свист,
Каких не бывало на свете,—
Послышалось шумное шарканье, шорох
Чьих-то шагов, очень легких и скорых.
Ладонки захлопали, ножки затопали,
Звонких сандалий подошвы зашлепали,
И, словно пылката бегут за крупой,—
Спеша и толкаясь, веселой толпой
На улицу хлынули дети.
Старшие, младшие,
Девочки, мальчики
Под флейту плясали, вставая на пальчики.
В пляске
Качались кудрей их колечки,
Глазки
От счастья светились, как свечки.

По одной версии дети, следуя за флейтистом, погибли в Везере, по другой — в окрестностях города.

Еще в древних документах находили подтверждение того, что предание о Крысолове не пустая выдумка. И хотя истоки легенды теряются в веках, считали, что случай, о котором она рассказывает, восходит к подлинному факту. Многие задумывались над тем, что же в действительности произошло более шести веков назад в Гамельне. Какие подлинные события послужили зерном легенды и где они происходили. То есть каковы реальные корни народного предания? За минувшие столетия, начиная с XIV века, когда некий Иоганнес Помариус, ссылаясь на предание, описал «Гибель детей Гамельна», об этом было написано такое количество исследований, что они вполне могут составить солидную библиотеку.

«В 1284 году, — говорится в старинной гамельнской летописи, — в день Иоганна и Павла, что было в 26 день месяца июня,

одетый в пестрые покровы флейтист вывел из города сто и тридцать рожденных в Гамельне детей на Коппен близ Кальварии, где они и пропали». Запись эту считают наиболее достоверным отражением исторического зерна предания. Здесь нет еще и намека на чудо, на сверхъестественную волшебную силу, которую заключала в себе дудка флейтиста; всем этим легенда обросла позже. Однако летописные строки не дают все же ответа: каким образом флейтисту удалось увлечь детей за собой и где они погибли?

В стародавние времена, примерно до середины XVII столетия — того момента, когда легенда обрела свою нынешнюю форму, жители Гамельна из поколения в поколение передавали услышанную от дедов и отцов историю о гибели детей их предков. При этом ссылались на ту часть легенды, где говорилось о будто бы чудом уцелевших двух ребятах. Правда, и их не миновала кара дьявола — один после этого ослеп, другой лишившись речи. Отстав от шествия и таким образом уцелев, они якобы поведали о том, что дети погибли в горé:

...В склоне открылись ворота —
Своды глубокого темного грота.
И вслед за флейтистом в открывшийся вход
С пляской ушел шаловливый народ.
Только последние скрылись в пещере,
Плотно сомкнулись гранитные двери.

Но точно знать, что произошло летом 1284 года, никто из потомков гамельнцев не мог. Подробности трагедии до них не дошли, ибо те, кто ее пережил, большей частью погибли во время чумы, разразившейся в этих местах через несколько лет. Ниточка, по которой можно было бы представить, какая катастрофа унесла детей, — порвалась.

Это не мешало тому, что повсюду в городе, в память о минувшей трагедии, устанавливались мемориальные плиты и каменные стеллы, приезжих приводили к ямам, в которых якобы исчезли дети, показывали точный путь флейтиста по городским улицам, воздвигались памятники, слагались песни. Но тайна происхождения легенды о Крысолове оставалась нераскрытой.

Те же, кто задавались вопросом об исторических источниках народного предания, приходили к самым разноречивым ответам.

Из Гамельна вышли не дети, делали вывод одни, а молодые вонны, которые пали в схватке с войском епископа Мйнденского. Но битва эта произошла за 25 лет до 1284 года и в ней было



Уход детей из Гамельна. Гравюра по картине Германа Каульбаха.

убито всего три десятка человек. Другие настаивали на том, что детей погубила чума, однако в 1284 году эпидемии этой болезни не наблюдалось.

Высказывали предположение, что дети погибли в результате охватившего их «танцевального психоза». Сторонник этой версии ученый Мейнард, в подтверждение своей точки зрения, приводил известные в истории многочисленные примеры гибели людей от этого недуга.

В поисках ответа вспоминали витраж в гамельнской церкви Маркткирхе. Он был установлен в конце XVI века по распоряжению одного из бургомистров, но до наших дней не сохранился. О чем же говорило изображение на стекле? О том, что будто бы это были не дети, а подростки, которых некий вербовщик уговорил переселиться в иные земли.

И живописец в меру сил
Уход детей изобразил
Подробно на стекле узорном
Под самым куполом соборным,—

говорится об этом в поэме Роберта Браунинга.

Что же произошло с ними дальше? По одной версии — они все погибли во время путешествия по морю, по другой — обьявились к востоку от Германии и здесь поселились.

Еще сказать я должен вам:
Слышал я, будто в наше время
Живет в одной долине племя,
Чужое местным племенам
По речи, платью и обрядам,
Хоть проживает с ними рядом.
И это племя в Трансильвании
От всех отлично оттого,
Что предки дальние его,
Как нам поведало преданье,
Когда-то вышли на простор
Из подземелья в сердце гор,
Куда неведомая сила
Их в раннем детстве заманила...

Ни один из этих ответов о происхождении легенды не был, однако, убедительным, а некоторые доводы казались просто маловероятными. Каким образом, например, дети стали молодыми горожанами, пешее странствование превратилось в морское путешествие?

Словом, о происхождении легенды было высказано столько догадок и предположений, что в конце концов стало казаться

невозможным разобраться в вековых напластованиях, скрывающих подлинный исторический факт.

В наши дни по следам легенды отправилась Вальтраут Вёллер из ГДР. В результате ее научных поисков появилось исследование, получившее высокую оценку специалистов.

Прежде всего В. Вёллер попыталась установить то место, где могла произойти много веков назад трагедия с гамельнскими детьми. Почему бы вновь тщательно не проследить за историческими свидетельствами? В наиболее древних вариантах предания так же, как и в приведенной городской летописной записи, о крысах нет еще ни малейшего упоминания. Говорится лишь о детях, исчезнувших в гористой местности Коппен. Нельзя сказать, что раньше эта ссылка на точный адрес, где произошла трагедия, оставалась незамеченной. Место это пытались отыскать — одну из возвышенностей у ворот Гамельна приняли за холм Коппен из легенды. Но на нем не было обнаружено никаких природных «капканов», которые могли бы таить в себе какую-либо опасность. Тем не менее на этом успокоились. И никому в голову не приходило, что пути к разрешению загадки следует искать совсем в иной стороне. В самом деле, почему место катастрофы — Коппен, как указывают древние варианты легенды и летописи, должно находиться рядом с городскими стенами. Не целесообразнее ли искать его на определенном удалении от Гамельна. Требовалось найти такую местность, которая по своим особенностям допускала бы возможность несчастья с детьми и называлась бы при этом сегодня или в древности — Коппен. И злополучное место было найдено.

В 15 километрах от Гамельна среди скал есть мрачная болотистая котловина. Недобрым словом отзываются о ней жители и недаром называют ее — «Чертова дыра». Проникнуть сюда можно только через узкое ущелье в горах. Котловина стиснута со всех сторон отвесными скалами, на дне — осколки каменных глыб, стволы рухнувших деревьев, почва заболоченная, покрытая густой травой. И сейчас это место выглядит мрачно, говорит В. Вёллер, а семсот лет назад здесь вполне могли погибнуть во время внезапной катастрофы дети. В близлежащем от «Чертовой дыры» поселке, который сегодня носит название Коппенбрюгге, а когда-то именовался Коппенбруг — от названия замка, построенного здесь в 1303 году, старики и по сей день рассказывают о том, что некогда в «Чертовой дыре» погибли какие-то люди.

На этом закончились поиски, с наибольшей долей вероятности позволившие определить достоверное место, где разыгрались

события, отраженные в предании. Оставалось установить, отчего погибли в «Чертовой дыре» дети из Гамельна? И каким образом они оказались так далеко от города?

Ответить точно на эти вопросы сегодня, спустя несколько веков после происшествия, довольно трудно. Можно только предполагать, что тогда произошло.

Издавна на вершинах гор, расположенных вокруг «Чертовой дыры», во время праздника летнего солнцестояния зажигали огни. Вполне вероятно, что в этот период — 26 июня 1284 года — молодежь и дети из Гамельна отправились сюда на прогулку. Во главе их, возможно, шел в желто-красном костюме трубоч.

Высоко голову он нес.
Был светел цвет его волос.
А щеки выдубил загар.
Не молод, но еще не стар,
Он был стройней рапиры гибкой.
Играла на губах улыбка,
А синих глаз лукавый взор
Подчас как бритва был остер.

Шествие, миновав ворота Гамельна, пройдя мимо горы Кальвариенберг, о которой упоминает предание и летопись, двинулось дальше на восток.

С криком и смехом,
Звонким и чистым,
Мчались ребята
За пестрым флейтистом...

Долгий путь утомил детвору. Когда ребята добрались до места, было уже темно. Тут они, видимо, и попали в заболоченную «Чертову дыру». Может быть, к этому добавился обвал, который лишь усугубил размеры катастрофы. Отставшие от шествия, как гласит предание, поведали о разразившейся беде.

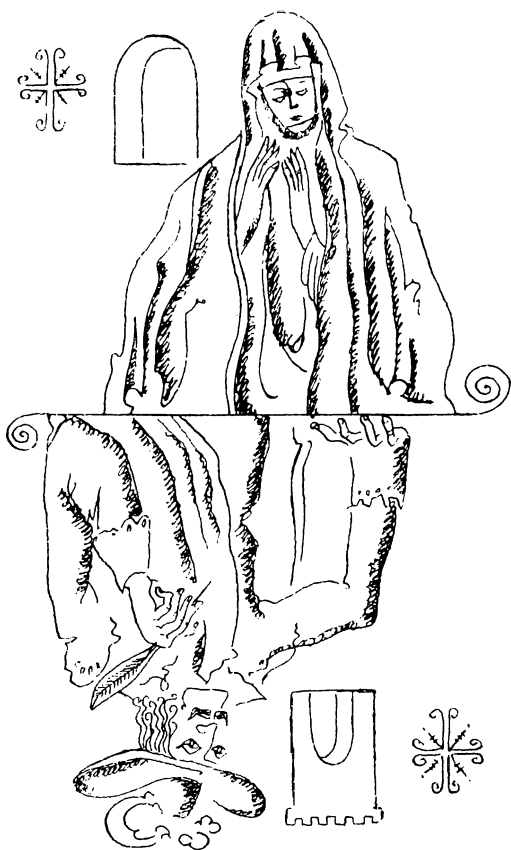
В пользу этой версии — гибель в болоте — свидетельствуют многие варианты легенды. В. Вёллер считает, что предложенную ею гипотезу можно проверить с помощью раскопок в «Чертовой дыре», ибо останки утонувших должны были мумифицироваться.

Но откуда же взялась предыстория с крысами. Она «приросла» к легенде лишь в последующие столетия. К тому времени богатый Гамельн стал вызывать зависть более бедных соседних городов, их недовольство и критику. Тогда-то, желая посрамить жадность и коварство гамельнского совета, к старому варианту предания и была добавлена история о том, как флейтист избавил город от нашествия крыс и как неблагодарные горожане отказа-

лись выполнить обещание и заплатить ему, за что были жестоко наказаны.

Теперь легенда приобрела более логическое построение: дьявольское деяние флейтиста явилось ответом на обман корыстных гамельнских горожан. И народная песня о крысолове-волшебнице, странствуя от деревни к деревне, от города к городу, призывает:

Всем эту быль запомнить надо,
Чтоб уберечь детей от яда.
Людская жадность — вот он, яд,
Сгубивший гамельнских ребят...



ПОРТУГАЛЬСКАЯ МОНАХИНЯ
ИЛИ
ГАСКОНСКИЙ ДВОРЯНИН?

В год, когда Расин написал своего «Британника», а Мольеру, наконец, разрешили после почти пятилетней борьбы постановку «крамольного» «Тартюфа», в лавочках Дворца правосудия появилась небольшая книжка. На титульном листе стоял год выхода ее в свет — 1669. Книгу издал знаменитый тогда типограф Клод Барбен, печатавший всех модных и известных писателей своего времени, начиная от Корнеля и кончая Лафонтеном. Об этом преуспевающем и ловком книгопродавце-типографе Буало писал:

Как счастлив тот поэт, чей стих, живой и гибкий,
Умеет воплотить и слезы и улыбки.
Любовью окружен такой поэт у нас:
Барбен его стихи распродает тотчас.

Издаваться у Барбена считалось почетным. Отпечатанные им книги, как заметил Анатоль Франс, сработанные без особого изящества, предназначались для хождения по рукам. Передко, однако, забредали они не только в дома горожан, но и в салоны вельмож, и даже попадали в руки особ королевской крови.

Книга, о которой пойдет речь, называлась «Португальские письма».

Издание было анонимным. И только скромно указывалась фамилия переводчика с португальского Гийерага.

Отсутствие имени автора никого тогда не удивляло. И до этого выходили книги, авторы которых по той или иной причине предпочитали оставаться в неизвестности. Особенно, если автор принадлежал к светскому кругу. Например, почти каждое произведение мадам де Лафайет — автора «Принцессы Монпансье», «Защиты» и «Принцессы Клевской» — появлялось либо анонимно, либо под подставным именем.

Чем же можно объяснить анонимный характер многих изданий того времени? И опасение скомпрометировать себя в так называемом высшем обществе — по представлениям того времени для светского человека неприлично было заниматься профессиональным литературным трудом, и боязнь решиться назвать себя, особенно молодым писателям, чтобы не повредить успеху своей книги, дав возможность заранее сложиться предвзвтому мнению. Во вступлении к «Принцессе Клевской» анонимный автор откровенно признавался, что решил скрыть свое имя, «дабы позволить суждениям быть более независимыми и

справедливыми», но что он, то есть автор, тем не менее, обещает открыть свое имя, если история, рассказанная им, понравится читателям.

Очевидно, и автор «Португальских писем» имел причины остаться неузнанным. Думать, что «Письма» были поддельными, то есть не подлинными документами, а вымыслом, плодом чьей-то фантазии не было особых оснований. Отчетливо было указано имя переводчика с португальского на французский. Да и сам текст пылких посланий, искренних и пламенных, адресованных

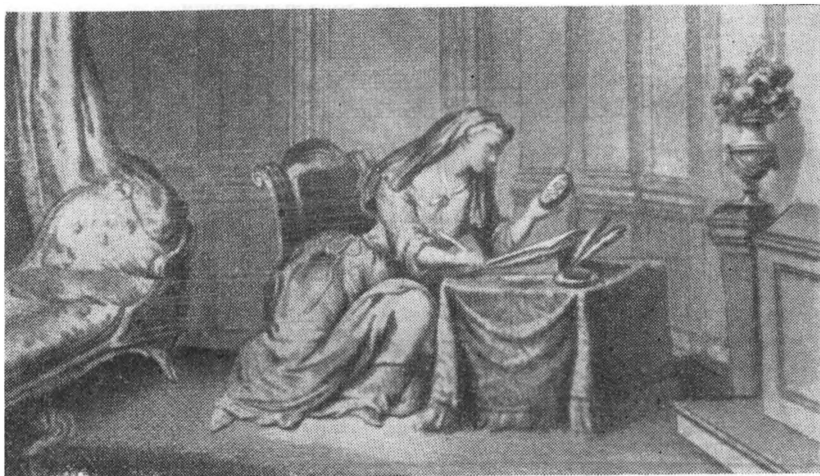


Иллюстрация французского художника Моссарта к одному изданий книги «Португальские письма».

молодой португальской монахиней к покниувшему ее возлюбленному, французскому офицеру, не давал повода сомневаться в их подлинности. Правда, нигде в тексте своего полного имени осторожная монахиня не сообщала. Единственно, что можно было только заключить, что звали ее Марианна и что писала она из монастыря города Бежа. Ее скрытность была для всех так понятна. Бедняжка слишком много выстрадала и, главное, так откровенно изливала свои чувства на бумаге, что всем казалось вполне понятным теперь, когда письма становились достоянием многих, ее желание остаться неизвестной.

Публика привыкла к анонимным публикациям писем и не видела в этом ничего особенного. С тех пор как эпистолярный жанр завоевал себе права, вышло не одно издание писем. Внимание к такого рода литературе возникло вскоре после того, как в 1627 году во Франции были учреждены специальные так называемые почтовые бюро. С этого времени связь столицы с провинцией становится регулярной. Переписка растет со сказочной быстротой. И не удивительно — письмо заменяет отсутствие газет, оно выполняет особую роль: каждый спешит поделиться новостью, рассказать родственнику, другу или знакомому о последних событиях, происшедших в столице, либо, наоборот, в провинции. Письмо становится, таким образом, средством не только общения, но и развлечения. Нередко частная переписка делается предметом чтения целого общества. Письма переходят из рук в руки, их читают посторонние, словно увлекательный роман. А это заставляет авторов писем быть особенно внимательными к слогу и стилю, и часто послания заранее пишутся в расчете на то, что их прочтут многие. Особенно этим новым жанром увлекаются «светские авторы». Появляются виртуозы в этой области. Одной из них, к примеру, была госпожа де Севенье, оставившая несколько тысяч писем, ценных описанием жизни и нравов французского высшего общества той эпохи.

Но у «Португальских писем» была и отличающая их от литературных произведений того времени особенность. Читатель той поры имел возможность убедиться на примере «Португальских писем», что талант не зависит от толщины книги. Ему уже претили претенциозные переживания героев книг Мадлен де Скюдери, ее десяти томные романы с запутанной и невероятно растянутой любовной интригой, жеманные чувства персонажей псевдоантичного мира. В эпоху манерных и причудливых салонных вымыслов хотелось правдоподобия подлинных переживаний, публика требовала хотя бы иллюзии реальности.

В «Письмах» подкупала большая искренность человеческой страсти. После нелепых пасторальных разговоров короткие фразы «Писем» волновали гораздо больше, чем описания многословных переживаний. Пять писем молодой монахини, адресованных к покинувшему ее возлюбленному, стоили многих томов. Это была повесть о преданной любви, исповедь женщины, вся жизнь которой была отдана одной страсти. И не было в Париже человека, который не сочувствовал бы бедной монахине, соблазненной и покинутой бесчестным офицером. Нет, нельзя было усом-

питься в искренности и подлинности этих пламенных страниц. Так могла писать только женщина, испытавшая сильную любовь и пережившая большое горе. Впрочем, нашелся некоторое время спустя один человек, который позволил себе усомниться в подлинности «Писем». Кто же был этот сомневающийся? Знаменитый писатель и философ Жан Жак Руссо. Вопреки мнению многих, он готов был «биться об заклад, что «Португальские письма» написал мужчина». Однако доказательства его строились на весьма оригинальном личном убеждении в том, что женщина якобы не может обладать столь высоким литературным дарованием, чтобы создать такие замечательные письма.

Что касается лукавого К. Барбена, то он клялся и божился, что это точный перевод имеющегося у него текста на португальском языке. Но слово издателя, а тем паче издателя XVII столетия, немногого стоило.

Загадка имени монахини оставалась неразгаданной. Иначе дело обстояло с тем, кому были адресованы ее послания. И хотя имя соблазнителя тоже не упоминалось в тексте, тем не менее поговаривали, что письма бедной монахини адресованы к вполне реальному лицу, при этом называли известное в то время имя — Ноэль Бутона, маркиза де Шамильи, графа де Сэн Леже.

Впоследствии было установлено, что де Шамильи еще в самом начале испанской кампании в 1661 году волонтером отправился в Португалию. В чине капитана участвовал в нескольких сражениях против испанцев. Вскоре его назначили командиром полка, расквартированного в Бежа. По времени это могло быть до 1667 года. Позже де Шамильи отличился при защите крепости Грав-ан-Барбес и в 1703 году станет маршалом Франции.

Значит, де Шамильи был в Бежа и, вполне возможно, встретил здесь молодую хорошенькую монахиню и увлекся ею. Для него это было всего лишь очередным приключением, разнообразившим жизнь солдата в глухом городишке.

То, что де Шамильи действительно был причастен к этому происшествию, подтвердилось рядом фактов, о которых узнали, впрочем, позже. В частности, стало известно, что однажды на корабле, перевозившем французские войска, находился преподаватель отец, в руках которого оказались письма некоей португальской монахини и что он бросил их в море, несмотря на протесты молодого офицера. Возможно, часть писем удалось сохранить, а может быть, с них были предварительно сняты ко-

пии и Барбен их издал?.. Как бы то ни было, но, видимо, с ними и познакомились парижане, любопытные до такого рода интимной переписки.

В некоторых справочниках до последнего времени эта версия приводилась как достоверная. В них же можно прочесть о том, что де Шамильи не был якобы чересчур щепетильным и опубликовал пять писем своей подружки, сохранив, однако, в тайне ее имя.

Так или иначе, а «Португальские письма» пользовались огромным успехом у современников. Об этом свидетельствуют не только переиздания, но и появившиеся вскоре подложные письма. Они прилагались к подлинным для того, чтобы увеличить объем нового издания. Никто не виял предостережениям Жана Жака Руссо, ни у кого не возникало и тени подозрения.

Между тем имя монахини оставалось неизвестным. Минуло более столетия, прежде чем кое-что прояснилось в этой истории.

В начале мая 1810 года в статье, опубликованной в «Журналь де л'Амбир», ученый библиофил Буассонад, выступавший часто под псевдонимом Омега, сообщил об интересной находке. Он писал, что на имеющемся у него экземпляре «Португальских писем» кем-то от руки сделана следующая надпись: «Монахиню, которая написала эти письма, звали Марианна Алькафорадо из монастыря Бежа, расположенного между Эстрададуре и Андалузией». И далее указывалось, что письма адресованы шевалье графу де Шамильи, тогда его звали граф де Сэн Леже.

Открытие Буассонада подтверждало догадки современников относительно адресата, но, главное, проливало свет на подлинное имя таинственной монахини. Начались ее поиски. И вскоре установили, что монахиня с этим именем действительно существовала. Она родилась в городе Бежа за двадцать девять лет до выхода в свет «Писем». Умерла здесь же в монастыре «Нотр Дам де ла Концепсион» в 1723 году, будучи его аббатиссой. Монахиней стала в 1660 году.

Все совпадало идеально — время пребывания французского офицера в г. Бежа, одинаковый возраст его и монахини. Слухи, в свое время блуждавшие по Парижу, приобретали все большую достоверность. Правда, настораживали отдельные неточности, которые отныне бросались в глаза. Отчего, например, в надписи, обнаруженной Буассонадом на книге и в записях о крещении и смерти монахини, орфография ее имени оказалась

различной. Случайная описка? Если это можно было объяснить именно этим, то как понять прямые фактические ошибки, допущенные в тексте «Писем»? Теперь, когда стало известно имя автора писем и его биография, нельзя было не заметить искажения некоторых жизненных фактов монахини. Так в «Письмах» ее мать пребывала в добром здравии. На самом же деле в то время, когда они писались, ее уже не было в живых. Странным выглядело и другое. Монахиня писала, что с балкона ей виден город Мертола. Но как она могла разглядеть из своего монастыря город, расположенный более чем в пятидесяти километрах от нее?! Прожив всю жизнь в Бежа, она не могла этого не знать. Чем же можно было объяснить эту «описку»? Только тем, видимо, что подлинному автору «Писем» не были известны такие подробности... Возникли подозрения в мистификации.

Это, однако, не мешало читателям продолжать восторгаться «Португальскими письмами». Ими зачитывались Жан де Лабрюйер в XVII веке, Шодерло де Лакло в XVIII веке, Сент-Бёв в XIX веке. Их переводят на немецкий язык, на английский они были переведены десять лет спустя после выхода в свет. О них не однажды вспоминает Стендаль. «Надо любить так,— говорит он в «Жизни Россини»,— как «Португальская монахиня», всем жаром души, запечатлевшейся в ее бессмертных письмах».

Прошло еще сто лет. Все чаще приходили на память слова Жан-Жака Руссо, предполагавшего ловкую подделку. Не хватало лишь только еще одной «улики» для доказательства того, что «Португальские письма» — литературная мистификация. Неопределенность сохранялась до 1926 года, пока англичанин Грин не обнаружил в списке издателя имя подлинного автора прославленных «Писем». Им оказался Гийераг — тот, кто выступал под скромной ролью переводчика с португальского.

Правда, и после этого некоторые продолжали верить в подлинность «Писем», сомневаясь в том, что это литературный обман. И только недавно, благодаря розыскам и исследованию французского ученого профессора Ф. Делюффа загадка была окончательно разрешена: «португальская монахиня» в действительности оказалась гасконским дворянином. Изданная в 1962 году в Париже, прекрасно оформленная книга Ф. Делюффа и И. Ружо «Португальские письма, Валентины и другие произведения Гийерага» окончательно устранила все возражения в пользу авторства Гийерага. Профессор Делюффа нашел еще од-

но его произведение, которое значилось рядом с «Письмами» в списке издателя. Он провел тщательный сравнительный анализ других произведений Гийерага и доказал сходство их стиля и самого духа этих произведений с «Португальскими письмами». В книге не дан только ответ на то, подсказан ли сюжет «Писем» правдивой историей или нет. Некоторые французские литературоведы склонны ответить на этот вопрос утвердительно. Считают, что истинное происшествие подсказывало Гийерагу тему его произведения.

Остается добавить несколько слов о том, кто же такой был Гийераг. Только теперь полностью стало известно творческое лицо этого литератора, игравшего, как показал Делюффе в своей книге, далеко не последнюю роль в литературной жизни Франции своего времени.

...Кабачок «Белого барана» на площади у кладбища Св. Иоанна пользовался доброй репутацией. Здесь можно было распить стаканчик хорошего вина, слуги были расторопные, а, главное, можно было спокойно говорить о чем хочется. Сюда частенько заглядывали актеры и поэты, бывали Мольер, Лафонтен, Буало, Расин. Иногда в их компании появлялся веселый и остроумный Гийераг. Он был дружен со всеми, его уважали за веселый нрав и хорошие манеры, за обходительность и умение нравиться. Его ценили за ум и недюжинный талант литератора, за разносторонние познания. Образование он получил в Наваррском колледже в Париже, в замке отца, рано умершего от чумы, в его распоряжении была прекрасная и обширная библиотека. С Мольером, возглавлявшим тогда труппу «Собственных комедиантов принца Конти», он близко сошелся и подружился еще в Бордо, когда Габриэль де Лавернь де Гийераг (таково было его полное имя) — адвокат при парламенте родного города, был в числе приближенных принца Конти. Расина он узнал и стал его другом на всю жизнь, переехав в Париж, где намерен был служить королю. К этому времени он уже кое в чем преуспел. Будучи секретарем принца Конти, сопровождал его в походах в Каталонию и Италию, женился и, наконец, купил должность первого председателя высшего податного суда в Бордо. Говорят, что он слыл повесой и мотом. Однако это не помешало ему быть одним из завсегдатаев салона Рамбулье и даже другом госпожи де Ментенон, всесильной фаворитки короля.

И все же среди литераторов он больше свой, чем при дворе. Гийераг с удовольствием проводит время в кругу друзей поэтов. Мольеру он рассказывает об аббате Рокете, черты которого дра-

матург использует для образа Тартюфа. Скромно избегает похвал Расина, великодушно приписывающего ему некоторое участие в создании его творений; «это участие,— пишет он в письме к Расину,— сводилось к тому, что я был их первым, восхищенным читателем».

«Ваши произведения,— продолжает Гийераг,— неоднократно мною перечитанные, показали, сколь оправдано мое восхищение. Здесь, вдали от вас, сударь, и от пышных церемоний, которые могут порой поразить воображение, я испытываю отвращение к этой прославленной стране, но ваши трагедии кажутся мне еще более прекрасными и нетленными...

Действительность дает вам материал, столь обширный, что вы можете даже почувствовать себя подавленным, а потомки, возможно, усомнятся в правдоподобии описываемых вами событий».

Казалось, мечты о придворной карьере отходят на задний план.

Все больше тянет его к серьезному литературному труду. Он продает свою должность и начинает писать. Барбен издает «Португальские письма», выдавая их за точный перевод с имеющегося якобы у него португальского текста.

Именно в этот момент Гийерагу вновь представилась возможность для придворной карьеры. Соблазн, искупление, всю жизнь преследовавшие его, одерживают верх. Он порывает с друзьями-литераторами и покупает с разрешения короля должность «секретаря покоев и кабинета его величества». Место почетное и выгодное: монарх поверяет его в свои сердечные тайны и он спит в гардеробной короля. По совету короля он пытается продолжать писать — работать над комедией на политическую тему. Вскоре следует новая милость: в год, когда появился роман Мадлен де Лафайет «Принцесса Клевская» — «эта,— как говорят французы,— принаряженная и слишком рассудительная сестра португальской монахини», Гийерага назначают послом в Константинополь. Вместе с семьей он покидает Францию.

Талант дипломата и политика, в конце концов одержавшие верх над писательским талантом, помогает ему добиваться благоприятных для Франции соглашений. Умер Гийераг в Константинополе в 1685 году.

На этом закончилась придворная карьера Гийерага, ради чего он пожертвовал своим, может быть, истинным призванием. Как литератор, Гийераг был забыт. Лишь в одном

из стихотворений Буало встречались напоминавшие о нем строки:

Ум, рожденный для двора, властелин в искусстве нравиться,
Гийераг, который умеет и говорить и молчать...

И только в наши дни, спустя триста лет, когда удалось, наконец, разгадать загадку «Португальских писем», имя Гийерага возвращено литературе. Отныне точно установлено, что «Португальские письма» написаны им и что родина их — Франция.



ОБМАНЩИК
С НОРФОЛК-СТРИТ

Есть в Британском музее зал манускриптов. Здесь в столбах-витринах под стеклом, задернутом зеленым репсом, хранятся уникальные документы — рукописи корифеев английской литературы Свифта и Мильтона, Байрона и Диккенса, Теккерея и Б. Шоу. Тут же находятся первые издания произведений Шекспира, на некоторых из них — пометки, сделанные рукой великого драматурга.

Попадая в этот зал, где собраны бесценные рукописные листы, хранящие следы жизни и творчества великих мастеров слова, вы становитесь, как заметил в свое время Гёте, словно по волшебству, их современником.

Но вот вы останавливаетесь перед рукописью пьесы с неизвестным названием «Вортижерн», рядом — ее печатное издание, помеченное 1832 годом. Вы озадачены тем, что никогда не слышали о такой пьесе, более того — вы поражены — на титульном листе рукописи надпись: Уильям Шекспир. Не может быть, говорите вы себе, у Шекспира нет такого произведения...

Старый Лондон славился своими лавками. Лавки перекупщиков, лавки букинистов, лавки ростовщиков, лавки антикваров во множестве таились по темным закоулкам английской столицы. За счастливой или горестной судьбой некоторых домов, особенно тех, где были расположены лавки, любил следить Чарльз Диккенс, это занятие доставляло ему не меньшее удовольствие, чем наблюдать жизнь улицы, ее обитателей. Писатель, по его собственным словам, облюбовал себе несколько таких лавок в разных концах города и обстоятельно знакомился с их историей.

Одну из них Ч. Диккенс описал в своем романе «Лавка древностей». Говорят, она помещалась в доме, построенном в 1567 году, который и сегодня еще стоит на Портсмут-стрит...

Лет за двадцать до рождения Ч. Диккенса, в конце восемнадцатого столетия, на другой лондонской улице — Норфолк-стрит жил старый антиквар и букинист Сэмюэл Айрлэнд. В прошлом художник-гравер, он с карандашом и альбомом объездил многие страны. Но, кроме призвания художника, в нем жила неуемная страсть собирателя и любителя древностей. Постепенно все его интересы сосредоточились на антикварной торговле. В доме номер восемь по Норфолк-стрит он открыл что-то вроде букинистической лавочки — «одно из хранилищ всяческого любопытного и редкостного добра».

В лавке Айрлэнда собирались любители старины и редких книг, велись долгие беседы о старинных фолиантах, разгорались споры о литературе.

Чего только не было в лавке старого антиквара: древние

рукописи, редкие издания, гравюры, старинные вазы и картины...

Но особенно коллекционер дорожил теми реликвиями, которые хоть в какой-то мере были связаны с именем Шекспира — Сэмюэл Айрлэнд был страстным поклонником великого драматурга.

Хозяин лавки пользовался репутацией вполне добропорядочного человека, у него было двое детей — сын и дочь. Генри Уильяму, так звали молодого человека, не было еще и двадцати, но он уже успел побывать во Франции, где несколько лет совершенствовался в науках. На родину юноша вернулся поклонником литературы. Особую любовь, к радости отца, он проявлял к старинным книгам. Сэмюэл Айрлэнд надеялся, что сын, унаследовав его страсть библиофила, продолжит дело отца. И всячески старался поддержать и развивать эту склонность сына. Вместе они проводили вечера за чтением книг, изучали старинные фолианты, вместе посетили Стратфорд-на-Эвоне — родину Шекспира.

Когда пришло время определять Уильяма на службу, отец устроил его клерком в контору нотариуса.

Особого интереса от работы в конторе Уильям не испытывал. Переписка скучных бумаг, подбор документов, тягбы, завещания и т. п. Однажды молодой клерк наткнулся на ящики с какими-то бумагами. Это оказался архив конторы, содержащий множество старых документов, относящихся к XVII веку — эпохе царствования королевы Елизаветы.

Закончив трудовой день, Уильям оставался еще на некоторое время в конторе, с увлечением разбирая архив. Может быть, в глубине души он лелеял надежду, что ему удастся найти среди большого числа бумаг что-нибудь ценное.

Однажды, это было 16 декабря 1794 года, юный Айрлэнд вернулся из конторы очень возбужденным и торжественно вручил отцу кипу редчайших документов, обнаруженных им якобы в архиве.

Удивлению и восторгу Сэмюэла Айрлэнда не было предела: перед ним на столе лежал оригинал договора, заключенного между Шекспиром и неким Фразером — домовладельцем в Стратфорде-на-Эвоне. Ничто не вызывало сомнений — подпись Шекспира, стиль, качество бумаги, чернила. Видные ученые поспешили подтвердить подлинность документа.

Не успел старик Айрлэнд прийти в себя от первой находки сына, как новые сокровища так и посыпались в лавку на Норфолк-стрит. Менее чем через три месяца поиски Уильяма увен-

чались новым успехом. На этот раз ему посчастливилось отыскать целую коллекцию шекспировских документов: контракты с актерами, издания с собственноручными пометками Шекспира на полях, переписанный экземпляр «Короля Лира», неизвестные отрывки из «Гамлета» и, наконец, два «любовных» письма драматурга к знаменитой Анне Хетеуэй. Старый букинист был ошеломлен внезапно свалившимися на него сокровищами. Когда же из одного письма выпал локон Шекспира, он чуть было не лишился дара речи. Что и говорить, такая находка могла взволновать любого, даже самого равнодушного.

И все же Айрлэнд чувствовал некоторое беспокойство, ему казалось невероятным, что он неожиданно стал обладателем таких богатств. Но подробный и, как казалось, искренний рассказ сына об истории находки несколько успокоил старика. По словам Уильяма, он познакомился у своего друга с таинственным незнакомцем. Узнав о его страсти к старинным документам, незнакомец буквально разорил для него семейный архив. Любезность и бескорыстие этого джентльмена были поистине безграничными. Передавая материалы, он не преследовал никаких выгодных для себя целей. Лишь одно условие поставил он: чтобы его имя нигде не фигурировало. Единственное, что он разрешил — упоминать только его инициалы — М. Х.

Теперь Айрлэнд считал себя не вправе хранить реликвии для себя одного и решил организовать их публичную выставку.

Когда лондонцы в феврале 1795 года узнали о том, что на Норфолк-стрит выставлены уникальные автографы Шекспира, в лавке букиниста от посетителей не стало отбоя. А вскоре не только Лондон, но и вся Англия заговорила о чудесных находках и их счастливом обладателе Сэмюэле Айрлэнде.

Знатки в один голос заявляли о том, что неизвестные автографы Шекспира — находка века, во многом восполняющая скудные сведения о драматурге. Шестнадцать писателей и ученых поставили свои подписи под свидетельством о подлинности автографов. Другие с благоговением преклонили колени перед «святыми реликвиями». Слух о необыкновенной находке достиг королевского дворца. Отец и сын Айрлэнды были приглашены на аудиенцию с членами королевской семьи, где продемонстрировали свои богатства. Словом, все было бы прекрасно, если бы не одно неприятное обстоятельство, внесившее досадную шероховатость в общее настроение. Видный шекспировед Эдмунд Мэлоун наотрез отказался посетить лавку на Норфолк-стрит, заявив, что все это не что иное, как самый настоящий обман. Вскоре среди общего хора похвал и ликования начали раздаваться

и другие голоса, становившиеся все настойчивее и требовавшие более критического отношения к «чудесным» реликвиям. И вот уже в газете «Монинг геральд» появляется язвительная статья о «пожирателях чепухи», а критик Д. Босуэлл, ранее уверовавший в подлинность найденных документов, теперь начал сильно сомневаться в этом и предоставил свою газету «Орэкль» в распоряжение скептиков.

Страсти вокруг находки Уильяма разгорались все больше, общественное мнение разделилось на два враждующих лагеря. Причем, лагерь скептиков все увеличивался. Так прошел год. В декабре С. Айрлэнд выпустил по подписке сборник найденных материалов. Это вызвало новый яростный шквал нападок и злых шуток со стороны его противников. Появилось стихотворение — якобы найденный фрагмент из Софокла, и злой памфлет с приложенной к нему псевдодрамой Шекспира «Королева Дева» — явно намекающие на то, что Айрлэнд оказался доверчивым простаком, обладателем литературной подделки.

В ответ на эти нападки были опубликованы негодующие выступления защитников подлинности шекспировских документов, в свою очередь обрушившихся на недоверчивых и сомневающих. Один только Уильям загадочно молчал, когда отец с возмущением рассказывал ему о происках врагов. Главный виновник разыгравшихся страстей, творец «шедевров», он не намерен был прекращать игру. Напротив, он даже решил подлить масла в огонь.

Следующей его «находкой» оказалась рукопись неизвестной трагедии Шекспира «Вортижерн», написанной белыми стихами. В пьесе рассказывалось о борьбе бриттов во главе с королем Вортижерном, которую они вели в пятом веке нашей эры против пиктов и шотландцев.

Находка драмы на национальный сюжет, написанной в стиле шекспировских хроник, стала подлинной сенсацией, ажиотаж с открытием шекспировских рукописей достиг высшей точки. Пьесой тотчас же заинтересовались два самые крупные театра Англии: Ковент-гарденский и Друлилейнский. Руководителем последнего был в то время известный драматург Б. Шеридан. Видимо, это и определило выбор С. Айрлэнда, какому из театров передать пьесу для постановки. Причем, Сэмюэл Айрлэнд отнюдь не желал играть роль бескорыстного мецената. В нем проснулся коммерсант. Он потребовал вознаграждения за право постановки и определенную сумму со сборов за спектакли. Дирекция решила не торговаться и приняла условия.

Роли распределили между лучшими актерами: Джоном Кем-

EVER ACTED.

Théatre Royal, Drury-Lane

This present SATURDAY APRIL 2 1796.

Three *Haystack Sermons* will act a new Play in 5 acts called

VORTIGERN.

With new Scenes, Dresses and Decorations.

The CHARACTERS by

Mr. BENSLEY, Mr. BARRYMORE,
 Mr. CAULFIELD, Mr. KEMBLE,
 Mr. WHITFIELD, Mr. FRUENAN, Mr. C. KEMBLE,
 Mr. BENSON, Mr. PHILLIMORE,
 Mr. KING, Mr. DIGNUM,
 Mr. PACKER, Mr. COOKE,
 Mr. BANKS, Mr. EVANS, Mr. RUSSEL,
 Mr. WENTWORTH, Mr. MADDOCKS, Mr. WEBB,
 Master GREGSON, Master DE CAMP.

Mrs. POWELL,

Mrs. JORDAN,

Miss MILLER, Miss TIDSWELL,
 Miss HEARD, Miss LEAK.

The Prologue to be spoken by Mr. WHITFIELD.

And the Epilogue by Mrs. JORDAN.

The Scenes designed and executed by

Mr. GREENWOOD, and Mr. CAPON.

The Dresses by Mr. JOHNSTON, Mr. GAY, and Miss REIN.

To which will be added a Musical Entertainment called

MY GRANDMOTHER.

By Matthew Melley, Mr. Madocks, Vesper, Mr. Saunders, jun.
 Woody, Mr. Sedgwick, Golly, Mr. Soers, Souffrance, Mr. Weintzer.

Charlette, Miss De Camp, Florella, Signora Storace.

The Publick are most respectfully informed, that this Evening, and during
 the rest of the Season, the Doors of this Theatre, will be Opened at Half past Six,
 and the Play to begin at Half past Eight.

Printed by C. LINDSAY, Next the Stage-Door.

Printed also at the Agency

The 24th night, and last time this Season, of HARLEQUIN CAPTIVE.
 Will be on Monday.

On Wednesday, 13th time The Comedy of THE PLAIN DEALER.

COMICAL OPERA, in which Mr. BRAHAM will make his
 Appearance, will be produced as speedily as possible.

There will be given the most extraordinary of THE IRON

Афиша спектакля «Вортижерн».

белом, Салли Сиддонс и другими. Специально был написан пролог, музыку сочинил известный тогда композитор Линли, в эпилоге воздавалась честь и хвала Сэмюэлу Айрлэнду.

Старому букинисту казалось, что триумф близок и публика скажет свое последнее слово. Неожиданно, за несколько дней до премьеры, Сиддонс, сославшись на плохое самочувствие, отказалась от роли: видимо, почувствовав недоброе, она решила не участвовать в столь опасном приключении.

Не дремали и противники Сэмюэла Айрлэнда. Мэлоун опубликовал «Анкету о подлинности документов, приписываемых Шекспиру».

Наконец, была объявлена премьера. 2 апреля 1796 года любителям сенсаций и скандалов было чем потешиться. Еще у входа в театр газетчики, размахивая листками, горланили о манифесте Мэлоуна, в котором маститый критик иронизировал над доверчивостью театра и вновь протестовал против «отвратительного подлога».

Театр был набит битком, зрители волновались, спорили, шумели. Одни были взволнованы тем, что присутствуют, как им казалось, на исторической премьере неизвестной пьесы великого поэта, другие пришли, чтобы быть свидетелями разрешения спора о находке, третьи открыто выражали свое неверие в подлинность текста, вызывая яростные реплики противников.

Начался спектакль. Все шло как будто бы гладко. Однако вскоре отдельные эпизоды и фразы заставили публику насторожиться. В зале складывалась явно недоброжелательная атмосфера по отношению к тому, что происходило на сцене. Время от времени в публике раздавались смешки. Могло показаться, вспоминают очевидцы, что Кембел — Вортижерн во время игры издевался над текстом, патетические сцены превращал в бурлеск. Когда же он по ходу действия произнес положенную фразу: «Мне бы хотелось, чтобы этот мрачный фарс поскорее окончился», — взрыв смеха потряс зал. Непроизвольная аналогия была слишком очевидной. Занавес опустился под свист и улюлюканье зрителей. Трагедия в самом деле кончилась фарсом. Объявление о вторичном представлении было встречено возгласами негодования.

Казалось, спор был разрешен в честном состязании. Однако Сэмюэл Айрлэнд не пожелал признать себя побежденным, провал пьесы не подорвал его веры в подлинность рукописи трагедии. Для остальных же, в том числе и для недавних его единомышленников и защитников, вопрос был ясен. Все они оказались доверчивыми жертвами ловкой мистификации.

Некоторое время Уильям пытался было отрицать свою причастность к подделке, но в конце концов после серьезного расследования и сурового допроса молодой фальсификатор во всем признался.

У старого Айрлэнда была еще возможность спасти свое положение — надо было лишь согласиться, что он, как и все остальные, был обманут. Но старик не пожелал внять голосу разума и упрямо продолжал настаивать на подлинности шекспировских документов. О сыне же теперь отец заявлял, что он «слишком ограничен, чтобы написать хотя бы десять рифмованных строк».

Вскоре в печати появился рассказ Уильяма о подделке: «Подлинная история рукописей Шекспира». Отец счел это предательством, публично отрекся от сына, заявив, что он продался «врагам», и выгнал его из дома.

С этих пор жизнь старого букиниста сильно изменилась. Друзья и клиенты от него отвернулись, газеты издевались над ним, он даже попал в комедию — на сцене театра Ковент-гарден была поставлена пьеса «Любимец фортуны», где автор высмеял С. Айрлэнда под именем Бэмбера Блеклеттера.

Несмотря на все это, С. Айрлэнд продолжал стоять на своем, писал «оправдания», отвечал своим противникам, спорил, даже судился, расходуя на бесконечные тяжбы последние деньги своего состояния.

Позор и общее презрение ускорили его смерть, он умер четыре года спустя, полностью разорившись. Лечащий его врач рассказывал, что и на смертном одре старик настаивал на своей правоте и поносил недругов.

Незавидно сложилась судьба и младшего Айрлэнда. Скупаясь, он познал нужду и голод, не раз писал отцу, умолял о помощи, просил простить, но тот оставался глух к мольбам сына.

Сменив несколько профессий, он, наконец, взялся снова за перо. Ему удалось выпустить несколько посредственных романов и пьес, а также памфлет на библиофилов.

Умер он во Франции через 39 лет после появления подделки. Она принесла ему славу великого обманщика, имя его можно встретить в Британской энциклопедии, на страницах многих исследований, в частности, и в книге Бернарда Гребаньера «Великий шекспировский подлог», изданной в Нью-Йорке в 1965 году.



АВТОР-
«ГЕНИАЛЬНЫЙ СТАРИК»?

Польский поэт Юлиан Тувим обладал драгоценным качеством, присущим обычно детям. Он умел удивляться. Этот особый дар был неотъемлемой частицей его таланта. Столь редкое качество поэт сумел пронести через всю свою жизнь, оно сопутствовало ему во всем, что бы он ни делал, чем бы ни занимался.

Раскройте сборники его стихов, и вы убедитесь в необычной свежести его поэзии. В особенности это заметно в стихах для детей — чистых и мудрых, открывающих мир глазами ребенка. Об этом же говорят и его увлечения математикой — «таинственной незнакомкой», как называл ее поэт, к которой питал неразделенную любовь. В ней его удивляла и захватывала «магия» чисел. В работе над переводами (а он много переводил, главным образом из русской поэзии) его увлекала «алхимия слова». Тувим любил побороться со стихом, поиграть с ним в шахматы, разбить на кубики, разрезать как картонную головоломку. И лишь потом, говорил поэт, постепенно, старательно складывать разьединенные части, добиваясь того, чтобы перевод стал близнецом подлинника, бесконечно приближающимся к нему по совершенству, заставляя удивляться совершенному «чуду». Способность удивляться сказывалась и в других увлечениях Ю. Тувима. Например, в его библиофильской страсти. Две комнаты на Мазовецкой улице, где до войны жил поэт, битком были набиты книгами, папками, коробками и конвертами с вырезками. Эти сокровища распирали стены квартиры, к отчаянию и ужасу хозяйки дома, а поэт «продолжал копить свои дива дивные».

Собиратели — счастливейшие из людей, заметил однажды Гёте, сам страстный коллекционер. М. Горький многие годы собирал, кроме книг, марки и фарфор; заядлыми филателистами были Чехов, Брюсов и Блок; Анатолий Франс, помимо библиофильских увлечений, был одержим филуменистикой; Герберт Уэллс с азартом ребенка коллекционировал солдатиков; Стефан Цвейг всю жизнь копил автографы и рукописи. Хобби Юлиана Тувима была «любовь к курьезным дисциплинам».

С чего начинается библиотека, рождается ли страсть к собирательству? С подаренной в детстве книги, со случайно найденной открытки или со знакомства с коллекционером, который заражает вас на всю жизнь вирусом собирательства.

Библиотека Юлиана Тувима началась с жалкой копеечной брошюры, купленной им еще десятилетним мальчишкой. Тридцать пять лет ушло на то, чтобы собрать пять тысяч книг — произведений редких, необычных, можно сказать, странных. Это было оригинальное и по-своему уникальное собрание, отражавшее интересы и увлечения польского поэта.

...Поздно за полночь, когда заканчивался трудовой день Тувима, он усаживался в кресло, и не было для него большего удовольствия и лучшего отдыха, чем перелистывать старинные издания, копаться в каталогах, отыскивая в них новые пополнения для своего собрания. Тувим получал одно время из многих стран проспекты книжнических магазинов и вылавливал на их страницах все, что его интересовало. В эти вечерние минуты он был похож на волшебника из сказки. Таким и изобразили его художники Кобылинские: чародей в своей лаборатории среди фолиантов, а может быть, влюбленный библиофил, которому он посвятил одноименную трагическую балладу; или книгознай, под стать цвейговскому Якобу Менделю, титану памяти и гению библиографии.

Какие книги окружали Тувима? Почему его библиотеку называли удивительной? А так о ней отзывались все, кто бывал у поэта и видел тесно заставленные полки. Здесь трудно было найти богатое издание, из современной литературы имелось самое необходимое. «Моя книжная коллекция ныне не существующая, — писал Тувим о своей довоенной библиотеке, — состояла, конечно, не целиком, но в доброй своей половине из необычных, редких, странных произведений». Но ведь еще Гёте говорил, что нет книги, из которой человек не мог бы научиться чему-нибудь хорошему. Все то, что в каталогах помещалось в разделах «курьезы», все то, в чем обостренный нюх Тувима-библиофила угадывал нечто достопримечательное — все это, как он сам говорил, стекалось из Лондона и Лейпцига, Париза и Москвы, Рима и Варшавы в квартиру на Мазовецкую.

На полках красовались труды о благовониях, устрашающе выглядели книги по демонологии, о чудовищах, о ядах и наркотиках, учебники «черной магии», брошюры о табаке и кофе. Здесь широко была представлена история медицины и естественных наук. Рядом со старинными поваренными книгами хранились программы и афиши странствующих зверинцев, цирков, шарлатанов и хиромантов. Особый отдел занимали грамматик и словари «экзотических» языков и диалектов. Старые календари, сборники анекдотов, либретто старинных опер и водевилей, забытые поэты, описания путешествий и карты, учебники для парикмахеров, каллиграфов, часовщиков, учителей танцев — все это можно было видеть в этой необычной библиотеке.

К услугам любопытных была литература о тайных союзах, орденах, монастырях, произведения о пытках, истории чудиков и фаптазеров. Среди этих «дива дивных» нельзя не перечислить, ибо сам хозяин библиотеки никогда не забывал их назвать, —



«Чародей» в своей мастерской. Рисунок художников Дануты и Шимона Кобылинских.

самое крупное в Польше собрание книг о крысах, книги на цыганском языке, иллюстрированный альманах времен французской революции величиной с почтовую марку, малайская рукопись на листьях какого-то заморского растения, польский молитвенник, который можно было читать только при помощи лупы, брошюра львовского чудака, изданная в прошлом веке в одном экземпляре, библиография книг о блохах и сотни других роскошных безделушек, как отзывался о них Юлиан Тувим. В шутку иногда поэт называл все это «великолепным мусорным ящиком», но только в шутку, ибо гордился своим редчайшим собранием. Конечно, у Тувима была неплохая и «нормальная» библиотека, состоящая из многих книг по различным знаниям, но истинную гордость составляли эти «несолидные» курьезы.

И ни одна из этих книг, побывавшая в руках Тувима и вставшая на полку его собрания, не была обойдена его вниманием, каждую он прочитывал, изучал. В своей памяти он держал неисчислимое множество «никому не нужных знаний» и также полшутя признавался, что если бы существовала кафедра дивологии, он мог бы с чистой совестью, из-за отсутствия подходящих квалифицированных конкурентов преподавать этот предмет. Тувим не хотел быть копилкой редких знаний. И одно время, еще в двадцатых годах, даже намеревался создать журнал «Дилижанс» — для библиофилов, любителей редкостей и исторических диковин.

В наш век радио, кино, спорта, говорил Тувим, в назойливой крикливости событий, среди съезки, гонки автомашин и курьерских поездов по улицам шумных городов будет тащиться странный, старомодный «Дилижанс», развозя курьезы старины, воспоминания, любопытные истории из календарей и пожелтевших хроник.

К мысли о создании подобного издания Юлиан Тувим вернулся и после войны, приехав из эмиграции. А когда он узнал, что ежемесячник «Проблемы» уже отчасти осуществляет его замысел, он с готовностью согласился сотрудничать с ним.

С этих пор до самой смерти Тувим был бессменным редактором отдела этого журнала «Горох с капустой», ставшего его любимым детищем. Со временем материалы, опубликованные в этом отделе, составили три тома, изданные отдельными книгами.

С полком своей «верной подруги» библиотеки Юлиан Тувим черпал литературное сырье для написания своих книг, в которых сказалась его страсть ко всему редкому и экзотическому. Книжки из библиотеки Тувима удовлетворяли не только его склонность ко всему необычному. Библиотека поэта была его

литературной мастерской. «На полках писателя,— говорил Тувим,— должны стоять и всегда быть под рукой источники его материала: а этот материал — слово».



Ранним утром пятого сентября 1939 года Юлиан Тувим в переполненном людьми автомобиле спешно покидал Варшаву — гитлеровцы были уже на подступах к городу.

Еще накануне поэт уложил в фибровый чемодан рукописи — плоды многолетнего писательского труда, намереваясь «в случае чего» захватить с собой. Но сделать это было уже невозможно. Пришлось закопать чемодан в погребе на улице Злётной. Во время долгих месяцев эмиграции «не было дня на чужбине, — признавался поэт, — чтобы мысль моя не устремлялась к этому чемодану». С грустью вспоминал Юлиан Тувим и свою знаменитую библиотеку, любовно собранные за многие годы книги: «Тоскуя по родной стране, я тосковал по своей любимой библиотеке и своим библиофильским увлечениям». Вынужденный оставить на произвол судьбы свое сокровище, он едва ли предполагал, что с большинством из книг в тот сентябрь виделся в последний раз. Его библиотека разделила судьбу польской столицы. В трагические дни варшавского восстания из книг Тувима повстанцы соорудили баррикаду. Пули расстреливали редчайшие издания, в огне гибли уникальные экземпляры. От пяти тысяч томов, из которых состояла коллекция, уцелело немного, а из того, что было в чемодане, сохранилось только два пакета — «все остальное вылетело в трубу», — говорил Тувим.

Несмотря на эту потерю, страсть библиофила не угасла, давняя любовь Тувима к собирательству не прошла. С удесятеренной энергией после возвращения на родину он принялся за создание новой библиотеки. Она как бы продолжила традиции погибшего довоенного собрания. Ее назначение и теперь заключалось прежде всего в том, чтобы быть мастерской для поэта, где он черпал необходимый «строительный материал». Его любимым занятием было «погрузиться в петит примечаний». «У меня привычка или даже страсть рыться в старых журналах. Я делаю это многие годы — либо с определенной целью, то есть в поисках чего-то нужного мне в данный момент для той или иной работы, либо просто из ненасытной жажды коллекционера...»

Он любил пускаться в странствия по обширной стране, кото-

рую называл «страной исканий», любил делать неожиданные находки, сенсационные открытия. За это друзья в шутку называли его присяжным членом тайной Ложи Вечных Собирателей, Искателей, Вынюхивателей и Следопытов. Ему не давала покоя чудесная «страна исканий», владения которой, как он часто говорил, разбросаны по всему свету и которая скрывает несметные сокровища, то и дело извлекаемые на свет божий. Но страсть библиофила сочеталась у Тувима с пытливым мышлением ученого, литературного исследователя. Недаром на родине в Польше его считают не только выдающимся поэтом, но и крупным ученым, литературоведом. Рыться в книгах для него никогда не было самоцелью. Его поиск носил всегда конкретный характер. Многие годы он, например, был одержим стремлением вернуть польской литературе имена незаслуженно забытых писателей, извлечь их из тьмы забвения. Для этого он и проматривал груды комплектов старинных журналов. Таким путем Тувим «извлек из старых и редких изданий на дневной свет и напечатал» не одно забытое произведение отечественной литературы.

Сказался старый мой порок —
Любовь к курьезным дисциплинам
И к фолиантам страсть старинным,
Способность ради двух-трех строк
Листать истлевшие страницы
И голову в них зарыться...

Попутно Тувим находил в старых журналах интересные заметки, главным образом всевозможные литературные курьезы, материалы из истории правов, культуры и изобретений, рекламы и фольклора, лингвистики, что было ему особенно близко («рожден ловцом я слов»), разного рода головоломки, которые с азартом принимался разгадывать.

Кроме «Книги польских стихотворений XIX века», в результате «раскопок» родились сборники «Польская фантастическая новелла», «Пегас дыбом», «Антология пародий», «Четыре века польской фразки». Так появилась на свет и его детективная, как он говорил, новелла — «Стихотворение неизвестного поэта».

История, рассказанная Ю. Тувимом на страницах этой книги, знакомит нас с еще одной стороной многогранного таланта поэта, показывает его как литературного следопыта, как человека увлекающегося, немного фантазера, но упорного в достижении цели. Однако не только это — отличительная особенность книги Ю. Тувима о его литературных разысканиях. Не менее ценным и интересным является и то, что Тувим рассеял на

страницах своего рассказа массу любопытных наблюдений, сведений из истории литературы, журналистики, библиографии и даже психологии поэтического творчества. Вот почему эта работа польского поэта, впервые изданная уже после его смерти, заслуживает, как отмечает автор предисловия к ней Юлиуш В. Гомулицкий, самого горячего приема литературной общественностью.



Это было подлинным литературным приключением, одним из самых увлекательных и трудных странствий по «стране исканий». Оно началось весной 1952 года и длилось в течение почти двух лет до последних дней жизни поэта, так и не получив завершения.

Три страсти вовлекли его в эту историю, говорил Тувим, — беспокойное любопытство поэта, огонь искателя-следопыта и честолюбие составителя большой «Книги польских стихотворений XIX века», в которую должны были войти, в первую очередь, несправедливо забытые поэты. Выискивая материалы для этого издания, Тувим натолкнулся на сообщение о том, что в 1830 году продавалась рукопись неопубликованных стихотворений Адама Мицкевича, дальнейшая судьба которой была неизвестна. Заметка взбудоражила воображение Тувима, лишила его покоя. Еще бы, неизвестные рукописи гениального старика, — так Тувим называл обычно Адама Мицкевича, большим поклонником которого был.

Значит, где-то эти рукописные творения существуют! А если даже рукопись и пропала, то, вполне возможно, что кое-что из нее просочилось в печать того времени, может быть, под псевдонимом или анонимно. Вдруг ему повезет и удастся отыскать незамеченную исследователями драгоценность. Тувим обладал большими и разносторонними знаниями, поразительным упорством, настойчивостью и необыкновенным терпением в своих поисках, умел логикой сопоставлений и размышлений направлять их. «Можно в поисках определенного предмета, — писал он, — перетряхнуть до последнего клочка все известные библиотеки, собрания и архивы, — и не найти ровным счетом ничего. И в то же время, может так случиться, что это искомое, желанное обнаружится самым неожиданным образом в соседней лавочке под прилавком, либо в дальнем городке, в каком-то сундуке или в связке пожелтевших хозяйственных счетов помещика прошлого века. Как оно туда попало? Бог искателей ведет. Владения таинственной «страны исканий» не обозначены на карте, и никакой

компас или бусоль не укажет направления странствий. Это не значит, однако, что исследователь-следопыт должен всецело довериться капризу случая. Прекрасная книга И. Андроникова о Лермонтове доказывает, что логикой, упорством и научно-исследовательскими методами можно по нитке размотать весь клубок. И это самый верный путь».

Юлиан Тувим любил повторять: чем труднее, тем интереснее. Таков был его рабочий девиз. Им он руководствовался во всем своем творчестве — будь то создание собственных стихов, перевод «Евгения Онегина», «Горя от ума» или решение литературных загадок.

И на этот раз его упорство после нескольких недель труда было вознаграждено.

В поисках произведений забытых польских авторов Ю. Тувим просматривал комплект журнала «Магазин мод» за 1836 год. Главное содержание этого, предназначенного прежде всего для женщин, издания составлял случайный набор всевозможных литературных пустяков. Тувим упорно пробирался сквозь их чащу.

Просмотр «Магазина мод» шел к концу, а удалось «выловить» всего лишь один стишок. Видимо, ничего больше интересного не найти. С этим чувством Тувим приступил к просмотру 51-го номера журнала. «И вдруг — чудо! Человек не верит собственным глазам. Как алмаз, обнаруженный в мусорной яме, как уникальное издание среди груды плохих и скучных книг, как райская птица, выпорхнувшая из курятника», так перед Тувимом на одной из страниц «Журнала приятных сведений» (такой был подзаголовок у «Магазина мод») возникло прекрасное стихотворение. Этим «алмазом» оказались лирические стихи, коротко озаглавленные «К***». Но не заглавие и не само даже стихотворение заставило Тувима вздрогнуть, замереть от радости. Под стихами стояла подпись, всего лишь одна буква, словно током поразившая Тувима, — М.

Вот оно, затерянное наследие гениального старика. Заранее, настроив себя на такое восприятие стихотворения, прочитав его «на волне Мицкевича», Ю. Тувим почти не сомневался, что под криптонимом «М» скрыта фамилия автора «Пана Тадеуша».

И все же Тувим понимал, что пока не разыщет доказательств авторства, не вправе утверждать, что это подлинный Мицкевич. Стихи могли оказаться мастерским подражанием, возможно, даже произвольным, родившимся в результате «вслушивания» в поэзию «великого Адама».

Нужны доказательства. А для этого надо провести литературное расследование, которое поможет превратить гипотезу в

неоспоримый факт. Сделать это нелегко, но ведь «чем труднее, тем интереснее».

Начинает Тувим с психологического эксперимента — анкеты среди друзей и знакомых. Не раскрывая заранее своих целей, он читает нам стихотворение. Его интересует то, какое впечатление производит оно на слушателей. К радости Тувима, большинство, не сговариваясь, заявляет, что это Мицкевич. Однако настороженное отношение знатоков творчества поэта, хотя они и увидели в стихотворении черты большого сходства с Мицкевичем, заставило Тувима отнестись к находке более скрупулезно, тщательнее искать доказательства своего предположения.

Таким образом перед Тувимом встала дилемма — Мицкевич или его подражатель?

Тувим погружается в тома Мицкевича, ищет совпадения и сходство в других его произведениях, буквально не расстаётся с монографиями о нем, даже в поезде по пути к себе на дачу. Снова и снова сопоставляет, анализирует, делает сотни выписок из стихотворений. В пользу того, что это подлинный Мицкевич, говорит прежде всего стилистика стихотворения «K***», совпадающая с оригинальными произведениями Мицкевича. Но не только это. Известно, что многие стихи Мицкевича, которые печатались после 1831 года, были подписаны буквой М. Кроме этого, Тувим устанавливает, что в том же журнале «Магазин эдо», несколько лет спустя, были напечатаны два подлинных стихотворения Мицкевича вообще без какой-либо подписи, то есть анонимно. Что если, рассуждает Тувим, и загадочное стихотворение, «красноречиво» подписанное одним лишь М., и эти два стиха происходят из одного и того же источника, который ведет к рукописям Мицкевича?

Полагая, что попал на правильный след, Тувим то оживлялся, ободренный каким-либо новым аргументом в пользу своей гипотезы, проникался уверенностью и энергией, то вдруг впадал в уныние, и минорное настроение не покидало его.

Доказательство тождества: М равняется Мицкевич — требовало новых усилий, новых поисков, так как нить постоянно рвалась и путалась. И все же ему казалось, что вот-вот загадка будет решена, надо только сделать еще последнюю попытку, откопать еще одну «улику».



Однажды в сентябре 1952 года Ю. Тувим встретился в своем кабинете на Новом Святе с известным литературоведом Юлиу-

шем В. Гомулицким. Обычно беседа между ними начиналась с обсуждения новых книжных приобретений. «Но в этот раз,— рассказывает Гомулицкий,— расположившись против Тувима, я сразу догадался, что разговор пойдет в другом направлении — о Мицкевиче».

Как же счастлив и тот, кому бросишь ты слово,
Кто тонул в твоём взоре, лучистом и ярком.
Кто на шумном пиру пльь среди танца лихого
Из божественных рук удостоен подарком!..—

начал декламировать Тувим. Он читал, как истинный актер, его исполнение отличалось простотой и неподдельной взволнованностью. Выслушав стихотворение, Гомулицкий выразил сомнение — не есть ли оно продукт таланта подражателя.

Конечно, он не утверждает, что это стихи Мицкевича, отвечает ему Тувим, хотя был бы счастлив, если бы ему удалось найти неизвестное произведение великого поэта. «Я прекрасно понимаю,— говорил он,— что вам трудно поверить в такое счастье скромного искателя. Как теперь, спустя почти сто лет после смерти Старика, после всех Калленбахов и Пигоней (исследователи Мицкевича, известные литературоведы.— *Р. Б.*) обнаружить его неизвестное произведение. Да это просто в голову не умещается!»

А сколько раз исследователи ошибались, приписывая авторство неизвестных стихов Мицкевичу, напоминает Гомулицкий. Разве такой видный литературовед, как Антони Потоцкий, не был введен в заблуждение той же лаконичной подписью — М. под стихотворением «Думы осенней ночью», обнаруженном им в 1901 году в петербургском «Литературном новогоднике» за 1838 год?! А ведь его поддержали многие знатоки Мицкевича. Через год выяснилось, что стихи принадлежат другому поэту, точно так же, как и стихотворение «К польской сосне на чужбине», ошибочно подписанное в свое время именем Мицкевича.

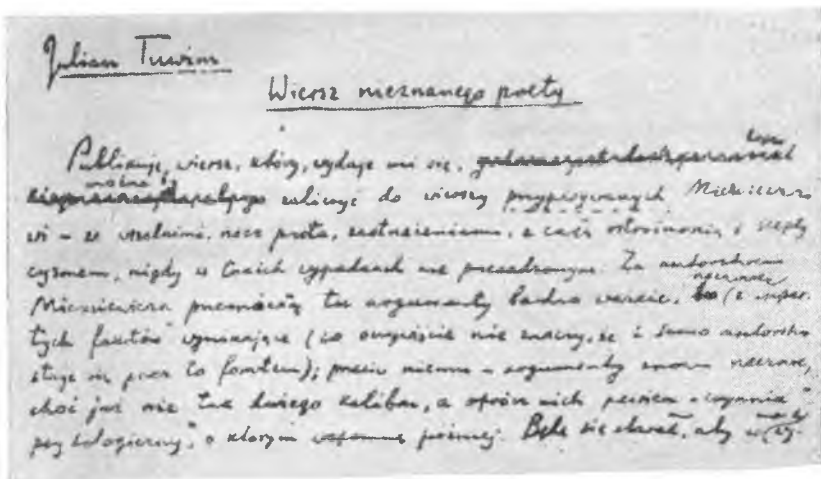
Вовлеченный в орбиту поисков автора злополучного стихотворения, Гомулицкий через некоторое время излагает Тувиму свои соображения. Напоминает, что рукопись якобы неопубликованных стихотворений Мицкевича — злостная мистификация. Кроме того, Гомулицкому удалось отыскать несколько стихов, подписанных буквой М., а также сочетанием А. М. К. и принадлежащих, видимо, одному автору, но отнюдь не Мицкевичу.

Выводы Гомулицкого убеждают Тувима в том, что аргументы против его гипотезы слишком веские.

«Несмотря на серьезные сомнения, колебания, взлеты и падения, я в течение нескольких месяцев питал иллюзии, что... слепой курице попало зерно,— писал он.— Причем, какое — золотое! Я по сто раз вчитывался в каждую строчку этого «подозрительного» стихотворения, сто раз сравнивал каждое сопоставление слов с так давно и хорошо известными мне. Как в детской игре было то «тепло, тепло!», то опять «холодно, холодно!». Я метался как в жару между двумя температурами, между огнем слабой надежды и тенью растущего сомнения. Такие чувства переживает, наверное, детектив, напавший на след преступника (боже мой, «преступника!»), или путешественник, вбивший себе в голову, что он непременно откроет в океане неизвестный остров. Я признался в своих робких подозрениях нескольким друзьям. Одни гасили огонек надежды холодной водой своих знаний, другие поддерживали его теплым, благословенным маслом «возможности». Золотое зерно то сияло блеском подлинности, то блекло, серело, в лучшем случае светилось фальшивым блеском латуни. Наконец, сомнения (повторяю — очень серьезные с самого начала) взяли верх, слепая курица махнула лапой на дальнейшие труды, отказалась от рассуждений, сравнений и поисков, сказала себе: «Нет! Наверное, нет!»

Оставив в тот момент поиски, Тувим, по совету Гомулицкого, решает описать свои переживания и сомнения, которые испытал за год преодоления «увлекательных трудностей». А заодно

Начало рукописи Ю. Тувима «Стихотворение неизвестного поэта».



рассказать о тех открытиях и приключениях, которые случились с ним во время путешествия по «стране исканий». Так родилось еще одно произведение Юлиана Тувима «Стихотворение неизвестного поэта». В нем он описал свое литературное «следствие» по «делу» о стихотворении «K***» и признал, что нисколько не жалеет о том, что не достиг желанных результатов, того, на что он так надеялся, ибо в процессе поисков столкнулся со множеством «сюрпризов» — ранее неизвестными произведениями польских авторов первой половины XIX века. «Детектив мог и ошибиться, — писал он, — но в ходе расследований мог добиться некоторых сведений, полезных криминалистике. Путешественник мог и не открыть неизвестного острова, но, бороздя моря, мог изловить кое-какие виды рыб, ранее неизвестные ихтиологам».

Однако нерешенная задача не давала ему покоя. Тувим возвращается к прерванным поискам, возобновляет «следствие». Сначала все силы направлены на то, чтобы расшифровать тождество М. = А. М. К. Потом возникают иные концепции, не дающие, однако, ответа на основной вопрос — если не Мицкевич, то кто же автор стихотворения? Новые сведения направляют его поиск в другое русло. Он упорно продвигается вперед, не сомневаясь, что литературная загадка рано или поздно будет решена.

Поэт прервал свои поиски и рукопись на полуслове — внезапная смерть не дала ему закончить почти двухлетний труд...

В одном из вариантов рассказа о своих поисках Тувим обращается к поэтам и литературоведам с просьбой помочь решить мучивший его литературный ребус. Довести поиск, начатый Тувимом, до конца довелось Гомулицкому.

Кто же все-таки был автором стихотворения «K***»? Не А[нонимный] М[астер], как одно время расшифровал Тувим первые две буквы в известном нам сочетании А. М. К., а скорее, говорит Гомулицкий, А[нонимный] М[истификатор] и Подражатель. Поэтому его следовало искать не среди видных поэтов того времени, а в числе наименее известных авторов и трудно уловимых, почти всегда выступавших под маской псевдонима.

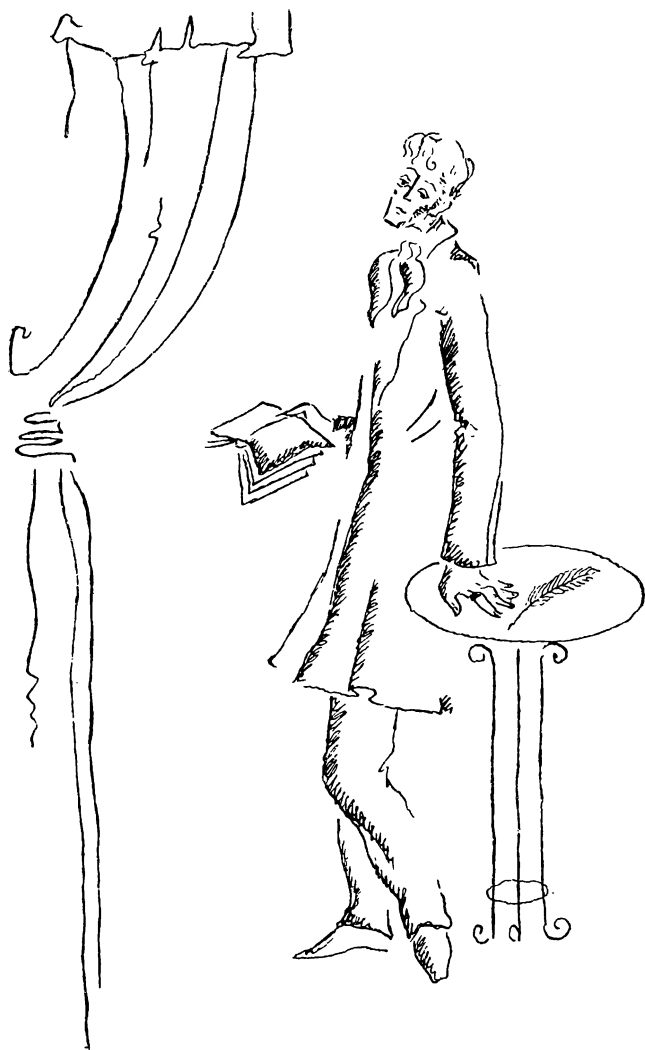
Откуда Гомулицкий узнал об этом? Сам он в шутку говорит в послесловии к книге Тувима, что ему удалось побывать в редакции журнала «Магазин мод» и получить ключ от письменного стола его редактора...

Новый скрупулезный поиск, с учетом наиболее трудного участка пути, пройденного Тувимом, его достижений, позволил

Гомулицкому, уже после смерти поэта, поставить точку в этой загадочной истории.

Таинственным автором стихотворения, подписанного буквой М., оказался Адам Амилькар Косинский — третестепенный варшавский литератор и перворазрядный мистификатор. Характеризуя его, Гомулицкий писал автору этих строк, что это был ловкий литературный обманщик и фальсификатор, бесцеремонно обкрадывавший других авторов, включая в свои стихи их образы, метафоры и готовые поэтические фразы. Опасаясь разоблачения, он пользовался многими псевдонимами и криптонимами.

В свете этой характеристики становится понятно, что спитое по мерке Мицкевича стихотворение «K***», представлявшее собой по существу литературный пастиш, то есть подделку, Косинский подписал криптонимом М. — начальной буквой фамилии великого польского поэта.



ПЕРСТЕНЬ-ТАЛИСМАН

Среди экспонатов московского Литературного музея есть малоприметное на первый взгляд медное кольцо. С ним связана одна грустная история, случившаяся в последние месяцы жизни безвременно умершего русского поэта Дмитрия Веневитинова.

...В один из последних дней октября 1826 года мимо Тверской заставы проехал возок. В нем сидели двое — молодой человек и невысокого роста, заметно облысевший господин. Юноша — Дмитрий Веневитинов из старинной знатной фамилии был молчалив. Зато его спутник, француз Воше, оказался на редкость разговорчивым; минуты не проходило без того, чтобы он не обратился к своему попутчику с вопросом, либо сам начинал рассказ о странствии по Сибири, откуда недавно вернулся. Судьба забросила его туда случайно. Он служил библиотекарем у графа Лавала. Был преданным слугой и пользовался доверием. И когда семья его хозяина постигло несчастье — муж дочери графа Лавала князь Трубецкой за участие в восстании на Сенатской площади был сослан в Нерчинские рудники, и его жена Екатерина Ивановна Трубецкая — первая из жен декабристов — двинулась вслед за мужем, Воше по просьбе графа поехал ее провожать. Вместе они проделали половину дальнего путешествия, когда неожиданно карета сломалась. Ехать вдвоем дальше оказалось невозможным. Княгиня решила продолжать путь одна. Воше пришлось вернуться. После короткой остановки в Москве, в доме Зинаиды Волконской, он продолжал путь в Петербург.

Дмитрий Веневитинов был рассеян и задумчив. И лишь когда речь заходила о подвиге русской женщины, смело отправившейся вслед за сосланным мужем, чтобы разделить его судьбу, Дмитрий оживлялся, повторяя: «Это делает честь веку».

Украдкой Воше поглядывал на соседа. Высокий благородный лоб, красивые задумчивые глаза, прямой нос, тонкие пальцы рук, выдающие в нем музыканта. Привычка вставлять в речь латинские и немецкие слова говорит о познаниях в языках. Его суждения зрелые и глубокие, его знание литературы и философии выдают натуру незаурядную и самобытную. «Философ жизни в двадцать лет» — позже назовут его друзья. «Какие думы в глубине его души таились, зрели?» — воскликнет о нем А. В. Кольцов. И еще многие видные поэты и литераторы надеялись его лестными эпитетами, будут славить его, но это будет позже, когда Веневитинова уже не будет в живых. Его имя дойдет до нас в ореоле, как одного из талантливых русских поэтов с «ужасной черной судьбой», выпадавшей, по словам А. Герцена, на долю всякого, кто осмеливался поднять в России голову выше уровня, начертанного императорским скипетром.

Не мог не заметить Воше и того, что его спутник то и дело поглядывал на медный перстень, прикрепленный в виде брелока к цепочке от часов. На вопрос, почему он не носит этот перстень на пальце, поэт уклончиво ответил, что оденет его лишь в день женитьбы или перед смертью.

Видимо, с этим кольцом, найденным, как пояснил Веневитинов, в гробнице при раскопках итальянского города Геркуланума в 1706 году, связана какая-то романтическая история...

Дмитрий Веневитинов ехал в Петербург на службу в Коллегию иностранных дел, где недавно открылась вакансия. Родные решили, что ему пора заняться «серьезным» делом. Друзья использовали свои знакомства в свете, и дело быстро устроилось. 23 октября состоялся «Указ о перемещении» к делам Коллегии, затем был получен «Проезжий указ» и необходимые рекомендательные письма. И вот лошади несли его в столицу.

С тоской покидал он милую Москву. Здесь оставались друзья его юности и та, которую называли «Северной Коринной» — очаровательная хозяйка знаменитого литературно-художественного салона — Зинаида Волконская. «Москву оставил я, как шальной, — не знаю, как не сошел с ума», — признается он позже в одном из писем.

Последние дни в Москве полны были волнующих событий. Вернулся из ссылки Пушкин. Неожиданное и радостное приглашение от поэта слушать его новую трагедию «Борис Годунов». Вскоре вторичное чтение в доме Веневитиновых в Кривоколенном переулке. Затем еще одно повторное чтение в «удивительное утро» 12 октября. А между этими двумя событиями, 11 октября, — день именин Зинаиды Волконской, день, который он запомнит навсегда. Отъезд в Петербург был тогда уже предрешен, дело было только за формальностями. В доме на Тверской, где жила З. Волконская, собрались в тот вечер литераторы и художники. Сама хозяйка — «царица муз и красоты», как называл ее Пушкин, умела своим талантом и умом придавать вечерам особую прелесть. Художница и певица, музыкантша и писательница, она обладала особым даром собирать вокруг себя людей. Ее богатый и щедрый дом всегда был полон гостей. Здесь разыгрывались домашние спектакли, пели и музицировали, читали стихи. Тут бывали Пушкин и Вяземский, Баратынский и Дельвиг, Мицкевич и Одоевский. Здесь проводил немало времени и молодой Дмитрий Веневитинов. Окна особняка на Тверской часто светились далеко за полночь, вызывая беспокойство следившей за домом полиции и считавшей, что этот «вертеп» — «средоточие всех недовольных».

В этом доме Дмитрий пережил первые порывы юношеской любви, первые романтические переживания молодости. «Певица красоты» — хозяйка дома — зажгла в нем огонь «томительный, мятежный». По словам юного поэта, лучшие его стихи посвящены ей, она «отравила» его «ядом мечты и страсти безотрадной», оставшись для него такой же далекой, как «звездочка в эфире».

В день именин Дмитрий преподнес Зинаиде Волконской посвященную ей пьесу. В ответ она, зная о его скором отъезде, подарила ему в память об их встречах старинный перстень. Это было напутствие: «В горький час прощальный, дружба любви рыдающей дала тебя залогом сострадания». С той минуты поэт называл перстень своим «верным талисманом», верил, что он охранит его от тяжких ран

И свста, и толпы ничтожной,
От едкой жажды славы ложной,
От обольстительной мечты,
И от душевной пустоты.

Это строки из стихотворения «К моему перстню». Он напишет его чуть позже, выльет в нем всю свою душу, и что самое удивительное, словно обладая волшебным даром предвидения, предречет свою судьбу.

Овеянный романтической легендой, перстень-талисман стал для Веневитинова драгоценным даром. Отныне он не расставался с ним.

Когда же я в час смерти буду
Прощаться с тем, что здесь люблю,
Тогда я друга умолю,
Чтоб он с моей руки холодной
Тебя, мой перстень, не снимал.

...Путешествие близилось к концу, когда внезапно, при въезде в Петербург, у заставы возок был остановлен жандармами. Несчастного Воше тут же допросили и как лицо «подозрительное» задержали. Вместе с ним подвергся аресту и Д. Веневитинов. Не забывайте, что это случилось менее, чем год спустя после 14 декабря. Еще велось следствие по делу декабристов, страх еще не прошел окончательно у нового царя... Неудивительно, что близкий к одному из главарей бунта Воше вызывал подозрение. Это усугублялось еще и тем, что он, возможно, вез что-либо «недозволенное» из Сибири, куда совершил поездку вместе с Екатериной Трубецкой. Словом, спокойнее было его арестовать и провести тщательное дознание. А заодно был схвачен и его спутник по дороге Д. Веневитинов. Впрочем, можно предпола-

гать, что и о нем у жандармов были не очень «лестные» сведения. В нем они тоже видели возможно бунтовщика, возмутителя спокойствия. И хотя прямых данных на этот счет у них не было, тем не менее они вполне могли подозревать его в связях с декабристами. Многое косвенно свидетельствовало о его симпатиях им. Да и сам Веневитинов на вопрос допрашивавшего его генерала о том, не принадлежал ли он к числу декабристов, прямо ответил: «Если и нет, то мог бы легко принадлежать к нему».

Почти двое суток продержали его под арестом в сыром, холодном помещении. Вышел оттуда он не только морально угнетенный учиненным ему допросом и бесцеремонным обращением, но и с подорванным здоровьем...

Светская жизнь столицы вовлекала Веневитинова в свой водоворот. Ему приходится делать визиты, бывать на балах, встречаться со многими людьми. Пустая болтовня, все эти «говорухи и умники» докучают ему, тоска мучает его, терзает сердце. Среди холодного, пустого и бездушного общества он чувствовал себя одиноким. И не проходит дня, чтобы он не написал матушке или знакомым письма. «Я далек сердцем от Петербурга», «скорее бы отсюда в Москву». Часто, заглушая душевную боль, спрашивает: «Что происходит на вечерах у княгини Зинаиды? Поют ли там, танцуют ли?»

Здоровье его не улучшается, и он с горечью сообщает об этом друзьям: пламя вдохновения погасло, «зажжется ли его свечильник?» Трудно жить, признается он, когда ничего не сделал, чтобы заслужить свое место в жизни. Надо что-то сделать хорошее, высокое, а жить и не делать ничего — нельзя. Он дружит со своими дипломатическими занятиями, интересуется языками, изучает историю Востока. И коль скоро нельзя вернуться в Москву, к милым его сердцу людям, мечтает о поездке в Персию при первой миссии, где, может быть, найдет вновь силы для жизни и вдохновения и где будет «на свободе петь с восточными соловьями».

Но и этим планам его не суждено было сбыться. Знакомых поражает его болезненный вид, то и дело он жалуется на боль в груди, кашель не покидает его.

В эти дни он обращается к своему талисману. В конце февраля 1827 года пишет стихотворение «К моему перстню». Полный роковых предчувствий, набрасывает строки:

Ты был отрыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.

Двадцатого марта у Ланских, в доме, где жил Веневитинов, состоялся небольшой вечер с танцами. Еще стояли морозы, но воздух был уже по-весеннему сыровато-промоглый. Разгоряченный Веневитинов после бала не остерегся — в накинутой на плечи шинели перебежал через двор к себе во флигель. Смертельная болезнь уложила его в постель. Через восемь дней его не стало.

Перед смертью друг Хомяков исполняет завет поэта: надел на палец его правой руки медный перстень — «чтоб нас и гроб не разлучал».

Дмитрий Веневитинов мечтал о подвиге, «когда цвет жизни приносишь в дань своей отчизне», а погиб на двадцать втором году, задуманный, по словам Герцена, грубыми тисками русской жизни; «нужен был другой закал, чтобы вынести воздух этой мрачной эпохи; нужно было с детства привыкнуть к этому резкому и непрерывному холодному ветру».

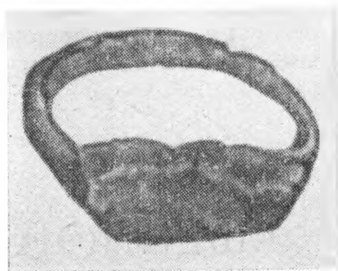
Друзья поэта долго еще хранили верность его памяти. В течение сорока лет они ежегодно собирались в день рождения поэта, оставляя за столом один прибор для «отбывшего» друга.

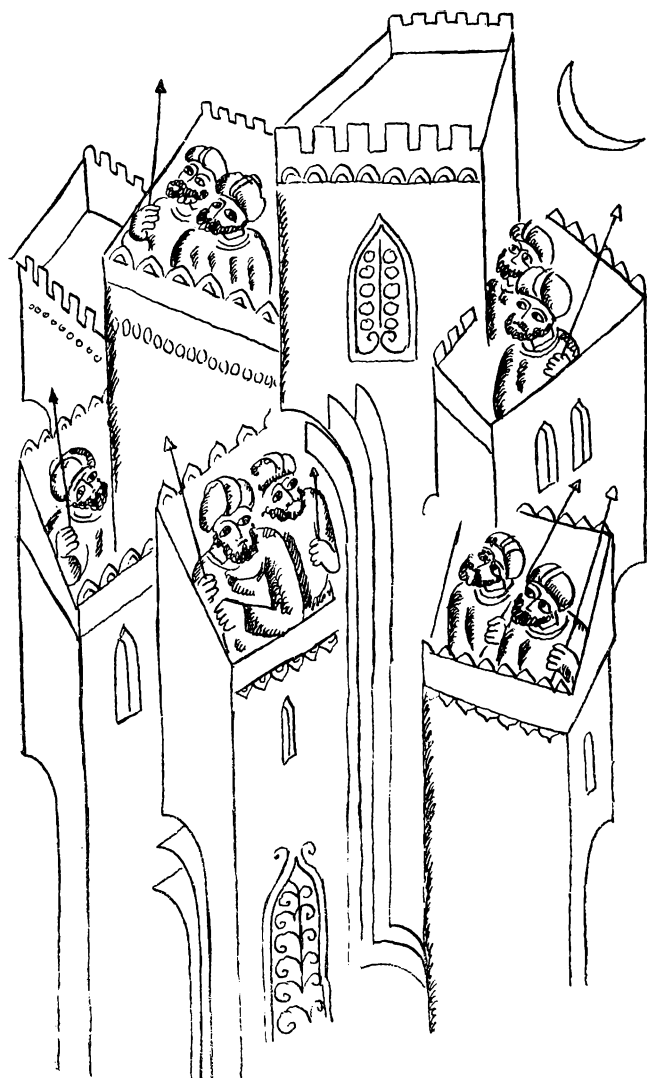
...Прошли годы. Минуло столетие. И вот в 1930 году суждено было сбыться пророчеству умершего поэта, о чем он предсказывал в своем обращении к перстню:

Века промчатся, и, быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя отроет вновь.

Во время сноса в Москве Симонова монастыря, где был похоронен Веневитинов, вскрыли могилу поэта с тем, чтобы перенести его останки на Ново-Девичье кладбище. На безымянном пальце его правой руки тусклым зеленым светом блеснул медный перстень...

Перстень Д. Веневитинова.





УЗНИК
СЕМИБАШЕННОГО ЗАМКА

Была у Льва Николаевича Толстого одна вещь — личная печать¹. Лев Николаевич хранил ее в особом чехле и собственноручно запечатывал ею письма. На конвертах оставался оттиск — фамильный герб Толстых, на котором выделялись семь башен с полумесяцами. Почему на гербовой печати Толстого изображены башни? И именно семь — не больше, не меньше? История этой печати и изображенного на ней рисунка уводит нас к временам Петра Первого в старую Москву, а отсюда еще дальше, на окраину турецкого города Стамбула...

Петр Андреевич Толстой, потомок «мужа честна», сын окольного и воеводы Черниговского, был одним из зачинщиков стрелецкого мятежа. Было ему тогда под сорок, и при дворе он числился стольником. Предугадав падение Софьи, он успел переметнуться на сторону молодого царя. Жизнь сохранить ему удалось, расположение и доверие Петра утратил на много лет.

С тех пор все усилия его последующей жизни были направлены лишь на то, чтобы завоевать доверие, замолить перед царем «великий грех».

Но ни успешная служба в Устюге, куда его назначили воеводой, ни заслуги во время Азовского похода не поколебали недоверчивости царя Петра. Толстой был терпелив, он умел выжидать, надеялся, что случай доказать свою преданность представится.

И когда Петр кликнул клич — стал набирать молодых дворян в заграничное учение, пятидесятилетний, женатый и многодетный Петр Андреевич Толстой сам вызвался ехать «в Европейские христианские государства для науки воинских дел».

Два года провел Толстой на чужбине, изучал математику, фортификацию, кораблестроение и прочие науки. Побывал в Италии, посетил Венецию и остров Мальту. Постиг премудрость итальянского языка. Аккуратно и тщательно вел дневник своих двухлетних странствий, который потом будет издан под названием: «Путешествие стольника Петра Андреевича Толстого».

Не успел Толстой вернуться в Москву, как ему вышло важное и трудное назначение быть послом «при дворе султановом». Событие по тому времени неслыханное. «Мой приезд, — писал Толстой, — учинил туркам великое сумнение; рассуждают так: никогда от веку не бывало, чтоб московскому послу у Порты жить».

При назначении Толстого послом «на Туретчину» сыграл

¹ Ныне она находится в московском музее Л. Н. Толстого, куда не так давно передал ее внук писателя С. С. Толстой.



Петр Андреевич Толстой.

роль не только его прирожденный талант дипломата, но и знание итальянского языка — в то время официального дипломатического языка Османской империи. Здесь-то и произошли те события, которые имеют непосредственное отношение к истории печати.

В начале 1702 года первый постоянный русский посол в Турции Петр Андреевич Толстой прибыл в Адринополь — местопребывание султана. Тут и определили ему жить. «В Константинополь не отпускают за подозрением», — сообщает Толстой в своих первых донесениях на родину.

Задача посла была далеко не из легких: султан поддерживал врагов России. Отношения между двумя странами были мало сказать натянутыми. При открыто враждебной обстановке посол России должен был суметь повлиять через султана на крымских татар, унять их набеги на русские земли и добиться того, чтобы Турция не вмешивалась в польские дела.

Главное — во что бы то ни стало, любыми средствами удержать Турцию от выступления против России, дабы не отвлекать ее от дел на западных границах. То лестью и подкупом, то угрозам и устрашением добивается посол своих целей.

Но вскоре он взмолился, просит сменить его на столь тягостном посту. Петр Первый, сумевший уже оценить старания опального стольника, отказывается удовлетворить его просьбу. Большая «нужда вам там побыть», — пишет царь своему послу. И заверяет, что не забудет его трудов.

В награду за труды Толстой получает от Петра Первого «персону царскую диамантами обложенную» — портрет царя, украшенный алмазами.

Все труднее становится положение посла. Король Карл XII,

разбитый под Полтавой, укрылся во владениях султана. Посол, следуя инструкциям, настаивает на изгнании незадачливого шведского монарха, помышлявшего «сочинить с турками любовь», а также требует выдачи изменника гетмана Мазепы.

Вместо удовлетворения этих требований султан избирает иной путь. В конце ноября 1710 года в торжественном заседании дивана решена война с Россией.

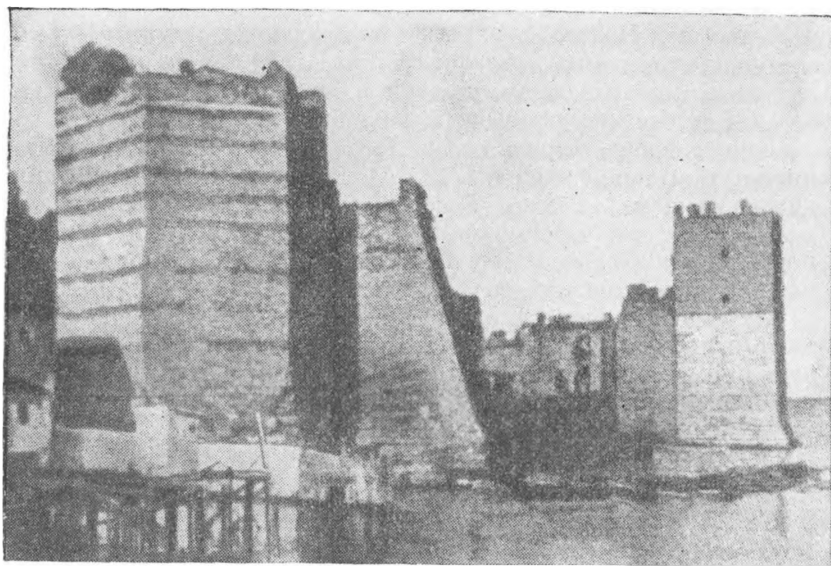
И тотчас же чрезвычайный и полномочный посол России подвергается неслыханному оскорблению и насилию: его заключают в стамбульскую тюрьму Едикюле.

Некогда, во времена процветания Византии, на месте Едикюле находилась крепость Циклобион, имевшая тогда пять башен и именовавшаяся поэтому еще Пентапиргоном. Здесь же были и знаменитые «Золотые ворота», те самые «врата Царьграда», к которым пригвоздил свой щит русский князь Олег.

После завоевания Константинополя Мехмедом Вторым к крепости пристроили еще две башни и она получила название Едикюле — то есть «Семибашенный замок». Немало повидали на своем веку камни этой турецкой Бастилии. На зубцах башен выставлялись головы казненных визирей. А в казематах, без воздуха и света нередко томпились захваченные взбунтовавшимися янычарами султаны. Здесь был задушен восемнадцатилетний Осман Второй. Здесь же находился и «колодезь крови» — в него бросали головы янычар, после того как эта гвардия была упразднена. Сюда же заключали и иностранных послов. Наперекор всяким правилам, их сажали в казематы всякий раз, когда султан выступал войной против какой-либо из стран. Этот нелепый и варварский обычай, свидетельствующий о довольно своеобразном толковании турками международного права, существовал вплоть до XIX века.

Здесь в одном из мрачных казематов «преисподнего тарта», как называли эту тюрьму, оказался и русский посол Петр Андреевич Толстой. «Когда турки посадили меня в заключение, — писал он, — тогда дом мой, конечно, разграбили... а меня, приведши в Семибашенную фортецию, посадили прежде под башню в глубокую земляную темницу, зело мрачную и смрадную...»

Неудивительно, что из 17 месяцев во время первого заключения Толстой 7 месяцев проболел, «и не мог упросить, чтоб хотя единожды прислали ко мне доктора». Не раз ему угрожали пытками, хотя само пребывание в этой тюрьме было подобно мучительной пытке. Ненадолго освобожденный из-под стражи



На окраине Стамбула высятся развалины некогда грозной крепост

Толстой вновь очутился в каземате, когда в декабре 1712 года султан вновь стал угрожать России войной.

И только в начале следующего года посла освободили. Наконец, после тринадцатилетнего пребывания в Турции, из коих более двух лет ему пришлось провести в заключении, он смог вернуться домой, на родину.

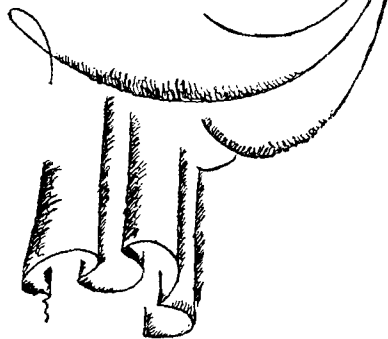
Недоверие к нему Петра Первого теперь было окончательно сломлено. Бывший мятежник доказал свою преданность верной службой. Ради интересов родины не жалел живота своего. Отныне Петр Первый не отпускает его от себя, оказывает ему всякие почести. И только иногда, во время пиров, намекая на прошлое своего сенатора, президента комерц-коллегии Петра Андреевича Толстого, в шутку сдергивал с его головы модный в ту пору парик и, ударя любимца по лысине, приговаривал: «Головушка, головушка, если бы ты не была так умна, то давно бы с телом разлучена была».

Воспоминания о страшных месяцах, проведенных в турецкой тюрьме, Толстой сохранит до конца своих дней. Об этом будет напоминать ему и та часть фамильного герба, который он обре-

тет вместе с графским титулом в 1724 году, где изображены семь башен с полумесяцами — обозначающими, что он был «Чрезвычайным и Полномочным послом при Порте Оттоманской тринадцать лет... от турок был двоекратно в заточении в крепости, именуемой Едикуле, то есть семибашенной, содержан», и что здесь «за интересы отечества своего страдал».

Умер Толстой в Соловецком монастыре, куда его сослал все- сильный Меншиков после смерти Петра Первого. Среди его вещей печати не оказалось. Ни к чему было брать с собой в ссылку эту теперь для него бесполезную вещь. Ее хранили родственники, как реликвию, напоминавшую о заслугах перед Россией их знаменитого предка. Потом печать досталась внуку петровского дипломата — прадеду писателя Андрею Ивановичу, а от него по наследству перешла Льву Николаевичу Толстому.





ТАЙНА
«МЕБЕЛИ
РОЗОВОГО ДЕРЕВА»

Профессор римской литературы господин Бержере, герой романа Анатоля Франса «Современная история», ненавидел фальсификаторов. Однако снисходительно считал, что подобный грех позволителен филологу. Видимо, потому, что и сам любил удивлять своих друзей «случайно» обнаруженными древними греческими текстами или выписками из редких книг, название которых почему-то отсутствовало в библиографических справочниках.

В руках профессора каким-то странным образом оказывался то греческий текст, якобы найденный в одной из гробниц города Филы, который он переводил на французский, то редкое уникальное издание XVI столетия, откуда он будто бы списывал одну из «весьма любопытных глав». Друзья ученого, ученики знали об этой особенности профессора. Прослушав очередной перевод «неизвестного» текста, они лишь понимающе улыбались.

Франсовский любитель литературных мистификаций — образ в известной мере собирательный, и писатель не случайно наделил его особой страстью. Перелистайте страницы истории мировой литературы и вы обнаружите немало анонимных изданий и загадочных псевдонимов, талаптливые мистификации и ловкие литературные подделки. Современники часто и не подозревают о литературном обмане. Только много лет спустя, благодаря неожиданной находке или случайному открытию, выясняется поражающая всех истина. Так было с опубликованными в XVI веке гуманистом Сигониусом неизвестными отрывками из Цицерона. Двести лет верили, что это действительно принадлежащие знаменитому римлянину произведения. Обман был раскрыт два века спустя благодаря найденному в архиве письму Сигониуса, в котором он признавался в мистификации. А разве творчество легендарного барда Оссиана не оказалось плодом воображения английского поэта Джона Макферсона и испанку Клару Гасуль не «породил» Проспер Мериме? А история со знаменитой Краледворской рукописью, оказавшейся созданием чешского филолога Вячеслава Ганки?

Наиболее талантливые из этих произведений, вышедшие из под пера мастера, остаются и после разоблачения в большой литературе. Другие оказываются низвергнутыми с пьедестала, на который их незаконно вознесла ловкость авторов. Место таких произведений в музее литературной криминалистики.

Однако в литературе поспешные, скороспелые выводы так же опасны, как и в судебной практике. Прежде чем произнести приговор над «подозреваемой» книгой, необходимо взвесить все фак-

ты, тщательно изучить обстоятельства «дела», провести, если требуется, дополнительное расследование. И только после этого выносить суждение. Сделать это бывает тем более нелегко, что нередко в литературе приходится идти не по горячим следам произведения, а иметь дело с давними, как говорится, застарелыми случаями. Поэтому «дознание» иногда длится не один десяток лет. Бывает и так, что в ходе расследования отпадают все подозрения в адрес литературного произведения и ему возвращается «доброе имя».

Более трех десятков лет потребовалось для того, чтобы с наибольшей долей вероятности определить подлинного автора повести «Мебель розового дерева».

Впервые, как теперь установлено, эта повесть появилась в Будапеште в 1896 году в издании «Дешевой библиотечки». В этом не было ничего странного, если бы на обложке книги не стояло имя Анатоля Франса. Но что же здесь необычного? Разве мало вещей этого французского писателя переводилось на другие языки? Конечно, немало. Но с этой повестью произошел особый случай.

Когда в 1920 году в Венгрии задумали выпустить собрание сочинений Анатоля Франса, неожиданно выяснилось, что подлинника повести «Мебель розового дерева» не существует. Более того, такое произведение вообще неизвестно ни на родине писателя во Франции, ни в других странах.

С тех пор вот уже несколько десятилетий ведутся поиски пропавшей рукописи Франса. Впрочем, пропавшей ли? А что, если и на этот раз здесь замешан один из тех фальсификаторов, о которых тот же Анатоль Франс говорил, что их «почетное жульничество обогатило светскую литературу... столькими поддельными книгами»? Может быть, и это литературная мистификация? И автор повести вовсе не Анатоль Франс, а кто-то другой? Но в таком случае кто?

Этот вопрос задал себе в начале тридцатых годов венгерский критик и литературовед, романист и поэт Аладар Комлош — «человек с вечно молодой душой, боевой пропагандист и агитатор священного дела венгерской литературы», — как писал о нем еженедельник «Элет еш иродалом».

В поисках автора таинственной повести Аладар Комлош исходил немало литературных дорог. Более четверти века провел он в пути, шел по следу с упорством исследователя и одержимостью романтика, открывателя неизвестных литературных «земель».

Подозрение в мистификации возникло у А. Комлоша однаж-

A RÓZSAFA BÚTOR

BESZÉLY

HUTA

FRANCE ANATOL.

FRANCOZLABOL FORDITOTTA

R. F.



BUDAPEST.

FRANKLIN-TÁRSULAT

MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVTOMDA.

1896.

Обложка первого венгерского издания повести «Мебель розового дерева».

ды во время беседы о литературных обманах Калмана Тали, «создателя» знаменитых куруцких песен.

Песенная поэзия куруцев — борцов за свободу, солдат Ракоци, выступавших против гнета иноземцев, сохранилась главным образом в немногочисленных рукописных сборниках. Время от времени их удавалось разыскать в старых библиотеках, в частных собраниях, в архивах. Отдельные песни находили в частных письмах, обнаруживали на полях книг, где они были вписаны от руки. Словом, собирали их по крупицам. Среди куруцких песен встречались подлинные шедевры, достойные пера великих поэтов. Безымянные их творцы пели о горькой жизни крестьян, о трудной солдатской доле, о повстанцах и их ратных подвигах и победах.

«Мы покажем иноземцам, мы докажем им в бою силу нашего народа, честь солдатскую свою!» — говорилось в одной из песен. И все же из песен куруцев сохранились далеко не все. Еще в прошлом веке было известно, что на протяжении трех предшествовавших столетий по всей Венгрии ходили рукописные списки героических песен и баллад. Однако уцелело из этого ничтожно мало, большинство считалось безвозвратно пропавшим. Так, по крайней мере, думали до середины прошлого века, а точнее до 1864 года. В этот именно год, к радости всех любителей и почитателей венгерской поэзии, были изданы два тома «Старинных венгерских героических и народных песен». Составитель сборника поэт и историк Калман Тали, как сообщал он сам, собрал эти песни после долгих и упорных поисков из неизвестных рукописей прошлых веков. Появление двухтомника Калмана Тали стало сенсацией. Наконец-то обнаружены настоящие куруцкие песни! И при том в каком количестве! Теперь творчество безвестных народных поэтов широко предстало перед потомками во всей своей прелести.

Успех сборника вдохновил неутомимого Калмана Тали на продолжение поисков. И снова Тали повезло, он преуспел, и на этот раз. Даже слишком преуспел. Вскоре им были опубликованы новые замечательные народные песни, найденные в пыли библиотек и хранилищ, среди старинных манускриптов. И снова находка упорного исследователя привела в восторг читателей и поразила знатоков. А скоро песенное народное творчество, ставшее благодаря розыскам Тали достоянием его соотечественников, украсило страницы хрестоматий и учебников, песням посвящали исследования филологи и историки, их включали в антологии.

Когда тот, кто совершил, как считали современники, подвиг

во славу отчизны, умер (это случилось в 1909 году), не было человека, который не славил бы Калмана Тали, его заслуги в собирании венгерской народной поэзии.

А несколько лет спустя после смерти Калмана Тали и ровно через пятьдесят лет после того, как он опубликовал первый сборник куруцких песен, разразился скандал. Причиной его стала статья, в которой утверждалось, что народные песни и баллады куруцев, с таким тщанием и усердием собранные и изданные Калманом Тали, не что иное, как талантливая мистификация. И это заявлял не кто-нибудь, а профессор Фридьеш Ридл, прекрасный знаток венгерской литературы. Он неопровержимо доказал, что куруцкие песни, с таким якобы трудом разысканные Тали, сложены не куруцами, а принадлежат перу самого Калмана Тали.

Неудивительно, что вслед за таким утверждением последовала буря негодования. Многие пытались защищать «честь» К. Тали. А между тем Ф. Ридл, установив авторство Калмана Тали, не только не оскорбил его, а, напротив, принес ему своим разоблачением посмертную еще большую славу. Да, говорил Ф. Ридл, Тали совершил «подлог», он «фальсифицировал» народную поэзию, но движим он был благородным побуждением. Его вдохновляли дела и подвиги куруцев. Сначала он и не помышлял о мистификации, а просто писал стихи о справедливой борьбе куруцев и подписывал их своим именем. Но потом настолько увлекся стилем старинных песен и баллад, что стал и свои собственные стихи писать в том же духе; тогда-то он и перестал их подписывать.

Калман Тали с большим мастерством воспроизводил в стихах стиль той далекой эпохи. Однако эти песни и баллады, написанные человеком, знакомым с творчеством Петефи и Араня, звучали вполне современно, и «может быть,— писал Ф. Ридл.— в этом и кроется причина их огромной популярности у нас». Нет, только ради прославления героев-куруцев Тали писал свои баллады и песни и только ради вящей славы утаил свое авторство. И отвечая на нападки «патриотов», Ф. Ридл говорил, что «в богатом океане народной поэзии несколькими жемчужинами больше или меньше в счет не идет. Наша народная поэзия не понесет чувствительной потери, если мы признаем, что эти прекрасные баллады написал Тали». Как считал Ф. Ридл, Тали, добровольно отрекшись от авторства, тем самым совершил бескорыстный поступок. А для литератора это равносильно жертве и свидетельствует о полном отсутствии честолюбия.

Когда думаешь о том, писал Ф. Ридл, что Тали свои чудесные

стихи выдал за народные, то вспоминаешь слова одной из его баллад. В ней автор спрашивает, кто написал эту балладу, и отвечает: «Настоящий сын Венгрии, уж этому-то каждый может поверить».

В истории со стихами куруцев Ф. Ридл выступил в роли разоблачителя мистификации Калмана Тали. А что если в случае с повестью «Мебель розового дерева» Ридл, известный знаток литературы, академик, тонкий мастер пера, исследователь творчества Зрини, Верешмарти, Петефи, Араия, «вдохновленный» опытом Тали, пошел по его пути?

Что давало основания сделать такое предположение? То, что венгерский перевод повести «Мебель розового дерева» был подписан инициалами Ф. Р. Не замешан ли здесь все тот же Фридьеш Ридл, — решил А. Комлош.

В самом деле, что если «Ф. Р.» никакой не переводчик, а за этими инициалами скрылся истинный автор повести — Фридьеш Ридл. В мировой литературе предостаточно таких примеров. Нет, здесь положительно стоило как следует разобраться. Вполне можно было допустить, что Ф. Ридл, любивший покрывать свою деятельность завесой тайны, сам написал эту превосходную повесть и, обратив все в грандиозную шутку, выдал повесть за произведение А. Франса.

Но, внимательно перечитав еще раз историю старого холостяка — учителя в провинциальном колледже из «Мебели розового дерева», Аладар Комлош понял, что повесть эта — произведение слишком талантливое, написано рукой мастера. А главное, по духу оно очень близко некоторым франсовским творениям. В нем много типичных для Франса особенностей стиля, масса деталей и подробностей из французской жизни, которые могли быть известны только французу. Нет, венгерский писатель вряд ли мог быть ее автором. Тогда с удесyтеренной энергией А. Комлош пускается на розыски фактов, которые подтвердили бы авторство А. Франса. Однако и здесь его ждало разочарование. В двадцатипятитомном собрании сочинений А. Франса, выпущенном издательством Кальман-Леви, нет и следа «Мебели розового дерева». Знатоки творчества французского писателя, его биографы ни словом нигде не обмолвливаются о таком произведении. О словарях не приходится и говорить.

По просьбе А. Комлоша, один из его друзей занялся поисками следов «Мебели розового дерева» в парижской национальной библиотеке. Увы, французский оригинал как сквозь землю провалился. А ведь не могло же так просто затеряться произведение в несколько десятков страниц. Те годы, когда повесть была

опубликована в Венгрии, были годами великого успеха Анатоля Франса. Слава его перешагнула границы Франции, его жаждут читать во всем мире, в том числе и в Венгрии. К нему обращаются из Венгрии с просьбой прислать что-нибудь свое. Анатолий Франс, не умеющий говорить нет, идет к себе в кабинет, роется в ящике стола, вынимает оттуда единственный рукописный экземпляр незавершенной повести и не задумываясь о том, чтобы ее зарегистрировать, ибо не ведет учета своих рукописей, отсылает ее в Будапешт. Он «не умел отказывать в удовольствии ради удовольствия для других».

И все же трудно было поверить, чтобы о повести не осталось каких-либо следов в записях А. Франса, в его переписке. Как нельзя было предположить и то, что издатели, буквально охотившиеся за каждым неизвестным произведением А. Франса, могли «прозевать» такую замечательную его повесть. Здесь что-то не так, говорил себе А. Комлош. Он искал самозабвенно и увлеченно, работал, словно детектив; писал письма в Париж издателям А. Франса, разыскал его бывшего секретаря и всем задавал один и тот же вопрос: не известно ли им что-либо о такой повести. Ему пришла в голову мысль просмотреть архивы издательства, выпускавшего книги «Дешевой библиотечки». Возможно, сохранились гонорарные ведомости. По ним легко будет установить автора, которому были выплачены деньги за повесть, а также расшифровать имя переводчика. Но и тут его постигла неудача: писателям-иностранцам в конце прошлого века гонорар вообще не платили, к тому же все издательские счета давно были уничтожены.

В разгар этих поисков пришло письмо из Франции от знатока творчества А. Франса, сотрудника издательства Кальмана-Леви Леона Кариаса. «Я сделал все возможное,— писал он,— чтобы отыскать в жизни и трудах А. Франса хотя бы какой-нибудь след повести, о которой вы меня спрашиваете. Все мои усилия ни к чему не привели. Я почти уверен, что речь идет о литературной мистификации и что французского оригинала этого произведения вообще не существует».

Вывод был достаточно категоричский, чтобы охладить пыл «следопыта»-литературоведа. Видимо, ничего не оставалось, как сложить оружие и отказаться от мысли, что «Мебель розового дерева» — произведение А. Франса.

Значит — литературная мистификация. И автор ее, если судить по инициалам, которыми подписан мнимый венгерский перевод, — все-таки Фридьеш Ридл. У А. Комлоша возникла мысль о том, что, возможно, существует целое «тайное» твор-

чество Ф. Ридла — разбросанные по журналам произведения якобы иностранных авторов и переведенные неким «Ф. Р.» на венгерский язык.

Начался розыск этого «тайного» литературного наследства. Прежде всего следовало просмотреть комплекты журнала «Будапешти семле», постоянным сотрудником которого был Ф. Ридл. И вот тут-то Комлош встретился с тем, что изменило все направление его поисков. В оглавлении нескольких номеров подряд за 1896 год значилось: «Мебель розового дерева», повесть А. Франса, перевод на венгерский И. Р.

Во-первых, из этого вытекало, что повесть была опубликована журналом раньше, чем она вышла отдельным изданием. В этом, впрочем, не было ничего особенного: и журнал, и «Дешевую библиотечку» издавал один и тот же редактор. Комлоша заинтересовало другое: почему в журнале переводчик подписан другими инициалами? Возможно, это опечатка? Но тогда она не повторялась бы в нескольких номерах. Следовательно, опечатка в инициалах была допущена не в журнале, а при отдельном издании повести. И за правильные инициалы надо считать И. Р., а не Ф. Р. Версия с авторством Ф. Ридла таким образом отпадала. Кто же в таком случае скрывался за буквами И. Р.? Для того чтобы разрешить эту новую загадку, потребовалось немного времени. За инициалами И. Р. скрывалась Иолан Речи — супруга профессора Дюлы Харасты, преподавателя французского языка и литературы в университете. Иолан Речи была известна как переводчица многих произведений французских писателей. Причем ее переводы часто печатались в журнале «Будапешти семле». Едва ли можно было ожидать с ее стороны такой блестящей литературной подделки. Обман исключался и со стороны ее мужа профессора, весьма дорожившего своей репутацией. Ведь в случае разоблачения вся его карьера была бы под угрозой. Но то, что венгерский перевод повести А. Франса вышел из дома супругов Харасты, не вызывало сомнений. В этом все больше убеждался А. Комлош. Подтверждение этого он нашел и в переписке Д. Харасты, опубликованной в 1910 году. Среди его эпистолярного наследства оказалось и письмо редактора журнала «Будапешти семле», в котором тот просил у Харасты переводной рассказ «...по возможности того самого французского писателя, рассказы которого я уже печатал, а вы мне с большой похвалой отзывались еще об одном его произведении — о столе розового дерева». Автор письма признавался, что запамätовал имя французского писателя.

В ответ на это письмо рассеянного редактора Д. Харасты

пишет ему 30 декабря 1896 года: «Посылаю вам перевод одного из самых известных итальянских рассказов Стендаля». А дальше следуют слова, которые в какой-то мере объясняют происхождение венгерского перевода повести А. Франса. «Я трижды писал, чтобы получить какой-нибудь рассказ Анатоля Франса, — сообщает Харати, — возможно, когда-нибудь и пришлют, а мы переведем».

Слова «трижды писал» А. Комлош считает ключом к разгадке тайны повести, остается только найти замок, который отпирался бы этим ключом.

Между тем переписка продолжалась. В январе следующего года редактор журнала в очередном письме выражает радость по поводу того, что рассказ А. Франса получен и переводится. «Прошу вас, — пишет он, — пришлите мне как можно скорее перевод». А в марте «Будапешти семле» уже начинает печатать «Мебель розового дерева». Из всего этого можно заключить, что повесть была переведена действительно супругами Харати, от которых и получил ее редактор «Будапешти семле», и что профессор Харати считал ее принадлежащей перу А. Франса и несколько раз писал во Францию, чтобы получить повесть. Оставалось довыяснить: кому писал Харати. И от кого была получена повесть — от самого автора А. Франса, от его издателя или от друзей писателя?

Но на этом, признается А. Комлош, его расследования зашли в тупик. О своих поисках, открытиях и сомнениях он рассказал еще в начале тридцатых годов в статье, опубликованной в журнале «Пешто напло». В прессе развернулась дискуссия. Об одном курьезном эпизоде этого спора стоит рассказать. Писатель Бела Ревес¹ в статье, опубликованной в газете «Эшт», заявил, что у него имеется бесспорное доказательство авторства А. Франса: собственноручная надпись писателя на венгерском издании повести «Мебель розового дерева». Книга якобы была послана Ревесу самим А. Франсом через секретаря Белени. Она привезла книгу из Парижа, на ней по-французски было написано: «Дорогому другу Ревесу. Анатоль Франс». Газета воспроизводила факсимиле подписи французского писателя. Казалось, спор был разрешен. Сам А. Франс подтверждал надписью на венгерском издании его повести свое авторство. Но уже через три дня в газете было помещено опровержение. Сообщалось, что подпись

¹ Один из видных венгерских писателей. После поражения революции 1919 года и падения Венгерской Советской Республики эмигрировал в Вену. В 1944 году стал одной из первых жертв гестапо. Погиб в газовой камере Освенцима.

А. Франса подделана. Как оказалось, над Ревесом подшутили его венгерские друзья.

Уже после войны А. Комлош предпринял новую попытку разгадать занимавшую его много лет литературную загадку. Он обратился через газету «Леттр франсез» к французским читателям. Надеялся, что соотечественники А. Франса помогут ему найти оригинал таинственной повести. Отклики на статью были не убедительными. Некоторые прямо заявляли, что считают все это обманом. Другие удивлялись, что об истории с венгерским изданием «Мебели розового дерева» ничего не знала секретарь А. Франса венгерка Белени. А ведь если бы она знала, то непременно должна была бы рассказать об этом на страницах одной из своих книг, посвященных А. Франсу.

С именем Белени, известной в венгерской литературе под псевдонимом Шандор Кемери, связана судьба другого рассказа А. Франса. Интересно, что эта история в какой-то степени перекликается с историей повести «Мебель розового дерева».

До первой мировой войны Белени жила в Париже и работала несколько лет секретарем у А. Франса. Однажды она обратилась к нему с просьбой предоставить ей какое-либо неизданное его произведение для перевода на венгерский язык. А. Франс передал ей рукопись своего рассказа «Одно из величайших открытий нашего времени». Однако на венгерском языке рассказ так и не появился. И вообще до 1935 года напечатан не был. Только в этом году он впервые был опубликован в 25-м томе французского полного собрания сочинений А. Франса. В комментариях говорилось, что рассказ публикуется по рукописному экземпляру, сохранившемуся у Шандор Кемери¹.

Как же сложилась дальнейшая судьба повести А. Франса «Мебель розового дерева»? В 1955 году она была в переводе с венгерского опубликована на немецком языке в литературном еженедельнике «Зонитат» (ГДР). Затем вышло ее отдельное немецкое издание с прекрасными рисунками Макса Швиммера. Так повесть А. Франса перешагнула пределы Венгрии — место ее печатного рождения. Вскоре с ней познакомились в различных странах, в том числе и у нас в Советском Союзе. Загадка ее получила широкую огласку. Повестью заинтересовались литературоведы Германии, Франции, СССР и США. В поиски включились многие ученые, и это позволяет надеяться, как считает

¹ Она умерла недавно, в 1951 году, и известна главным образом как автор «Книги страданий» — об ужасах и пытках, пережитых ею в концентрационном лагере, где она оказалась после разгрома в 1919 году Венгерской Советской Республики.

А. Комлош, на то, что скоро будут найдены неопровержимые доказательства в пользу авторства Анатоля Франса.

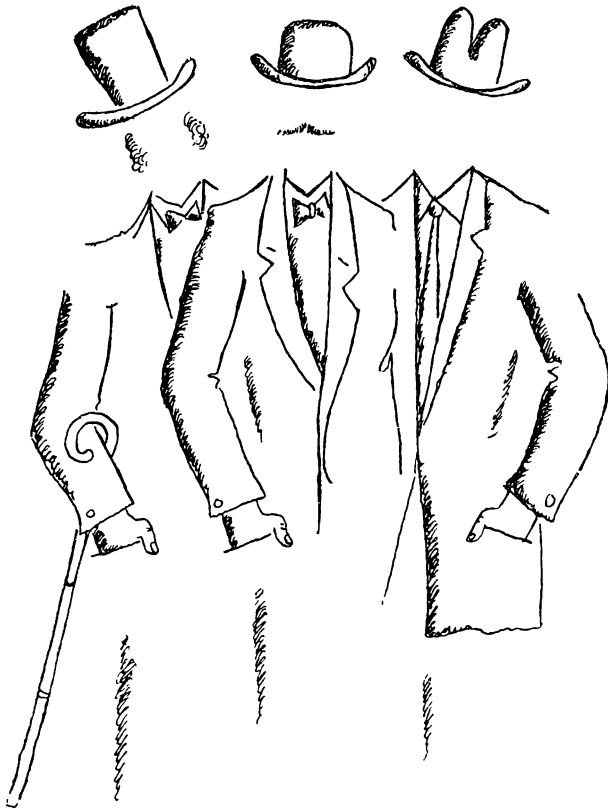
Впрочем, мнения специалистов по вопросу о том, подделка ли это или подлинный Франс — разделились. Вопрос был поставлен на обсуждение в обществе им. Анатоля Франса. В нем приняли участие внук писателя Люсьен Псикари, хранитель части архива и библиотеки своего деда, писатель и исследователь творчества А. Франса Клод Авелин, председатель общества Грюнебаум-Баллин, один из биографов А. Франса Жак Суффель. Было установлено, что во Франции нет оригинала рукописи повести «Мебель розового дерева», так же, как не имеется каких-либо следов того, что такая рукопись вообще существовала.

После обсуждения в обществе им. Анатоля Франса в печати был опубликован отчет. Среди откликов на него неожиданно оказалось письмо из Филадельфии от некоей Катарины Полгар. Она сообщила, что ее родители были хорошо знакомы с супругами Харасты. К. Полгар заявляла, что у них в семье знали, что Харасты сами сочинили повесть. Они придумали эту литературную шутку, чтобы посмеяться над будапештскими снобами. А гарнитур мебели розового дерева, точно такой же, как тот, о котором идет речь в повести, по словам К. Полгар, украшал гостиную самих супругов Харасты и был приобретен ими на аукционе в Париже.

По этому поводу А. Комлош пишет автору этих строк, что продолжает считать (как и некоторые исследователи во Франции) свою гипотезу относительно авторства Анатоля Франса не опровергнутой.

«Супруги Харасты, — говорит А. Комлош в своем письме, — не были столь талантливы, чтобы создать такую превосходную новеллу, даже если у них и была мебель розового дерева. Свидетельство К. Полгар, — которую он знал лично, по словам А. Комлоша, — не заслуживает серьезного доверия».

Но не это дает ему основание надеяться на разрешение загадки. Главное в том, что литературное наследие А. Франса далеко не все собрано воедино, часть его все еще разбросана по частным собраниям, возможны открытия и в архивах. Это-то и вселяет надежду, что поиски оригинала «Мебели розового дерева» приведут в конце концов к желанной находке, благодаря которой будет поставлена точка в этой загадочной истории.



Многоликий ТРАВЕН

Еще недавно на вопрос, кто такой Травен, можно было услышать: всемирно известный «неизвестный» писатель. Книгами Б. Травена — а им создано полтора десятка романов — зачитывались во многих странах. Лучшие его произведения переведены и на русский язык: «Сборщики хлопка», «Восстание повешенных», «Корабль мертвецов», «Клад Сьерра-Мадре», «Проклятие золота». Последней из вышедших у нас книг был роман «Поход в страну Каоба», изданный в 1958 году в Детгизе. наших читателей в книгах Б. Травена привлекло правдивое изображение жизни тружеников Латинской Америки, и прежде всего Мексики — индейцев, сезонных рабочих, крестьян. Писатель рассказывал о нечеловеческих условиях, в которых трудятся мексиканские рабочие-лесорубы пеоны, поднимающие наконец знамя восстания. Осуждая тиранию, расизм, писатель показывает, как героически «мексиканский пролетарий-индеец сражается за свое освобождение, за то, чтобы пробиться к свету солнца». Не случайно один мексиканский журнал писал, что «ни один мексиканец, ни один иностранец еще не изобразил мексиканскую действительность с такой правдивостью».

И тем не менее личность автора этих книг, его подлинная биография оставались много лет загадкой. Кто же он? Кто скрывался под этим именем? Усердные литературоведы, дотошные репортеры, частные детективы не раз пытались ответить на эти вопросы, они охотились за каждым «подозрительным», в ком им виделся таинственный автор романов, подписанных именем Травен. Время от времени в печати вспыхивали эпидемии статей, посвященных Травену. Страницы солидных буржуазных изданий пестрели броскими заголовками: «Жизнь Травена скрывается во тьме», «Известный прозаик играет в кошки-мышки со своими читателями», «Писатель, книги которого изданы миллионными тиражами, остается неизвестным». Его пути-дороги действительно оставались неизвестными. Место, где он жил в Мексике, сохранялось в тайне. Он бежал от славы с тем же рвением, с каким другие буржуазные писатели рвутся к ней. Это походило на парадокс, казалось неправдоподобным в мире бизнесса.

Нередко через печать с ним пытались вступить в диалог, задавали вопросы — кто он, где скрывается, почему? Травен отвечал на страницах газет, чтобы его оставили в покое, прекратили охотиться за ним.

Однажды один издатель попросил у Травена его фотографию. В ответ писатель прислал снимки нескольких сот людей, заявив, что он — среди них. Тем самым желая подчеркнуть, что он обыкновенный человек, такой же, как и все трудовые люди. «Я чув-

ствую себя рабочим среди людей,— говорил Травен,— безвестным и неназванным, как каждый рабочий, который вкладывает свою долю в движение человечества к прогрессу». Ловкие газетчики часто пользовались атмосферой тайны вокруг имени Травена. То и дело следовали «сенсационные» открытия, публиковались якобы подлинные фото загадочного писателя. От имени американского журнала «Лайф» была обещана премия в несколько тысяч долларов за раскрытие тайны Травена. На поиски устремились журналисты и сыщики. Они выслеживали писателя на улицах Мехико, прочесывали целые области. Но розыск ни к чему так и не привел, загадка «травениады» осталась неразгаданной. Как потом выяснилось, история с премией оказалась трюком, придуманным мексиканским издателем Рамиресом для того, чтобы поправить свои дела.

Стремясь раскрыть загадку Травена, расшифровать буквы «Б. Т.»— так иногда подписывался этот человек,— литературный мир создал не одну легенду. У него были двадцать две «достоверные» биографии. Одни утверждали, что под этим псевдонимом скрывается американский моряк, другие заявляли, что Травен — это бывший русский князь, по мнению третьих, он — потомок Гогенцоллернов, осевший в Мексике. Ходили слухи о том, что популярные романы написаны одним из президентов этой страны или целым писательским концерном — дело даже дошло до оглашения имен и публикации фотографий. Наконец, находились фантазеры, которые доказывали, что Травен это не кто иной, как сам Джек Лондон, который симулировал самоубийство и, спасаясь от кредиторов, скрылся в мексиканских джунглях.

Проблемой Травена в ГДР заинтересовался лейпцигский литературовед Рольф Рекнагель.

Изучая литературу периода ноябрьской революции 1918 года в Германии, Р. Рекнагель натолкнулся на имя незнакомого журналиста, литературный стиль которого показался ему похожим на стиль Б. Травена. С этого и начался розыск в архивах, опрос многих лиц, сопоставление фактов.



У Травена было несколько так называемых «генеральных уполномоченных». Они вели все его дела, переписку с издателем. Торсван, он же и Хол Кровс, считался одним из них.

Впервые имя Хола Кровса появляется после войны, когда Травен согласился на экранизацию своих романов «Корабль мертвецов» и «Восстание повешенных». Автором сценариев был

Хол Кровс. С ним имели дело и кинопродюсеры, желавшие снять фильмы. Имя «генерального уполномоченного» Хола Кровса встречается и на титульных листах изданий книг Травена, где указывается, что ему принадлежит право переиздания.

Кто же такой Хол Кровс, он же Торсван?

Человек этот уединенно жил в Мехико, появлялся в темных очках и всячески избегал фотографов. Лишь дважды удалось его сфотографировать. Было известно, что Б. Травен имеет свой сейф в «Банко де Мехико». Казалось нетрудным проследить за владельцем сейфа. Выполнить этот план взялся мексиканский журналист Луис Спота. След привел его на модный курорт Акапулько. Здесь, вблизи у дороги, ведущей в Мехико, была расположена гостиница с парком. В глубине его журналист увидел скромный домик с черепичной крышей. В нем под охраной нескольких свирепых псов жил странный отшельник. Не сразу удалось журналисту поговорить с обитателем дома, проявлявшим чрезмерную подозрительность и осторожность. Но именно этот человек и оказался тем, кому принадлежал личный сейф в банке. Более того, сюда поступала вся корреспонденция на имя Травена, проходившая через несколько промежуточных адресов и доставлявшаяся специально подобранными посыльными.

В доме стоял простой стол, стулья, громоздились горы книг. Обитатель его, оказавшийся не кем иным, как Торсваном, заявил журналисту, что Б. Травен его двоюродный брат, что он болен и живет в Швейцарии.

Во время этой «операции» Л. Спота тайком сделал несколько снимков Торсвана. Они появились в мексиканском журнале «Маньяна» в 1948 году вместе с сенсационной статьей.

После этого случая Торсван вернул банку ключ от сейфа и скрылся. В то же время в одной из газет мексиканской столицы появилась его статья, как бы в ответ на разоблачение Л. Спота. «Автор книг, о которых пишет Спота, — говорилось в статье, — покинул Мехико в 1930 году из-за серьезных недоразумений с властями и некоторыми частными лицами». Далее следовало объяснение того, почему большая часть корреспонденции писателя Б. Травена пересылается через Мехико. Делалось это будто бы для того, «чтобы зарубежные издатели думали, что Травен живет еще в Мексике. Таким образом, его произведения покажутся им более достоверными». С некоторых пор, писал Торсван, писатель живет чрезвычайно замкнуто, в полном бездействии. «Я не имею права раскрыть, что побуждает его вести такой образ жизни, ибо это могло бы нанести ущерб его интересам». А в заключении автор статьи неожиданно заявлял, что

«есть основания думать, что его, быть может, уже нет в живых». Тем не менее десять лет спустя после этих событий «умерший писатель» выпустил новую книгу-роман «Аслан Норваль».

Второй случай, когда Торсвана удалось застать врасплох и сфотографировать, представился в Гамбурге, в октябре 1959 года, куда он приехал под именем Хола Кровса, «генерального уполномоченного», на премьеру фильма, снятого по роману Б. Травена.

Одна загадка громоздилась на другую, путала след, сбивала с толку, мешала докопаться до истины. Но именно к этому стремился тот, кто называл себя Б. Травеном. Он был мастером мистификации, вводил в заблуждение, играл в прятки. Ему удавалось сохранять свою тайну благодаря множеству хитроумных предосторожностей; он ловко надувал любопытных благодаря разработанной им сложной системе общения с внешним миром, в частности, с издателями; пользовался несколькими почтовыми ящиками, из которых корреспонденцию доставали другие, прибегал к услугам подставных лиц, на чье имя переводились его гонорары из разных стран. Нередко в анонсах на книги Б. Травена указывалось, что мексиканское издательство принимает оплату за его романы только почтовым переводом на адрес: Мехико, почтовый ящик 2520. Корреспонденцию из ящика с этим номером вынимала Эсперанца Лопес Матеос, сестра президента Мексики, доверенное лицо Б. Травена. Денежные переводы через банк от уполномоченных, в частности по Европе от издателя И. Видера, переводились на текущий счет хозяйки гостиницы и парка в Акапулько.

Когда же впервые появилось имя Б. Травена? Это произошло весной 1925 года на страницах берлинской газеты «Форвертс». Получив из Мексики рукопись романа «Сборщики хлопка», подписанного неизвестным именем Травен, редакция решила ее опубликовать. С тех пор Б. Травен, по словам Р. Рекнагеля, стал одним из любимейших писателей немецких рабочих. Его книги издавались неоднократно, пока нацисты не запретили их. В Германской Демократической Республике многие произведения Б. Травена переизданы и пользуются успехом читателей. Высоко оценивает, например, книги Б. Травена за их художественное и революционное значение Анна Зегерс.

Как-то Б. Травен признался в письме своему немецкому издателю, что у него за время странствий по Мексике накопилось множество неоконченных рукописей. Они лежат в ящике, который служил ему сундуком. «Это были сочинения, которые я писал в периоды длительной безработицы. Писал для того, чтобы

не ощущать непрерывных мук голода и не вспоминать по шестьдесят раз в час о том, что против безработицы и пустоты в желудке несколько не помогают ни вера в господа бога, ни славословие в честь капиталистической экономики.

Если обратиться к книгам Б. Травена, то легко убедиться, что писатель хорошо знаком с жизнью различных районов Мексики, прекрасно знает ее историю. Видимо, не раз приходилось Б. Травену совершать путешествия по стране. Иногда пускается в путь его заставляла нужда, подчас любопытство. «Тот, кто хочет познать душу дремучих зарослей и джунглей,— говорил Б. Травен,— их жизнь и песни, их любовь и смертельную ненависть, не должен жить в Роджис-отеле в Мехико; он должен углубиться в джунгли, любить их, обручиться с ними».

Так же часто разъезжал по стране и тот, кто называл себя Торсваном. В качестве фотографа он, например, участвовал в экспедиции Альфонса Дампфа в глубь Мексики.

Немецкий литературовед, проанализировав множество разноречивых печатных сообщений и свидетельств и отобрав из них достоверные, проследил путь Торсвана в Мексике. И тогда оказалось, что маршрут его скитаний по этой стране странным образом совпадал с описанием мест и событий, встречающихся в книгах Б. Травена. Предположение о том, что «уполномоченный» Торсван и писатель Б. Травен одно и то же лицо, явно имело под собой почву. В пользу этого говорили многие факты. Достаточно сказать, что в удостоверение, выданном Б. Торсвану в 1942 году, он значился как Б. Травен Торсван. Однако считать такой вывод окончательным и поставить на этом точку было преждевременным. Оставалось неразгаданным еще одно обстоятельство: писатель, скрывающийся под именем Б. Травен, не был уроженцем Мексики. Его след вел через океан в Европу...



...Имя немецкого журналиста, стиль которого так напомнил Рекнагелю книги Б. Травена, было Пет Марут. До первой мировой войны он был актером, потом выступал в прессе, печатал новеллы, эссе, статьи. В Мюнхене в течение нескольких лет, с 1917 года, он издавал журнал «Цигельбрэннер». На его страницах он яростно обличает милитаризм, буржуазную печать, церковь. В одном лице Пет Марут совмещает автора и редактора, сотрудника и издателя, выступая под различными псевдонимами. Свои рассказы Пет Марут анонимно печатает в своем же издательстве «Цигельбрэннер ферлаг», которое не было соот-

ветствующим образом зарегистрировано. По словам людей, знавших Рет Марута в то время, его всегда окружала некоторая таинственность. Без какой-либо рисовки он заявлял, что у него «нет ни малейшего литературного честолюбия... Я хочу быть только словом». И откровенно предупреждал в журнале: «Не трудитесь посещать нас — вы никого никогда не застанете».

Со страниц журнала Рет Марут пламенно приветствует Октябрьскую революцию, он полон надежд, что и в Германии пролетариат возьмет власть в свои руки. С энтузиазмом он встретил образование Баварской Советской Республики. Рабочие избирают его в комитет по пропаганде. Когда же банды Носке ворвались в Мюнхен и республика пала, Рет Марута арестовали.

Рассказывая о том, как контрреволюционеры вершили свою расправу, Рет Марут писал в своем журнале: «Суд состоял из одного-единственного элегантного лейтенанта. Он проводил все дело в три минуты, решая — подлежит ли человек расстрелу или освобождению. Все обвинения строились на основании показаний доносчиков. В сомнительных случаях арестованного для верности расстреливали...» Рет Марут был обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни. Ему удалось бежать. Он скрывается сначала в Кёльне, затем в Берлине. Здесь он нашел пристанище у своего товарища, который дал ему свой паспорт и денег на дорогу. На другой день после отъезда Рет Марута из Берлина нагрянула полиция — она шла буквально за ним по пятам. Вскоре товарищ Рет Марута получил известие из Бельгии, в котором тот сообщал, что паспорт у него украли. Больше никаких вестей не поступило. С тех пор Рет Марут исчез...

Шаг за шагом шел исследователь по пути к разгадке. Р. Рекнагель проследил в деталях жизнь Рет Марута в Германии, вспоминались забытые с годами слова немецкого поэта Эриха Мюзама, догадывавшегося еще в 1926 году о том, что под псевдонимом Б. Травен скрывается Рет Марут. Постепенно из пестрой мозаики отрывочных биографических данных возникал портрет человека, жизненный путь писателя. Но это не все. Литературовед провел сравнительный анализ произведений Рет Марута и Б. Травена, обнаружил много общего в стиле и еще — давнюю любовь к Мексике у первого и косвенные данные о жизни в Германии — в книгах второго. Наконец, он сличил и опубликовал фотографии Рет Марута и Б. Торсвапа. И мы можем убедиться, что перед нами снимки одного и того же человека, называвшего себя разными именами: Рет Марут, Б. Торсван, Б. Травен. Этот человек считал, что биография творческой личности не имеет никакого значения, если автора нельзя узнать по его книгам.

«У писателя, — говорил Б. Травен, — не должно быть иной биографии, кроме его произведений». Что же касается его жизненного пути, то, по словам Б. Травена, он не принес бы никому разочарования.

Рольфу Рекнагелю удалось установить и подтвердить документами и фотоматериалами, что писатель Б. Травен, его «уполномоченный» Торсван и немецкий публицист двадцатых годов Рет Марут, исчезнувший из Германии после падения Баварской Советской Республики, в деятельности которой он принимал активное участие, — одно и то же лицо.

Исследование немецкого литературоведа, скрупулезно и тщательно проведенное «следствие» по делу Б. Травена, вызвало живой интерес у многих. Его открытие стало известно далеко за пределами ГДР. Автор получал письма из различных стран, в которых подтверждались правильность его вывода о тождестве «Б. Травен = Рет Марут».

Однако и после опубликования аргументов Р. Рекнагеля па ходились лица, продолжающие громоздить вокруг имени Б. Травена новые загадки, творить новые легенды.

С заявлением о том, что удалось разгадать загадку Б. Т., выступил, например, западногерманский журнал «Штерн». В одном из его номеров был помещен сенсационный анонс. В нем сообщалось, что репортер «Штерна» Герд Хайдеман владеет секретом тайны Б. Т. и что он может доказать, как именно были созданы романы Б. Травена.

В обычной для этого журнала рекламной манере говорилось о том, какое число биографий пришлось изучить репортеру, прежде чем он напал на след мало известного литератора некоего Августа Бибелие, уроженца Мекленбурга. Его жизненный путь, по словам журнала, якобы во многом совпадал с путем Травена, что можно было заключить из произведений последнего. В начале века А. Бибелие покинул Германию. Был надсмотрщиком на сахарных плантациях в Бразилии. Работал кочегаром на пароходе. Накануне первой мировой войны вернулся на родину, женился. Потом снова скрылся, уже навсегда. Жене Бибелие в романах Травена многое будто бы напоминало об исчезнувшем муже. Ее показания тем не менее не убедили репортера. Он опросил свыше трехсот человек, так или иначе знавших Бибелие. Все, казалось, говорило в пользу гипотезы Хейдемана. Оставалось последнее звено — Мексика. Сюда и отправился репортер «Штерна». Но здесь для него произошло неожиданное. В игру вступило новое лицо — человек, который всегда выступал как уполномоченный Б. Травена — Торсван.

Тогда появляется новая версия — под именем Б. Травена скрывается не одно лицо. Делаются намеки на таинственные обстоятельства из прошлой жизни Травена — Торсвана, говорится, что А. Бибелие — автор первых книг, вышедших за подписью Б. Травен, и что в последующих публикациях журнал подробно расскажет об открытии своего репортера.

Но сенсация, обещанная «Штерном», тогда так и не появилась на свет. Анонс остался неоплаченным. Почему же журнал замолчал и оставил своих читателей в недоумении?

Дело в том, что версия о том, что опустившийся сын фабриканта Август Бибелие и есть писатель Б. Травен, существовала и раньше в числе прочих легенд, блуждавших вокруг его имени. Еще в 1957 году, пользуясь этой легендой, один гамбургский страховой агент, скрывшийся под псевдонимом О. О., пытался шантажировать Б. Травена. Он потребовал от писателя «права издания», в противном случае-де «разоблачит его до 15 марта 1957 года в мировой прессе как Августа Бибелие».

Г. Хайдеману не удалось привести сколько-нибудь убедительных доказательств в пользу старой легенды. Наоборот, все его поиски подтверждали правильность вывода Р. Рекнагеля о том, что Б. Травен и Рет Марут — одно и то же лицо. Вот почему в журнале «Штерн» не был напечатан рассказ о том, как репортер Г. Хайдеман разгадал загадку Б. Травена.

Затем последовало очередное сенсационное «открытие». Оно появилось уже после неоднократных выступлений Рольфа Рекнагеля в печати с материалами о Травене. Кёльнская газета «Форверс» в погоне за шумихой поместила статью под заголовком «Капитан Бильбо — это Травен». В статье утверждалось, что владелец «матросской таверны» в Западном Берлине, некто Бильбо, настоящее имя которого Гуго Барух, и есть Травен.

С новым вариантом легенды о Б. Травене выступили и чехословацкие газеты. На их страницах было высказано предположение, что чешский литератор Артур Брейский, эмигрировавший в Америку накануне первой мировой войны, где он «якобы и умер» при загадочных обстоятельствах, на самом деле, возможно, воскрес под именем Б. Травен. «Доказательством» в данном случае служил исключительно псевдоним В. Traven. Это будто бы анаграмма, которая расшифровывается как «New art V.», то есть «новое искусство В.» (Брейского).

Подобное доказательство идентичности, пишет по этому поводу Р. Рекнагель, в той же мере обосновано, что и короткие толстые пальцы бесследно исчезнувшего в 1917 году словенца Франца Травена, которые, если судить по фотогра-

фии, якобы похожи на пальцы Хола Кровса — Б. Травена.

Однако на этом страсти вокруг «открытия» лица Травена не утихли. Спустя несколько месяцев после опубликования очередного материала Р. Рекнагеля о его поисках и открытиях, появилось сообщение о том, что Иоганнес Шенгерр (ФРГ) разгадал загадку Б. Травена и установил его идентичность с Рет Марутом. В связи с этим еженедельник «Вохенпост» (ГДР) напомнил, что первая попытка Рольфа Рекнагеля установить тождество Б. Травена с Рет Марутом относится еще к 1957 году. После чего им был опубликован ряд статей исследовательского характера, нашедших признание и за рубежом.

Неожиданно, уже после публикации Р. Рекнагеля, гамбургский журнал «Штерн» решил оплатить старый свой долг.

Долгожданная сенсация, наконец, увидела свет. «Загадка века разгадана», — сообщал «Штерн».

Что же открыл на этот раз репортер «Штерна»? Оказывается, он изложил всего лишь уже известную версию о том, что Б. Травен и публицист Рет Марут, исчезнувший из Германии после падения Баварской Советской Республики, — один и тот же человек. Но ведь об этом задолго до «Штерна» уже писалось. Однако журнал предпочел не давать ссылок. Иначе ему пришлось бы признать, что еще до его выступления в Лейпциге вышла книга «Бруно Травен. Материалы к одной биографии». Эта работа Рольфа Рекнагеля, как бы подытоживающая его многолетние поиски, стала одной из интересных попыток приподнять покров тайны над личностью писателя. «В этой книге, — писала западногерманская газета «Ди Вельт», — по сути дела, помещен весь тот материал, который опубликован в гамбургском журнале «Штерн». Исследование Р. Рекнагеля состоит не только из жизнеописания, но и включает в себя сравнительный текстологический анализ произведений Рет Марута и Б. Травена, к книге приложена обширная библиография. Словом, это солидная работа, отнюдь не претендующая на поверхностный сенсационный успех. То есть на то, к чему стремился «Штерн». Открытие западногерманского журнала оказалось вторичным. Стоило ли выдавать уже известное за новое? Репортеры из «Штерна», видимо, считали, что стоило. Особенно если учесть, что бизнес с Травеном сулил приличный заработок. Расширенный вариант репортажа, появившегося в «Штерне», публиковался в журнале «Конкрет». По телевидению был показан многосерийный фильм «В зарослях Мексики. Загадка Б. Травена». По словам той же «Ди Вельт», высмеявшей эту затею, в фильме не было «ничего путного о Травене». А между тем и Хайдеман, и создатели



Рет Марут; Август Бибелис; Артур Брейский

телефильма не могли не знать, что незадолго до того как был опубликован репортаж в «Штерне», Б. Травен нарушил свое многолетнее молчание. В мексиканском журнале «Сьемпрэ» появилось первое и, как он сказал, последнее интервью Травена. Корреспондент этого журнала встретился с писателем в его домашней библиотеке в городе Мехико и спросил, как он относится к небылицам, которые писали о нем?

— Все это дело рук журналистов, — заявил 76-летний писатель. — Они сделали меня мифической личностью. Я же, избегая встречи с ними, оберегал лишь свой покой и уединение. Я ненавижу рекламную шумиху вокруг моих книг. С любовью и уважением отношусь к Мексике, стране, гражданином которой являюсь. Люблю ее народ и чувствую себя мексикалцем.

На вопрос, жил ли он в Германии, Травен ответил утвердительно, подчеркнув, что родители его были выходцами из Скандинавии.

Корреспондент «Сьемпрэ» сфотографировал Травена. Однако, по его просьбе, снимки не были напечатаны.



Хол Кровс; Б. Травен Торсван (незадолго до смерти).

Завеса тайны над именем Б. Травена начала приподниматься.

Вскоре, однако, из Мексики пришла весть — Б. Травен скончался. По завещанию писателя, тело его было сожжено, а пепел рассеян с самолета над тропическим лесом в штате Чиapas, над местами, где он прожил много лет, изучая археологию и жизнь индейцев.

В мексиканской прессе появились статьи о Травене его близких друзей. Они начали проливать свет на таинственные обстоятельства жизни писателя. И наконец, как самое важное, — вдова Травена Роза Элен Лухан выступила в печати с заявлением. Она рассказала, что подлинное имя писателя Травен Торсван Кровс, родился он в 1890 году в г. Чикаго, в семье эмигрантов — выходцев из Скандинавии. Отца его звали Буртон Торсван, мать — Дороти Кровс. Травен рано остался сиротой. С юных лет бродяжничал, был грузчиком, юнгой, кочегаром на судах, курсировавших между США и Европой. Здесь впервые проявил-

ся его талант публициста. Под псевдонимом Рет Марут он выступал в печати, издавал журнал «Цигельбреннер».

«Всю свою жизнь,— заявила жена писателя,— он был революционером и антифашистом. Он всегда боролся против несправедливости, за переустройство мира».

Роса Элен Лухан привела много фактов из жизни Травена и его деятельности, совпадающих с выводами Р. Рекнагеля. Она заявила о том, что Травен горячо приветствовал Октябрьскую революцию, что он примыкал в Германии к «Союзу Спартака», с восторгом встретил образование Баварской Советской Республики и принимал участие в работе создаваемых новой властью революционных комитетов. После падения Республики Травен бежал из Германии. В том же году он появился под именем Травен Торсван в городе Тампико, на восточном побережье Мексики.

В Мексике, ставшей его второй родиной, Травен затерялся в девственных лесах Чиapas, жил среди лакадонов — индейского племени, которое, спасаясь от полного истребления, укрылось в джунглях, был сборщиком хлопка и золотоискателем, работал на нефтепромыслах и на лесоразработках в монтернях, был погонщиком скота в горах Сьерра-Мадре.

И всюду он изучал народ, его историю, наблюдал жизнь, о которой потом рассказывал в своих книгах. В столице Мексики он жил под фамилией Торсван, числился фотографом, изучал археологию в Мексиканском университете. Он увлекался древней цивилизацией майя. На деньги, полученные за издание своих книг, совершил в тридцатые годы несколько путешествий в джунгли Юкатана и Чиapasа, столь же увлекательных, сколь и опасных. Материалы, собранные во время этих путешествий, и легли в основу его романов.

С тех пор до конца своих дней Травен работал над историей доиспанской цивилизации в Мексике.

Травен был на стороне тех, кто боролся с фашизмом и милитаризмом. Он открыто осуждал американскую интервенцию в Никарагуа и откровенно восхищался народным героем этой страны Сандино. Во время гражданской войны в Испании его симпатии были на стороне республиканцев: все наличные сбережения он отдал в фонд помощи сражающейся Республики.

Таков путь Травена Торсвана, автора многих книг, которого мексиканский народ справедливо считает своим национальным писателем.

СОДЕРЖАНИЕ

5 — *От автора*

СЛЕПКИ ВРЕМЕНИ

- 8 — *Рождение Гавроша*
26 — *Гарви Берг — солдат невидимого фронта*
44 — *Видок — актер «Человеческой комедии»*
56 — *Рахметов — «в честь Бахметева»*
72 — *«Ключ к хижине дяди Тома»*
94 — *Там, где жил Том Сойер*
104 — *Последний бой Вронского*

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

- 112 — *Сэр Джон Фальстаф, анкетные данные*
126 — *Слава и позор барона Мюнхгаузена*
146 — *Как Дефо встретился с Робинзоном Крузо*
158 — *Две жизни Шарля д'Артаньяна*
182 — *Оскорбленные прототипы Таргарена*
198 — *Человек, который был Шерлоком Холмсом*

РАЗЫСКАНИЯ И РАЗГАДКИ

- 222 — *По следам гамельнского крысолова*
234 — *Португальская монахиня или гасконский дворянин?*
244 — *Обманщик с Норфолк-стрит*
252 — *Автор — «гениальный старик»?*
266 — *Перстень — талисман*
272 — *Узник семибашенного замка*
278 — *Тайна «Мебели розового дерева»*
290 — *Многоликий Травен*



Роман Сергеевич Белоусов

О ЧЕМ УМОЛЧАЛИ КНИГИ

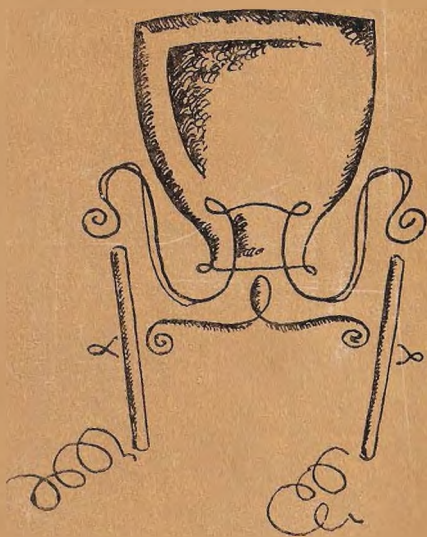
Редактор **И. М. Поспелова**
Художественный редактор **В. В. Щукина**
Технический редактор **В. А. Авдеева**
Корректор **Н. Д. Толстякова**

Сд в наб. 27/II-70 г. Подп. к печ. 3/II-71 г.
Форм. бум. 60×84¹/₁₆. Физ. печ. л. 19,0. Усл. печ.
л. 17,67. Уч.-изд. л. 16,75. Изд. инд. НА-78.
А06027. Тираж 60 000 экз. Цена 70 коп. в пе-
реплете. Бум. № 1.

Издательство «Советская Россия».
Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров
РСФСР, г. Электросталь Московской области,
Школьная, 25. Заказ № 1135.

70 коп.



Советская Россия